

508

Филипп  
Эрих  
Золотая  
Решетка







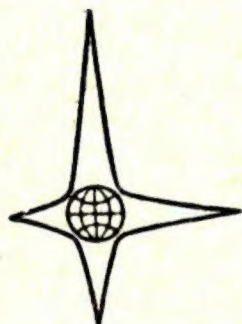












ИЗДАТЕЛЬСТВО

«МИР»



Philippe  
HÉRIAT  
LES  
GRILLES  
d'OR

---

P A R I S



Филипп  
Эриа



# ЗОЛОТАЯ РЕШЕТКА

ПЕРЕВОД  
С ФРАНЦУЗСКОГО

2-е стереотипное  
издание

ИЗДАТЕЛЬСТВО

« М И Р »

МОСКВА 1965

Свердловская мебельная  
фирма „Авангард“

ув. 808\*



*Перевод*  
Н. ЖАРКОВОЙ и Б. ПЕСИСА  
Редактор Е. БАБУН

Роман «Золотая решетка» является третьей книгой трилогии Филиппа Эриа, посвященной Буссарделям.





ожалуй, именно в рождественские дни сорок первого года Агнесса Буссардель впервые спросила себя, уж не слишком ли она несправедливо относится к своей семье.

В Марсель Агнесса прибыла в сумерки. Студеный шквальный ветер с размаху бился о выступы домов, словно оттачивая о них свою ярость. Агнесса приехала с мыса Байю, что в нынешних условиях стало предприятием нелегким. Нормального сообщения между островом Пор-Кро и Сален де Гиер уже не было. Со времени перемирия, заключенного в июне сорокового года, Лазурный берег находился под властью Виши. На всем протяжении от Колиура до Ментоны лишь изредка выплывали в открытое море баркасы, а рыбаки — жители маленьких гаваней — курсировали неподалеку от берега, сокрушенно, даже с какой-то тоской вглядываясь в прозрачные воды Средиземного моря. С наступлением темноты любая попытка зажечь в лодке фонарь немедленно пресекалась; обнаружив в прибрежных водах любую тень, полиция немедленно пускалась в погоню. Как ни малочисленно было население островов, власти ввели здесь специальный режим запретов и принуждения. Только дважды в день — рано утром и вечером — разрешено было движение между островами и континентом, как называли здесь побережье.



Агнессе пришлось пробираться погруженными во мрак улицами и переулками Марсея; ей необходимо было попасть в подвальное помещение одного кафе, затерявшегося где-то среди зданий квартала Шапитр. Прежде чем войти, она еще раз сверилась с адресом, нацарапанным на бумажке, и взглянула на вывеску; именно здесь должны были собраться несколько человек, собраться тайно — под предлогом празднования рождества, в котором согласилась принять участие и Агнесса; присмотревшись к дому, более чем невзрачному, она подумала, что самый выбор места для собрания такого рода и в такие времена прекрасно соответствовал характеру ее подруги. «Я не могла отказать ей, как в прошлом году», — подумала она, проходя через помещение кафе и спускаясь по лестнице, согласно указанию в записке. С тех пор как Агнесса овдовела, прошло два года, и обычная ссылка на вдовство сейчас уже вряд ли прозвучала бы убедительно.

Подруга Агнессы суежилась вокруг стола и в ожидании гостей расставляла холодные закуски. Она сразу пожаловалась Агнессе, что не нашла почти ничего из продуктов, которые думала достать, и, рассказывая о своей неудаче, не выпускала изо рта пустого мундштука, который заменял ей сигарету. Агнесса вручила подруге литр оливкового масла, сообщила, что сын ее, о котором та осведомлялась, вполне здоров, и в ответ услышала, что ей поручается отправиться на вокзал: трое журналистов, проживающих в Лионе и приглашенных на сочельник, прибудут с ближайшим поездом, но место встречи им сообщено не было.

— Вы их сразу узнаете, — сказала Агнессе хозяйка и распорядительница сегодняшнего вечера. — Девушка и два молодых человека. Особенно их не расспрашивайте. Пусть лучше расскажут свои новости за столом. Это нам заменит закуску.

Во внутреннем помещении вокзала Сен-Шарль было почти безлюдно; затемнение, хотя и весьма относительное, превратило железнодорожные пути в мертвую пустыню, уходившую куда-то вдаль, во мрак, которому не могли противостоять редкие и зловещие отблески света. Стекланный свод тоже был еле виден, крыша уходила куда-то вверх, где уже безраздельно господствовал холод. Морозный воздух застыл в неподвижности, которая нарушалась лишь в те мгновения, когда вдруг открывали дверь, наглухо зашторенную синим, — она как бы нехотя поддавалась человеческой руке и тут же снова уступала напору ветра, так и не дав уловить очертания человеческой фигуры. Люди быстро



перебегали от одного островка света к другому, исчезали из глаз, окликали друг друга. Было что-то нелепое в этих бредовых движениях, в этом псевдозатемнении, в игре света и теней, и обычная на всех ночных вокзалах бездушная атмосфера безразличия ощущалась еще сильнее на этих железнодорожных путях, упирающихся в тупик.

На доске железнодорожного расписания появилась надпись, сообщавшая о том, что поезд из Лиона опаздывает. Агнесса решила посидеть пока у буфетной стойки. Весь остаток вокзального оживления нашел себе приют здесь, в жестком свете электрических лампочек, освещавших мраморные столики и лица беседующих. Агнесса быстро прошла к свободному месту за столиком и очутилась между двух групп пассажиров; она сразу поняла, что это прибывшие из Парижа ожидают в буфете пересадки в обществе родственников, тоже парижан, видимо, осевших в Марселе и пришедших на вокзал повидаться с проезжающими. Даже в этом случайном месте их можно было отличить от местных жителей: выдавало не только произношение, но также худоба, по которой сразу опознавали жителей оккупированной зоны, не говоря уже о том, что все женщины оттуда носили на голове самодельные тюрбаны. Кто сооружал их из шарфа, кто из кашне, кто из куска толстой шерсти или искусственного шелка, но у всех тюрбаны еще хранили складки, свидетельствовавшие о прежнем их употреблении, у всех они были сделаны на один манер, скрывая затылок и уши и выступая узлом повыше лба, похожие не то на сбившийся на сторону бинт у беспокойного больного, не то на тюремный колпак. Агнесса подумала, что это должно быть, в конце концов, довольно практично и что не так уж трудно повязывать тюрбан: нужно только набить себе руку. Здесь, по другую сторону демаркационной линии, эта мода еще не укоренилась.

Одна из женщин, сидевшая ближе всех к Агнессе, что-то возбужденно рассказывала, откусывая большие куски от бутерброда. Ее спутники, очевидно принешие ей это угощение, не очень прислушивались к рассказу, и видно было, что они сами не могут оторвать глаз от огромного ломтя, пропитанного маслом; меж тем дама продолжала говорить, никому не предлагая поделиться своим добром, и при каждом щелкании челюстей, перемалывавших хлеб, с ломтя струйкой текло оливковое масло. Путешественница старалась не уронить ни крошки, и в то же время ей хотелось поскорее рассказать все, что она знала; это



лихорадочное поглощение пищи сопровождалось таким же болезненным недержанием речи.

— Выпей чего-нибудь, — советовали ей, — а то, не дай бог, подавишься.

Кто-то предложил ей подержать бутерброд, но она не соглашалась выпустить его из рук, судорожно вцепилась в него пальцами.

Ей налили вина, и все смотрели, как она пьет, а через мгновение вновь слышался ее голос. Никто не пытался останавливать ее. В сущности, она не сообщала никаких новостей о родственниках или друзьях, она рассказывала о парижском голоде, о несправедливости в распределении пайков, о гнусности черного рынка, о холоде, о чудовищных ценах на древесные опилки, о полицейских свистках при малейшем проблеске света сквозь щелочку занавесок, о том, как в часы пик происходят настоящие битвы и у входа в метро, и при посадке в вагоны.

— Но самое страшное — это очереди! — воскликнула она. — У меня уже нет сил стоять в очередях. Ведь приходится становиться в хвост, когда еще совсем темно, хоть они и передвинули часы, а возвращаешься к себе — уже полдень. Верно, верно, я вам не вру. Да еще счастье, если не объявляют воздушную тревогу, потому что, если ты случайно окажешься далеко от дома и дежурный попадется слишком рьяный, — пожалуйста в погреб! Хочешь не хочешь — все равно заставят. Проходит час, ты выбираешься на поверхность и снова пристраиваешься к очереди. А бывает и так, что после двух-трех часов выстаивания, когда наконец наступает твоя очередь и тыходишь в лавку, вдруг вывешивают объявление: сегодня продажи больше не будет! А кто виноват? Все черный рынок — будьте уверены. Да, да, торгашам я это припомню. Если выживем, сведем с ними счеты. А у вас в Ницце есть черный рынок? И вот результат: посмотрите на мои руки, — закончила она с новой силой... Рот у нее был набит едой, она протянула окружающим свои руки с раздувшимися, как сосиски, пальцами, с потрескавшейся кожей какого-то бледно-лилового оттенка. — Это недостаток жиров называется. И ничего тут не поделаешь. Выдадут чуточку масла, а остальное своруют. Со всех сторон жульничество. Эрзацы! Вместо кофе жареный ячмень, и прессованная мука из вики вместо хлеба. Вот тебе еда, вот тебе и питье. А пирожки с рыбой продают готовыми — можете жевать их сколько угодно, фарш хрустит на зубах, это просто размельченные ракушки.



Кажется, только оливковое масло еще не додумались подделывать. Лучше всего суррогаты, по крайней мере не вредят здоровью, например экстракт из водорослей, но лично я никак не могу привыкнуть: салат хрустит на зубах. И все-таки все бы это ничего, если бы не очереди. Можете мне поверить, привычка к очередям превратилась у многих в какую-то манию, навязчивую идею. Достаточно увидеть очередь на тротуаре — и человек сразу пристраивается в хвост, даже не узнав, что продают, чего ждут люди, даже не имея соответствующего талона.

Агнесса отвернулась, но тут же услышала беседу соседей с другой стороны. Тут говорили о патрулях, о том, что появление на улице после комендантского часа грозит чуть ли не смертью, о том, что в некоторых округах Парижа людей заставляют по три дня сидеть дома и любоваться из окон пустынными улицами, о репрессиях в ответ на покушения, о приказах, которые появляются утром на стенках уличных уборных, и где двумя длинными столбцами напечатаны имена расстрелянных этой ночью заложников. У говорившего были впалые щеки, и, хотя в его рассказе не чувствовалось той страшной растерянности, что у рассказчицы, самый тон был тот же — какое-то сочетание скорбного упрека и гордости, что Агнессе уже не раз приходилось улавливать в разговоре с людьми из оккупированной зоны. Рассказчик сообщил, что десять дней тому назад в Париже были расстреляны в один день сто заложников и что Штюльпнагель обложил евреев, проживающих в оккупированной зоне, контрибуцией в один миллиард. Тут он заметил, что Агнесса прислушивается к беседе, и подмигнул своим собеседникам. Те поняли, наклонили к нему головы, и теперь рассказчика почти не было слышно. Агнесса поднялась с места, вышла. Дверь с оклеенными стеклами закрылась за ней, вновь вернула ее в крошечную тьму.

Бродя по вокзалу, Агнесса не находила уголка, где могла бы приткнуться. Вход в зал ожидания был воспрещен: помещение передали морской полиции. На часах у двери стояли солдаты морской пехоты в касках с ремнем под подбородком: псевдоармия под стать здешнему псевдозатемнению. Агнесса подумала, что отсюда можно было бы соединиться по телефону с Пор-Кро. Но тут же сообразила, что после семи часов вечера связь с островом допускалась лишь в экстренных случаях, к тому же было уже слишком поздно и ей не хотелось без особой нужды беспокоить милую Викторину, которой она доверила своего сына.



В конце концов ей удалось обнаружить рядом с багажным помещением темный уголок, где она и уселась на какой-то ящик.

Сюда пассажиры не заглядывали. Она сидела не шевелясь, она мучительно обдумывала все, что пришлось услышать в буфете, ее мысль лихорадочно работала, хотелось что-то понять, представить себе воочию. Начиная с июня сорокового года она, можно сказать, ни разу не ступала на землю материка, в Гиере бывала только по самым неотложным делам, а уж дальше ни шагу. К маленькому этому островку, где проживало всего тридцать обитателей, ее приковывали заботы о ребенке, а также хозяйственные заботы. То, что ей до сих пор приходилось слышать насчет условий жизни в оккупированной зоне, не позволяло сделать ясных выводов: столько ко всему примешивалось сплетен, неправдоподобных выдумок и явно подозрительных преувеличений! Видно, тетя Эмма в свое время не зря утверждала, что в этой дочери господ Буссарделей сидит не столько бес, сколько дух противоречия. И в самом деле, Агнесса предпочитала оставаться скептиком в современных условиях, скептиком во что бы то ни стало и из принципа; она старалась не слышать ежедневно распространявшихся слухов, независимо от того, кому они были на пользу. Это лучшее средство быть порядочным человеком, любила она повторять. И включала она только передачи швейцарского радио.

Сегодня получилось по-иному; но если сегодня она проявила внимание к тому, что говорили люди, встретившиеся ей случайно, то лишь потому, что это были сами очевидцы событий. Сидя в своем уголке, она почувствовала, что мерзнет, от холода начали гореть уши, сжимало виски. Она, как всегда, вышла с непокрытой головой и теперь, сняв кашемировый платок с шеи, сложила его на коленях по диагонали и повязала им голову. Подняв воротник, она вынула из сумочки зеркальце и убедилась, что тюрбан удался ей с первого раза. Впрочем, этот головной убор только подчеркнул ее здоровый цвет лица в сравнении с парижанкой, пожиравшей бутерброд, пропитанный маслом. Благодаря классическим, по ее мнению, даже чересчур классическим, чертам лица Агнесса в этом уборе сразу стала похожа на расиновскую Роксану, на «Одалиску» Энгра. Из уголка, где она устроилась, багажное отделение представлялось таким пустынным и беспросветно мрачным, что рядом с ним еле освещенная и почти безлюдная зала выглядела чуть ли не оживленной. Во всем окружающем чувствовалось уныние, тоска



ожидания перед путешествием в никуда. В памяти Агнессы всплыла другая картина марсельского вокзала, сказочно расцвеченная бабушкиной фантазией, с его суетой и оживлением. В те времена, когда бабушка Буссардель еще могла говорить, она иной раз рассказывала о своем прибытии в Марсель во время свадебного путешествия. Она описывала то ошеломление и восторг, которые охватили ее еще на ступеньке вагона, когда ей впервые открылся этот город, залитый южным солнцем, по-восточному яркий и непривычный. За всю долгую жизнь у бабушки накопилось только два-три таких воспоминания, которыми она соглашалась поделиться и продолжала вспоминать до глубокой старости. Не удивительно, что этот рассказ врезался в память ее внучки Агнессы.

— Милое мое дитя,— начинала бабушка,— ты слушаешь меня? То, что представилось тогда моим глазам с земляной насыпи, показалось мне таким прекрасным, осветило радостью жизнь. Такая великолепная открылась нам панорама. У меня чуть голова не закружилась, и, помню, я оперлась на руку твоего деда. Ах! Твой дедушка! Ты его не знала... Он умер внезапно, когда ты только-только появилась на свет. Но ты должна всегда помнить о нем, слышишь! — повторяла старая мадам Буссардель, окидывая Агнессу испытующим взглядом, и при этом она каждый раз брала со стола пожелтевшую фотографию, которая всегда была у нее под рукой среди других фотографий, и протягивала внучке.— Ну как? Нравится? В свое время твой дед считался красавцем мужчиной. Мы вышли из вокзала, он еле заметно взмахнул своей тросточкой, и тут же подкатил экипаж. Простой фиакр, открытый или, вернее, с верхом, украшенным кистями, ну, знаешь, как в Неаполе. «Трогай!» И мы покатали по улицам Марселя, объехали весь город. Наше свадебное путешествие началось. Мы отправились в Гиер Пальмовый. Было это еще при императоре. Мне тогда исполнилось шестнадцать лет.

Агнесса поднялась со своего импровизированного сиденья. Она покинула неосвещенное убежище и снова зашагала по асфальту перрона, которого не существовало в бабушкины времена, вернулась к действительности, погружившись в тяжелую тьму оккупации. На поворотах она бросала взгляд в сторону доски, где отмечалось прибытие поездов, и убеждалась, что лионский поезд все еще запаздывает. Но мысли ее витали в прошлом, ей виделась бабуса, верховное и грозное божество, неизменно



восседавшее в кресле спиной к парку Монсо, спиной к живой жизни. В представлении Агнессы родоначальница Буссарделей с этого своего места проследовала непосредственно в загробный мир; этот образ старшей в роду Буссарделей стал как бы символом всего рода, и на этом обрывались воспоминания о прошлом. Бабуся умерла тихо и мирно всего два года тому назад, незадолго до объявления войны, вскоре после драмы, которая стоила жизни Ксавье и привела овдовевшую Агнессу к разрыву с семьей. Агнесса так и не повидала больше бабушку, даже в гробу; сославшись на близость родов, она не поехала в Париж на похороны.

Наконец лионский поезд подошел к платформе. Агнесса поместилась у выхода рядом с контролером и без труда узнала новоприбывших по тому, как они внимательно оглядывались вокруг. Новые знакомцы последовали за ней. Едва они начали спускаться с лестницы Сен-Шарля, как в лицо всем четверем ударил ледяной порыв ветра и принудил остановиться на полпути, на средних ступеньках. Агнесса знала, что такое здешний ветер, и взяла под руку девушку и младшего из ее спутников, которого чуть было не сбило с ног. Крепкая, высокая, сохранившая еще спортивную форму благодаря здоровой жизни на мысе Байю, она заслоняла от ветра новоприбывших, чувствовала себя куда сильнее их. Когда они спустились с лестницы и вышли на бульвар Дюгомье, Агнесса объяснила им, что такого ветра, как в этом уголке Средиземноморья, нет нигде и что он уже не первый день гуляет по побережью.

— А я-то думал, что здесь погода мягче, чем в Лионе, — сказал один из юношей.

— Но все-таки грех жаловаться, — живо возразила Агнесса. — Если бы вы знали, какие холода стоят сейчас в Париже!

— А вы оттуда?

— Нет. Я живу в Пор-Кро круглый год. Моему сыну всего два года, и мне нельзя отлучаться надолго. Но я только что видела людей, приехавших прямо из Парижа. Во всяком случае, у нас нет обмороженных, как у них там.

Журналисты переглянулись.

За время ее отсутствия подвальное помещение кафе успело наполниться народом. Агнесса вновь увидела накрытый стол и возле него свою приятельницу — она была на посту, в своей роли распорядительницы рождественского ужина. Ужина, перенесенного с полуночи на десять часов вечера, что представляло



по нынешним временам несомненные выгоды, поскольку можно было сэкономить и не обедать. Приятельница Агнессы была вдовой художника, вышедшего из группы «диких» и пользовавшегося известностью в эпоху между двух войн, в двадцатые годы, когда хозяйка этого вечера, называвшаяся ныне просто Мано, еще именовалась Манолой. Теперь она жила одна в городе Кань, стране художников.

Нелегко оказалось разбить лед и разжечь беседу между гостями, которые едва знали друг друга, так как жили в разных местах Лазурного берега, да и обосновались здесь движимые различными мотивами: тут были и деловые люди, и деятели кино и литературы, за которыми, по их словам, следили оккупанты, или же «слишком рьяные патриоты, чтобы гнуть шею под немецким сапогом», евреи, флотские офицеры с женами; среди этих временных обитателей французского юга заметно выделялись аборигены, поселившиеся здесь еще до войны и чувствовавшие себя более непринужденно. В общем явно преобладали женщины и явно не хватало молодежи. Всю эту пеструю публику связывало, не считая главного магнита — ужина, лишь присутствие Мано, которая поспешила усадить гостей за стол, сама оставаясь в качестве хозяйки на ногах. Она нарочно выбрала для сегодняшнего вечера помещение кафе с примыкающей к нему кухней, но отказалась от услуг официантов, ради того чтобы приглашенные могли себя чувствовать свободнее и не сидеть с закрытым ртом; она взялась обслуживать приглашенных сама и потому то и дело отлучалась на кухню, что сказывалось на настроении гостей. Гости сидели молчаливые, с натянутым видом и ели медленно, кладя ложку на подставку после каждых двух глотков традиционного лукового супа, поданного, правда, без сыра.

Под предлогом помощи хозяйке Агнесса, которая не могла отделаться от чувства подавленности, овладевшего ею на этом странном празднике, встала и, выйдя на кухню, объявила Мано, что если та не позволит помогать ей, то уж лучше пусть сразу отпустит домой.

Теперь, когда Агнесса занялась делом, она довольно бодро шагала взад и вперед по душному залу с низким потолком, где на шафраново-желтом фоне местный художник изобразил купальщиц и матросов. И Агнесса невольно спрашивала себя, чего только не нагладелись эти стены в мирное время.



— Агнесса, — сказала Мано, придерживая ее за локоть в маленьком коридорчике, — не жалейте водки. У меня ее, надеюсь, хватит. А вино лучше потом. Водку эту я добыла у своего фармацевта в Кань, что поделаешь, все лучше, чем видеть похоронные лица. Мне не хочется, чтобы моя затея провалилась.

Однако дело пока не шло на лад и все хитроумные маневры оставались втуне. Мано задумала это сборище лишь затем, чтобы самой не сидеть сложа руки и не давать сидеть другим.

«Надо все-таки хоть что-нибудь организовать», — сказала она Агнессе еще в прошлом году. Тогда она не могла похвастаться особой удачей, но прошлогодний неуспех ее отнюдь не обескуражил. И ныне здесь, за столом, царила какая-то растерянность, против которой она тщетно пыталась бороться: сказывалось это и в случайном подборе гостей, и в этом неурочном часе, и в гнетущей обстановке странного полуподвальчика, и даже в выборе места встречи, ибо Мано решила собрать своих приглашенных в Марселе единственно потому, что он был на равном расстоянии от Виши и Кань, от Ниццы и Лиона. Та готовность, с которой друзья Мано откликнулись сразу на ее зов, несмотря на то что поезда ходили редко и были переполнены, свидетельствовала о великой заброшенности этих новоиспеченных южан, пребывавших в ожидании событий, ход которых от них не зависел.

Понемногу гости оживились — из-за водки, а также благодаря явному преобладанию женщин. Женщины заговорили о детях, о прислуге: в общем на сей раз из какого-то естественного чувства уважения перед празднично убраным столом вопросы пропитания не заслонили все прочее. Но женская беседа, интересовавшая далеко не всех гостей, еще не спасала положения. Невозможно было забыть окружающую действительность. Она чувствовалась и в самих разговорах, и в тех паузах, которые вдруг следовали за чьей-либо фразой и, казалось, будут длиться вечно. Весь этот вечер, на котором присутствовало так необычно мало мужчин, создавал впечатление какой-то неуверенности, неестественности, которые почти всегда сопровождают трапезы с чисто женским составом.

Одна из дам говорила больше всех и авторитетнее всех. Это была Тельма Леон-Мартен. С давних пор эта дама, когда-то довольно известная женевская щеголиха, мечтала играть роль в обществе, чему препятствовало весьма посредственное положение ее второго мужа. Первый муж, дипломат и притом



хорошей школы, потерял терпение на пятнадцатом году супружества; он покинул Тельму в тридцатых годах просто потому, что ему опостылело слушать бесконечную, не прекращавшуюся даже в постели болтовню. Впрочем, и сама Тельма, которая как раз в те годы чувствовала себя в расцвете, предпочитала иметь менее заметного мужа. Карикатурист Сэм еще до первой войны, году в тринадцатом, увековечил ее в серии «Парижский зверинец», изобразив Тельму в виде совы-сипухи, ибо она была действительно довольно похожа на премиленькую совушку, и благодаря ее репутации назойливой болтушки прозвище «сипуха» пристало к ней навсегда. Не без труда она несколько раз добивалась и добила наконец для своего мужа места начальника канцелярии, но истинный триумф поджидал ее супруга в июле сорокового года; она сделала Леон-Мартена министром на целые три недели, министром вишийского правительства, что удалось благодаря всеобщей неразберихе, последовавшей за разгромом.

Тельма утешала себя мыслью, что это лишь начальный этап, но этап многообещающий. После первого успеха она, по ее словам, решила ограничиться и ограничить своего мужа ролью наблюдателя. Чтобы как-то утишить мучивший ее зуд деятельности, она беспрерывно циркулировала между Парижем и Виши, между Виши и Парижем. И находила себе занятие в обеих зонах. В ее распоряжении был постоянный пропуск — аусвейс, о чем она не забывала сообщить всем и каждому. Так как на сегодняшнем вечере она была единственным человеком, побывавшим за демаркационной линией с тех пор, как немцы рассекли Францию надвое, гости, естественно, расспрашивали ее, как идет жизнь на том берегу, и она блистала описаниями Groß-Paris<sup>1</sup>, где площадь Оперы украсили новые столбы с указателями.

— Это довольно внушительно, уверяю вас, это стоит посмотреть. Вы сразу видите, куда ехать: в сторону «Мажестик» или в направлении Аахена. Надписи, конечно, сделаны по-немецки. На каждом столбе вывешено двенадцать досок с указателями и с правой и с левой стороны, доски расположены одна над другой и увенчиваются стрелкой. Очень похоже на рождественскую елку, вырезанную из дерева. Невольно вспоминаешь прославленных нюрнбергских мастеров игрушки.

---

<sup>1</sup> Большой Париж (нем.).



Переходя к описанию улицы Риволи, расцвеченной огромными флагами со свастикой, Тельма добавила, что, конечно, на первый взгляд это может кого-нибудь смутить, но вообще-то флаги лишь способствуют украшению улицы Риволи, всегда угнетавшей нас своей бесцветностью.

Мано все время была начеку и решила сразу же одернуть Тельму, если та открыто пустится в рассуждения о политике; впрочем, и сама рассказчица, не зная, каковы настроения ее сотрапезников, соблюдала известную осторожность. За плечами Тельмы был двадцатилетний опыт посещения политических салонов и высиживания в приемных; кроме того, она немало насмотрелась, курсируя из оккупированной в неоккупированную зону и наблюдая самых разных людей. И она без особого труда научилась не слишком выставлять напоказ истинные чувства, которые внушали ей немецкие оккупанты. Приемы ее маскировки были весьма несложны: так, например, она не скрывала, что пользуется постоянным аусвейсом, однако произносила это слово на французский лад «освез», хотя изъяснялась по-немецки вполне сносно. Мано, пригласившая журналистов, чтобы разузнать у них какие-нибудь новости, стала расспрашивать их насчет японской высадки. Но, очутившись перед малознакомой им аудиторией, эти представители укрывшейся в тылу прессы старались главным образом подчеркнуть свои муки изгнанников. Жизнь в Лионе, говорили они, для них истинная пытка, иной раз так не хватает парижского воздуха, что, кажется, вот-вот задохнешься, и только мысль о том, что твой долг сохранить живым дух свободной публицистики, помогает переносить тоску по столице и все тяготы существования ссыльных парижан. Они вспоминали французских писателей на чужбине: Жюль Валлеса в Лондоне, Виктора Гюго на Гернсейской скале, а во всем прочем просили не забывать, что первая их обязанность — хранить профессиональную тайну. К тому же они сразу почувствовали, что Тельма осведомлена куда лучше их, и решили, по-видимому, что самое разумное — предоставить ей одной распространяться о событиях на Марианских и Филиппинских островах.

Было около полуночи, ужин шел к концу. Агнесса, закончив свои хлопоты, уселась за стол неподалеку от Тельмы Леон-Мартен, почти напротив нее. Затаив дыхание, Агнесса слушала ее рассказы о светской и общественной жизни, шедшей своим чередом даже вне официальных кругов, о новом парижском быте — о приемах, о встречах.



— Огромную роль играет теперь телефон,— говорила Тельма.— Трудно передать, как много разговаривают сейчас по телефону. Парижане научились беседовать намеками, опасаясь бюро подслушивания, которого, уверяю вас, на самом деле вообще не существует, мне это известно из достоверных источников.

Агнесса старалась ничего не упустить из этих признаний, и, хотя разговор стал общим, ей удавалось следить за рассказами Тельмы. Какова бы ни была она, эта краснобайка Тельма, Агнесса все же испытывала к ней нечто вроде симпатии, все-таки приятно было, что за столом сидит парижанка, которая в курсе всего, которая столько знает о жизни оккупированной столицы и, не заставляя себя просить, делится всеми этими сведениями с другими. Тельма повязывала голову тюрбаном, используя для этой цели шарф из ярко-красного сукна с золотыми узорами, и изящный его фасон выдавал работу знаменитой парижской модистки. Агнесса сделала ей по этому поводу комплимент, и Тельма тут же назвала имя модистки.

— Она, знаете ли, придумала этот фасон специально для меня. Таким образом я не опускаюсь до дешевки, ношу вещь, все-таки приготовленную по специальному заказу, и в то же время не выделяюсь в метро, ибо все теперь носят тюрбаны. А нужно вам сказать, что в Париже сейчас не слишком рекомендуется выделяться. Мне, например, как вы сами понимаете, было бы не так уж трудно при желании получить «освез» на автомобиль. И горючее в придачу. Благодаря положению, которое занимает мой супруг. Однако я этого не сделала, потому что не всем это может понравиться. Я отказалась. Обхожусь без машины и чувствую себя прекрасно. Самые шикарные женщины разъезжают теперь в метро. И не путают, даже при пересадках. И никаких первых классов, только общие вагоны. Зато теперь в метро все читают. Женщины нашего круга читают в метро от начала до конца поездки. На улице Сент-Оноре продают чудесные папки для книг из полотна и даже из кожи, с удобными ручками, прямо как сумочки, так что их очень легко носить. Вы вполне можете встретить где-нибудь в вагоне метро даму в норках, читающую книгу. Вот так мы и живем.

Уже несколько минут Агнессе хотелось задать Тельме один вопрос, но парижанка не давала никому вставить ни словечка. Замолкнув на минуту, она тут же взяла стакан и стала прихле-



бывать, как опытный оратор между двумя торжественными периодами.

— Мадам,— успела сказать Агнесса, несколько понизив голос, и тут же пожалела, так как за столом установилось напряженное молчание, но отступить было поздно.— Мадам, я хочу вам задать один вопрос, который, возможно, покажется вам глупым... но я никак не могу себе представить... а я так люблю Париж,— добавила она, как бы желая оправдаться перед собравшимися.

— Да? — бросила Тельма, часто моргая и чуть улыбаясь снисходительной улыбкой, как бы говоря, что она ждет продолжения.

— Мне хотелось бы знать, с каким чувством смотришь на Париж, в котором находятся немцы.

Вся во власти своего волнения, Агнесса не заметила, как внезапно застыла в полной неподвижности Мано, обратив беспокойный взор в сторону Тельмы. Но та, которую называли в насмешку «сипухой», решила, что для вящего эффекта требуется выдержать паузу.

— Я очень понимаю ваш вопрос,— бросила она присутствующим.— Его как раз и задают мне чаще всего. Ну что ж, мадам, когда я подхожу к окну и вижу, как по авеню Президента Вильсона марширует патруль эсэсовцев, я не стану уверять вас, что мне это приятно. Однако я не могу не думать, что если бы не они, то на их месте были бы санкюлоты, и выбираю из двух зол меньшее.

Мано положила ладонь на руку своего соседа — капитана корабля, очевидно, не только затем, чтобы удержать его,— ей самой требовалась поддержка. И Агнесса уловила ее жест. За столом воцарилось холодное молчание, предвещавшее взрыв. Но Мано так быстро и так решительно сумела переменить разговор, что Тельма сразу почувствовала: есть пределы, которые перед этой аудиторией переходить не следует. Нимало не смутившись, Тельма сделала поворот на сто восемьдесят градусов и стала высмеивать «серых мышей», то есть немок в военной форме, весьма неуклюже на них сидевшей.— Но,— добавила она,— власти не особенно заботятся о том, что скажет общественное мнение...— Сменив пластинку, она даже решилась поставить под сомнение лояльность цензуры Виши, которая запретила спектакль «Любовники» Доннея и не одобряет возобновления «Тартюфа». Но Агнесса уже перестала слушать.



Рассказы Тельмы давали достаточно пищи для размышлений. Агнессу удивили отнюдь не разглагольствования этой вздорной особы, ибо в смутные дни разгрома она не раз уже подмечала у буржуа и у аристократов симпатии к немцам, порожденные именно ненавистью к республиканскому режиму. Нет, удивило ее другое: слово «санкюлот». Этот намек на восемьдесят девятый год перенес Агнессу в недра ее собственной семьи. Буссардели считали себя представителями исконной республиканской традиции и громогласно заявляли, что до Революции они были ничем. В особняке на авеню Ван-Дейка, хотя и напоминал он не столько об эпохе Революции, сколько о пышности Второй империи,— так вот, в их особняке было принято вспоминать о личности, ставшей почти легендарной, о некоей вязальщице, которая участвовала в Революции и была 13 вандемьера на улице Сент-Оноре и которая затем прижилась в семействе Буссарделей, где заменила осиротевшим малюткам их умершую родами мать. И в конце концов три поколения Буссарделей, взращенные в духе самых высоких идеалов, усвоили правила верности и преданности, достойные античных героев. Бабуся до самой глубокой старости хранила воспоминание о некоей тете Миньон, урожденной Буссардель, которую упомянутая вязальщица учила читать и писать в царствование Карла X, о чем тетя Миньон рассказывала с очень живописными подробностями. Одним словом, эта принятая в лоно Буссарделей особа, бывшая как бы одним из краеугольных камней истории и традиций всего клана, покоилась ныне в семейном склепе на кладбище Пер-Лашез, и кое-какие ее взгляды оказали влияние на нравственные принципы Буссарделей. Все дамы, принадлежавшие к этой фамилии, не могли удержаться от слез во время исполнения «Марсельезы», будь это даже в таких торжественных случаях, когда гимн играли в театре Гранд-Опера в честь появления в ложе президента Республики; в ответ на шутки они отвечали, что ничего не могут с собой поделать, ибо это у них врожденное, недаром знаменитые близнецы Буссардели, которым фамилия обязана всем: почетом, богатством, местом биржевых маклеров и нотариусов, не говоря уже о наследственных землях в долине Монсо,— так вот эти самые близнецы в младенческом возрасте играли на коленях у одной из фурий гильотины; Агнесса не раз слышала, как ее мать, ее тетки повторяли эту хвастливо-выспреннюю фразу, и ей вдруг показалось, что она вновь стоит перед стеклянной горкой в большой



гостиной на авеню Ван-Дейка и там рядом с саксонским и японским фарфором по-прежнему красуется стакан довольно грубой работы, наследие революционерки, стакан, который, как утверждали, принадлежал самому Гракху Бабефу. Вообще на нее в этот вечер нахлынули воспоминания, как бывает, когда вдруг оживает в душе угасшая любовь.

В эту минуту одна из присутствующих дам посмотрела на часы и ужаснулась: было без пяти двенадцать, ее слова произвели впечатление, все замолчали, даже Тельма. Одни и те же мысли возникли у сидевших за столом людей, передаваясь от соседа к соседу, у каждого были дорогие им существа, семья, дом, был родной очаг, от которого они уже давно были оторваны, и каждому вспоминались прежние сочельники, вспоминались те, кто умер, и те, кто далеко, вспоминались все беды Франции. Парочки переглядывались, одинокие опускали глаза.

— Уже полночь? Это точно? — спросила Мано, и на фоне общего молчания было особенно заметно, что голос ее предательски дрогнул.

Над столом, где веточки остролиста стыдливо скрывали начисто вылизанные гостями тарелки, капитан поднял левую руку с часами. Соседи склонились над циферблатом.

— Ровно полночь, — сказал кто-то.

Мано поднялась с места.

— Поскольку полночь наступила, — произнесла она, — наиболее чувствительные могут облобызать друг друга.

И первая подала пример, обняв своих соседей справа и слева. Агнесса ждала, пока Мано подойдет к ней, ждала, опустив голову, отчего ее лицо Юноны казалось еще более упрямым, и уж совсем не вязалась с этим выражением по-детски выпяченная нижняя губка. Дойдя до Агнессы, Мано наклонилась и взяла в свои руки ее голову, но почувствовала, что та сопротивляется. Мано выпрямилась, и тут Агнесса вскочила с места, бросилась в объятия подруги и заплакала.

— Ну не надо, не надо... — повторяла Мано, похлопывая Агнессу по плечу.

Агнесса сама удивилась этому неожиданному взрыву и никак не могла успокоиться, прерывисто дышала и тревожно жала к груди подруги. Затем вспомнила, что они не одни, и пробормотала какие-то извинения.

— Помилуйте, — сказала Тельма Леон-Мартен самым непринужденным тоном, — это же так естественно. Мы все взволно-



ваны, но только вы одна не поддались чувству ложного стыда. Что ж тут такого?

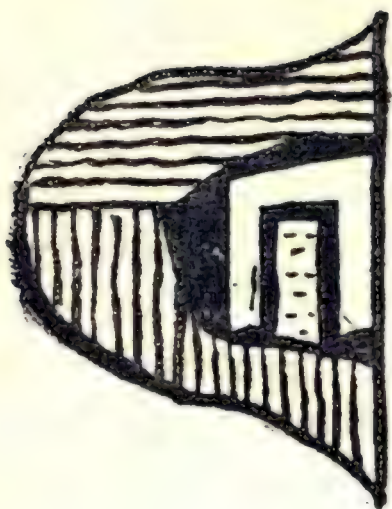
Агнесса вернулась на свое место за столом.

— Нет, нет, мне право неловко, вы должны простить мне эту нелепую выходку. У меня ведь в оккупированной зоне осталась вся семья. В Париже,— воскликнула она, подняв голову.— И никаких известий. И никаких известий также от близких, находящихся в плену.

Она сказала это наудачу, но почти без риска ошибиться, ибо плен угрожал любому ее родственнику, братьям и кузенам. В семье Буссарделей не принято было уклоняться от исполнения воинского долга.

Тельма тут же предложила свои услуги. Они офицеры? А они воевали в четырнадцатом году? Нет? В таком случае их нелегко будет выволить. И все-таки... Она доверительно сообщила гостям об одном важном государственном проекте. Наверху поговаривают о том, что нужно подготовить людской состав для обмена. С нашей стороны будут отправлены добровольцы для работы на немецких заводах, взамен чего немцы освободят военнопленных из расчета один военнопленный за трех рабочих. Ну в общем что-то вроде старинного обычая, когда «откупались» призывники. Конечно, тут есть разница: время военное и мы являемся побежденной страной. Немцы не могут согласиться на паритет, поэтому и будут менять троих на одного. Сейчас вопрос изучается. Операция будет именоваться «Смена».





озже, когда гости разошлись, у Агнессы и Мано, оставшихся в одиночестве, вырвался вздох облегчения: долг был выполнен. Агнесса подсчитала деньги, которые ей удалось незаметно собрать с гостей в счет складчины.

— До чего мы дошли! — пробормотала Мано. — И даже протестовать нельзя, а то скажут, что ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Ну, да бог с ними. Надеюсь, не пришлось кланяться?

— Нет, не беспокойтесь. Я ждала, когда сами предложат. Что касается трех журналистов, у которых в кармане ни гроша, то я просто отказалась принять у них деньги.

Не говоря уже о том, что условия жизни вполне оправдывали систему складчины — более того, такая система диктовалась простым приличием, — все знакомые Мано прекрасно знали, как она стеснена в средствах. Ее единственным источником существования была коллекция картин, оставшаяся в мастерской покойного мужа, в старой высокой части городка Кань, — к счастью, коллекция содержала и картины других художников, а не только творения самого коллекционера. Мано расходовала эти фонды с мудрой неторопливостью, в первую очередь отделяясь от балласта, и лишь изредка, в порядке исключения, расставалась с картиной, подписанной именем, всегда имеющим спрос на рынке. Если верить Мано, она без труда приносила эти жертвы.

— С годами я становлюсь все более и более равнодушной. У меня пресыщен глаз, как у других притупляется вкус к пище. Нет таких шедевров, которыми я слишком бы дорожила, да и людьми тоже!.. Со стороны можно подумать, что я люблю оказывать услуги, люблю быть на людях, — отнюдь! В лучшем случае это некая душевная гигиена. А то зачерствеешь!

К тому же нужно было поддерживать на должном уровне приток посетителей в домике на холме, что способствовало очередным распродажам картин. Если оглянуться на годы, протекавшие со времен монпарнасского расцвета, который был и расцветом Манола, то окажется, что приятельница Агнессы не утратила ровно ничего, кроме последнего слога своего имени.



Напротив, истекшие годы, все более сказывавшиеся в чертах ее лица, по мере того как росло ее пристрастие к косметике, даже сблизили нынешнюю Мано с портретами Манола, написанными грубо мазками в обычной манере ее супруга, — двадцать лет назад изображения и оригинал имели куда меньше сходства. Даже поседев, она не перестала стричься под мальчика, благо волосы у нее были прямые и жесткие. Таким образом, оставаясь неизменной в кругу множества женщин, которые непрерывно меняли свою внешность в соответствии с модой, все более склонявшейся к женственности, Мано на современный вкус выглядела старой лесбийкой — грех, в котором она ни ранее, ни позже не была повинна.

Мано и Агнесса убрали со стола, перемыли посуду, радуясь этому одиночеству вдвоем, а также тому, что, не сговариваясь, распределили между собой хозяйственные хлопоты, снуя от стола к раковине, от раковины к мусорному ящику... Забыв усталость, тревожения сегодняшнего вечера, Агнесса испытывала теперь блаженное состояние, знакомое женщине, когда, наведя чистоту, перемыв, вытерев все, она показала себя куда более расторопной прислужкой, чем настоящие прислуги.

— Ну что еще не сделано? — спросила Мано, оглядев строй пустых бутылок, когда все уже было приведено в порядок. — Скажите, вам очень хочется спать? Вы, конечно, уедете утром из-за вашего малыша, и я вас снова потеряю из виду на целые месяцы.

Впервые они встретились в Париже в иные, далекие уже времена и возобновили знакомство, когда Агнесса переехала на юг, на Лазурный берег, где расстояния между соседями растягиваются и сжимаются, как резина. Они чувствовали взаимную симпатию и все же скорее наблюдали друг друга, чем старались сблизиться; объяснялось это не только известной замкнутостью и недоверчивостью обеих, но и разницей в годах, поскольку Агнессе не было и тридцати, а Мано — за сорок. Все, что в Мано напоминало деклассированную богему, притягивало Агнессу и одновременно отталкивало, так же как вдова живописца, принадлежавшего к знаменитой школе «диких», видела в этой дочери крупных буржуа представительницу касты, ненавистной вольным художникам.

Теперь они сидели рядом в конце длинного пустого стола, они были одни в этом подвальчике, размалеванном бог знает как, но привлекательном уже тем, что сюда не проникала жизнь



извне и что здесь они могли чувствовать себя защищенными, забытыми, как ни коротка была эта передышка; они спокойно, не торопясь, допивали оставшуюся на донышке бутылки водку.

Только тут Агнесса вынула из своей сумочки нетронутую пачку сигарет «Голуаз». Мано так и ахнула. Она была страстной курильщицей и всегда пользовалась длинными мундштуками, бывшими в ходу в двадцатых годах; ныне, когда женщинам табаку не выдавали, она старалась обмануть свою жажду курева, посасывая мундштучок из черного дерева или слоновой кости, но, увы, без сигареты. Впрочем, очень многие курильщики с той же целью держали в зубах потухший окурок. Агнесса подарила ей всю пачку.

— Это рождественский подарок от моего пациента старика рыболова, которому я делаю уколы,— объяснила Агнесса.— Выделил из своего пайка. Правда, очень мило с его стороны?

— Какую только гадость нам не подсовывают,— сказала Мано, выпуская дым из ноздрей.— И как вкусно.

Вдруг она решила объяснить, почему среди гостей оказалась Тельма Леон-Мартен.

— Она может быть полезна всем нам в отношении аусвейсов. Правда, у нее есть кое-какие довольно гнусные черты, но такими связями не бросаются. А вы заметили, кстати, кроме капитана, все за ней немножко ухаживали.

— Вам не нужно оправдываться, Мано. Я очень довольна, что увидела ее. И слышала.

Мано теперь уже по-настоящему наслаждалась, сжимая в зубах мундштук с самой реальной, а не воображаемой сигаретой.

— Агнесса...— она с упоением вдохнула струю дыма, не отрывая глаз от кончика сигареты, тлевшего в двадцати сантиметрах от ее губ.— Не знаю, может быть, это сочельник навел вас на мысль о святом семействе, но ваше семейство, если на то пошло... Вы, значит, сторонница забвения обид? Я позволяю себе употребить слово «обиды»,— добавила она,— поскольку я могу судить...

Она была почему-то уверена, что Агнессе хочется поговорить о своих близких, да и сама Мано на сей раз испытывала несвойственное ей чувство любопытства. В конце концов должно же что-то скрываться за этим покровом тайны, который вот уже два года не желает приподымать Агнесса. Мано хотелось узнать историю молодой мадам Буссардель не для того, чтобы передавать ее посторонним, а для того, чтобы самой



понять то, что произошло и о чем яростно сплетничали люди, хотя никто до сих пор не мог толком объяснить, что, собственно, произошло. Жители Лазурного берега прекрасно знали, что Буссарделям принадлежит в Пор-Кро чудеснейшее поместье, называемое «Мыс Байю»; впоследствии прошел слух, что один из Буссарделей, двадцатилетний юнец, стал жителем Байю; о нем, впрочем, известно было очень немногое, поскольку он предпочитал одиночество. О нем уже начали было забывать, как вдруг общее внимание привлек его брак с девушкой, носившей тоже имя Буссарделей, родной дочкой биржевого маклера, которая была старше своего кузена, что вызвало дополнительные толки. Но вскоре разнеслась всех взволновавшая весть о смерти Ксавье, и немедленно возникло до десяти вариантов, по-разному и весьма противоречиво объяснявших эту кончину. Весть распространилась по всему Лазурному берегу, как круги по воде, что является свойством прибрежной полосы Средиземноморья, ибо приморская молва более гулка, чем полусшепот провинциальных слухов. Но найти источник ее столь же трудно — это нечто среднее между криком парижского глашатая и неуловимой африканской «телеграфией». Как только в этих французских городах и весях случается подобная история, обнаруживается какая-нибудь фамильная тайна, в которой приятно порыться, все общественные и пространственные дистанции сокращаются, и тут уж все начинают действовать заодно: и адмиральские жены, господствующие в салонах Тулонского порта, и призрачные старушки, дрожащие даже под солнцем Ле Канне или Монте-Карло, в которых с трудом можно узнать парижских актрис девятисотых годов, и старые салонные львы, живущие теперь доходами со своих крошечных садиков, и процветающие фабриканты местных аперитивов. Вопреки всем усилиям открытия были самые скромные, да и недостоверные; Агнесса забилась в свой уголок, а затем началась война. И ту, которой знаменитое имя Буссарделей было дано дважды — первый раз в младенчестве и вторично в недолгом браке, — потеряли из виду где-то за взгорьями крохотного островка.

Агнесса знала, что Мано можно доверить тайну скорее, чем кому-либо другому, но не только это побуждало ее рассказать о своих отношениях с семьей. До сих пор ее молчание, ее диковинное одиночество в значительной степени объяснялось полным безразличием к общественному мнению. После смерти Ксавье она в буквальном смысле слова зарылась, спряталась на мысе Байю,



который она унаследовала от мужа, приросла к своему мальчику. «Знаете, я настоящая медведица,— говорила она людям, которые звонили по телефону на ее богоспасаемый островок, и добавляла: — А особенно с тех пор, как у меня появился медвежонок». Но нынче ночью в этом подвальчике Агнессу обступали мысли, обычно ей чуждые. Вдруг она начала беспокоиться по поводу того, что скажут и подумают о ней, ибо она не могла не знать о том, что о ней ходят самые различные слухи.

— Должно быть, меня не очень щадили в разговорах,— сказала она Мано.— Да, да, не отрицайте. Впрочем, делом мне...

Для начала она мужественно призналась своей подруге, что родила сына не от Ксавье. И Мано, продолжая безмолвно посасывать мундштук, удержалась и не сказала, что в этом никто и не сомневался. До того как внезапно стало известно о свадьбе кузена и кузины, Агнесса ни разу не показывалась в Пор-Кро, и смерть Ксавье, случившаяся спустя немного времени, не могла изменить некоторых дат: младенец появился на свет менее чем через восемь месяцев после поспешно заключенного брачного союза.

— Ну что ж, я вам все объясню,— сказала Агнесса таким тоном, который означает, что рассказчик, пораздумав, в конце концов уступает настойчивости собеседника, хотя в действительности дело тут было отнюдь не в настойчивости ее подруги; если к деликатному любопытству Мано не прибавилась бы потребность самой Агнессы высказаться, она не нарушила бы столь долгого молчания.

— В Соединенных Штатах,— продолжала она,— у меня был довольно продолжительный флирт с одним из товарищей по университету. Через некоторое время я встретила с ним как-то случайно вечером в Париже. И когда я убедилась, что эта встреча не останется без последствий, я решила довериться Ксавье. Он один из всей нашей семьи способен был понять меня. Он тут же предложил мне выйти за него замуж. Когда наступил мало-мальски правдоподобный срок, мы в соответствии со своим уговором сообщили семье, что ждем ребенка. Тогда они вызвали Ксавье в Париж. Они решили открыть ему глаза на меня, обманщицу, а между тем открыли нечто гораздо более мрачное. Мой кузен был когда-то болен туберкулезом, вылечился, но с наступлением отрочества подвергся некой операции. После чего не возникло никаких препятствий к браку,



к близости с женщинами, но одно стало невозможно — отцовство. Он был бесплоден. И моя тетка Эмма, его воспитавшая, поскольку он был фактически сиротой, скрыла от него это обстоятельство. И наша семья тоже. Они допустили наш брак, не сказав ничего ни ему, ни мне. Скрыли потому, что наш брак был им на руку. Мы оба в семье считались неприкаянными — он из-за своей болезни и неустроенности, я потому, что мне уже стукнуло двадцать шесть лет. Я успела прослыть необщительной. Так что мы сами предложили выход, превосходивший все ожидания наших родных, поскольку капиталы оставались в семье Буссарделей. Да, Мано, такова жизнь, таковы браки и таковы смерти в нашей среде. Так было, так осталось и по сие время. Не думайте только, что это какой-то вымерший мир, палеолит. Напротив, у нас там все молодец к молодцу, можете мне поверить.

Агнесса оборвала свой рассказ и глубоко вздохнула, как перед утренней зарядкой, которую начинаешь делать нехотя. Мано сидела не шевелясь, и Агнесса заговорила вновь более спокойным тоном:

— Вполне понятно, что, узнав о моей беременности, создававшей опасность появления в семье чужого ребенка, родственники открыли Ксавье секрет. Но Ксавье принадлежал к сверхчувствительным натурам. Обнаружив одновременно и свое увечье и весь этот семейный обман, он почувствовал себя больным. Да, больным физически. И скрылся на четвертом этаже родительского особняка, в пустой комнате. Там он открыл окно, у него началось головокружение, неукротимая рвота, и он внезапно свалился вниз. Не буду вам рассказывать всех подробностей; произошло кровоизлияние в мозг с осложнениями. Короче, когда я примчалась на авеню Ван-Дейка и увидела его почти умирающим, я осведомилась о его состоянии у доктора, и тот сказал мне, что спасти Ксавье нельзя. Ни малейшей надежды не оставалось. Но когда я наклонилась над постелью несчастного Ксавье, я уловила проблеск сознания в его глазах, и он успел прошептать мне, что желал бы умереть подальше от них.

— Тогда,— продолжала Агнесса, с минуту помолчав,— вот тогда-то, Мано, я его похитила. Глубокой ночью, когда весь дом был погружен в сон. Я удалила сиделку и договорилась с шоферами санитарного автомобиля. Я похитила его, чтобы



отвезти на наш остров; по пути туда он и умер в мчавшемся автомобиле. Произошло это между Оранжем и Авиньоном.

Она замолчала. В подвальчике с желтыми стенами наступила тишина. Мано сидела с потухшей сигаретой во рту и не зажигала ее. Агнесса, почувствовав, что с нее свалилось бремя двухлетней давности, задышала теперь свободнее, давая улечься мучительному волнению. Всей глубиной сердца она оценила почтительное, торжественное молчание Мано и поняла, что в эту минуту между ними завязалась истинная дружба.

Они вышли во двор из безмолвного дома и заметили, что ночь уже идет к концу. Агнесса поэтому решила пойти принять ванну в номере гостиницы, который Мано сняла для нее. Таким образом, она поспеет к семичасовому сен-рафаэльскому поезду; Агнессе надо было пересесть в Ля Полин на Гиер, оттуда было уже недалеко до Вье-Салена, а от Вье-Салена менее двух часов до ее острова. Она провела бессонную ночь, а тут еще такая утомительная поездка! Но после всего, что ей пришлось услышать, испытать, перечувствовать вновь, ей даже приятно было пренебречь своим покоем, пожертвовать им, изнурить себя физически.

В поезде, который приходил из Лиона и еще более далеких мест, стояли запахи ночи, усталости, уныния, сна вповалку. Отопление не действовало, но тяжелый человеческий дух согревал вагон, спасая от предрассветного холода. В каждом купе, как это повелось в последнее время, было по два лишних пассажира. Стоило Агнессе сесть в коридоре на чемодан, как она сразу почувствовала, что приближается к мысу Байю, и ей показалось, что она уехала оттуда уже много дней назад. Поезд мягко укачивал ее. Стало совсем светло. Где они? Агнесса протерла перчаткой запотевшее вагонное стекло и узнала первые округлые, как женская грудь, вершины Сент-Бома. Значит, Обань уже проехали.

Агнесса представила себе, как она подходит к дому. Сегодня восточный ветер, и вряд ли Викторина решится встречать ее в порту с ребенком. Ничего, он подождет ее в своей теплой детской, среди игрушек. И затем ей представилось, как она ляжет рано, часов в девять, как оставит приоткрытой дверь из своей комнаты в детскую, как возместит сутки беспокойства и усталости оргией сна. Ее убаюкает гул моря; даже в эту пору Агнесса не закрывала окна, так прекрасно обогревались жилые комнаты ее дома. А порывам ветра, впрочем не таким уж



частым и не очень чувствительным в нижнем этаже, противостояла металлическая сетка от мошкары, затягивающая окно; дом с маленьким участком укрывался в естественном амфитатре, за которым сразу начинались густые заросли острова, и был обращен прямо к югу.

При этой мысли, при возникновении мирного образа благополучной Агнессы, который был создан ее собственным воображением, она даже выпрямилась. Снова ей пришел на ум Париж, золотая решетка парка Монсо, особняк на авеню Ван-Дейка, все ее родичи. Не погрешила ли она против истины минувшей ночью в беседе с Мано? Не погрешила ли против справедливости? Она не могла не почувствовать, что Мано внутренне противится ее излияниям, хотя безропотно выслушала ее рассказ о семейных распрях, и этот простой по видимости факт бросал какой-то неприятный свет на самый рассказ, настораживал, особенно в этот час среди этих пустынных провансальских полей, которые вели к дому и которые не знали оккупации. Сомнения быть не могло, Агнесса, сама того не сознавая, описала факты довольно тенденциозным образом. Нет, невозможно свести ее разрыв с Буссарделями к тем побуждениям и событиям, о которых она говорила сегодня ночью. Просто невозможно представить себе, что шла война, страна пережила разгром, оккупацию, десять наций попали под нацистское ярмо, полтора миллиона оказались в плену, триста тысяч никогда уже не вернутся, а она, Агнесса Буссардель, не может примириться со своими близкими из-за такой малости.

Мыс Байю на сей раз обманул ее, не наградил долгожданным покоем. Начать с того, что в первую ночь возвращения Агнесса почти не спала. Вместо оргии сна оргия воспоминаний.

Она сразу забылась, поддавшись нечеловеческой усталости, но проснулась уже через два часа с бьющимся сердцем, с тяжелой головой, где вихрем кружились обрывки кошмара. Она стала перелистывать книгу, но читать не смогла. Перешла в соседнюю комнату, тут была устроена детская, и с минуту смотрела, как спит ее мальчик. Неисчерпаемо было наслаждение этим чудом — зрелищем спящего Рокки. Во сне как-то исчезало сходство с его отцом, с Норманом, каким она увидела его в университете в Беркли. В жилах Нормана было несколько капель индейской крови, и Рокки унаследовал от отца зрачки агатовой черноты, этот пристальный взгляд, в котором было что-то от неподвижности минерала, что-то тревожившее мать. Но сейчас



тонкая изогнутая щеточка ресниц, защищавшая его сон и неприкосновенность его тайны, придавала лицу ребенка французскую мягкость.

Агнесса вернулась в спальню, затем перешла в кабинет, осторожно прикрыв за собой дверь. Был уже первый час. Агнесса вспомнила, что в половине первого утра Би-би-си ведет передачу на французском языке для лагерей военнопленных. Обычно Агнесса не слушала этой передачи. Демагогический тон дикторов, почему-то принятый для этих специальных передач, самый отбор информации, замалчивание некоторых новостей, не скрывавшихся в других передачах того же Би-би-си, выпренные поучения, а иногда шуточки — все было слишком явно, неприкрыто и коробило ее, было оскорбительным, по ее мнению, для людей, попавших в немецкий плен. Если она и старалась поймать лондонское радио, то не для того, чтобы слушать вот эти рассказы. Вообще она предпочитала Сотенса, а верила по-настоящему лишь Рене Пейю. Однако же сегодня она настроилась на соль-соль-соль-ми-бемоль<sup>1</sup>, предвещающие слова: «Говорит Лондон», и продравшись через бурю забивки, прослушала от начала до конца передачу для военнопленных, — пожалуй, не так уж глупы были три-четыре каламбура, равно как и заключительная песенка.

В действительности же слушала она невнимательно. Насупив брови, она старалась угадать, кто из ее родичей мужского пола мог по возрасту попасть за колючую проволоку. Прошлой ночью за рождественским столом она говорила предположительно о родственниках, томившихся в плену, и теперь это предположение приобретало некую реальность. Но «ее» пленные не имели ни имени, ни лица, так и не облекались плотью и кровью. В самом деле, как знать, кто из ее кузенов угодил в лапы врагу? Она думала только о кузенах, не сомневаясь, что родные братья сумели выпутаться. Симон — благодаря своему чину и необыкновенно изощренному чувству самосохранения, Валентин — потому, что, хотя у него и не было большого чина, получил в период странной войны назначение в Цензурный комитет. «Итак, — думала Агнесса, — кузены, но кто именно?» Только со стороны дяди Теодора у нее было целых три кузена: Гастон, Поль и Рауль Буссардели. Но если первый вышел из призывного возраста, то в отношении двух других это было вполне

---

<sup>1</sup> Начальные ноты «Пятой симфонии» Бетховена. — Прим. ред.



возможно. А со стороны Оскара Буссарделя? Или со стороны Жарно? Гуйю? Выбор был большой, даже слишком. Все мужское население клана Буссарделей обступило ее в этой маленькой комнатке, в ее убежище, перед чуть шепчущим что-то радио. Агнесса старалась представить себе, как ее кузены, один или несколько, сидят в этот же самый час перед радио и слушают передачу где-нибудь в «офлаге» или «сталаге»<sup>1</sup>. Три года назад все они, вместе с прочими родственниками, ополчились против Агнессы, но сегодня несколько напыщенных французских фраз, донесшихся из Лондона, протягивали новые нити близости между Агнессой и этими людьми. Людьми, которые даже и не подозревали о ее чувствах.

Назавтра погода испортилась. Ветер утих, тепла прибавилось, но весь остров затянуло клочковатым туманом, который скользил по воде, прилегал к ней вплотную. Горизонт скрылся из глаз. Платиновое море уходило в невидимую даль под белеватым расплывчатым диском солнца, более похожего в мгlistой дымке на луну. Ближе к полудню Агнесса придумала себе какое-то дело в порту и отправилась туда через весь остров. Но ее усилия не были вознаграждены. Туман застилал мыс Бена, Гиерский рейд, весь Лазурный берег, весь край. Остановившись у руин замка, Агнесса стояла лицом к северу, надеясь разглядеть не дававшийся ей пейзаж. Еще недавно она любила это первобытное одиночество, старалась забыть, где находится, и тогда она, островитянка, как бы перемещалась в пространстве и даже во времени. Ее так цепко держали семейные распри, что она переносила свою неприязнь на всё и вся, и ощущение замкнутости, отрезанности от мира давало ей радость, хотя и не свободную от злопамятства, от жестокости, но какую-то на редкость живительную. Нынче утром все было по-иному. Вслед за другими случайными обитателями этого уголка земли Агнесса в свой черед ощутила гнетущую островную тоску, сродни недугу осажденных. Медленным шагом она возвращалась в глубь острова через мягко подымавшуюся вверх долину Одиночества и поминутно оборачивалась в сторону материка.

Но здесь, на мысе Байю, она жила не одна. С ней жил ее сын. Для сына она и жила. Когда она звала его: «Рокки!» — и

---

<sup>1</sup> Сокращенно от Offizierlager — офицерский лагерь и Stammlager — лагерь для рядовых (нем.).



он откликался, он, в сущности, откликался на прозвище. При крещении он был назван именем Рено и так записан в мэрии. Ксавье решил заранее, что если у них родится сын, то он будет называться Рено. Так звали деда Ксавье, и, быть может, Ксавье не без задней мысли хотел таким способом узаконить положение того, кто считался его сыном. Когда Ксавье умер и появился на свет ребенок, Агнесса не нарушила воли покойного. Однако позже, уже в первые месяцы жизни младенца, в душе Агнессы началась какая-то сложная работа. Как раз в этот период ее неприязнь к Буссарделям была в самом накале. Ей хотелось вычеркнуть из своей жизни все, что хотя бы косвенным образом связывало ее, даже в мелочах повседневного существования, с родом Буссарделей. Имя Рено стало для нее неприемлемым уже потому, что возникло оно ради умиротворения авеню Ван-Дейка, и всякий раз, склонившись над колыбелькой сына, она уступала своим воспоминаниям об Америке. Когда ребенок начал ей улыбаться, она стала звать его: «Darling, honey»<sup>1</sup>, — и наступил день, когда она заметила, что к этим ласковым словам, уцелевшим от периода *sorority*<sup>2</sup> и университета в Беркли, как-то само собой присоединилось имя Рокки. Так звали сына одной американской четы, где Агнесса проводила свои уик-энды с Норманом, и под их крышей в Лагуна-Бич она впервые стала принадлежать Норману.

В общем ребенок звался Рено только в период своего утробного существования. Даже Викторина называла его Рокки. Викторина, жена местного рыбака, знала еще Ксавье и вела его хозяйство. Когда Агнесса отпустила английскую няню, вынужденную осенью сорок первого года возвратиться к себе на родину, Викторина переселилась в дом Буссарделей на мысе Байю. Агнессе хотелось иметь у себя человека, который неотступно наблюдал бы за ее сыном; ему не исполнилось еще полутора лет, как он заболел воспалением легких; в меру своего знания и умения Викторина заслуживала доверия хозяйки, а ее тринадцатилетняя дочь Ирма, девица весьма развитая и разбитная, умела делать все: ходить за птицей, поливать огород, работать на винограднике и даже пилить дрова, не говоря уже о том, что она ездила в магазин за продуктами на материк.

Жители мыса Байю старались теперь при малейшей возмож-

---

<sup>1</sup> Дорогой, душечка (англ.).

<sup>2</sup> Женский клуб в Америке.



ности обходиться местными ресурсами, не выезжая на материк. Регулярная связь между островом и материком становилась все реже, контроль все строже, и остров стал жить жизнью осажденного города или сторожевого поста где-нибудь в африканской пустыне, отрезанного от внешнего мира. Создалось нечто вроде натурального хозяйства, все добывалось и потреблялось на месте. В зиму сорокового — сорок первого года, когда Лазурный берег начал всерьез голодать, Агнесса решила превратить заведенные еще ее покойным мужем плантации арума и левкоя в огороды. Теперь от самого дома и до моря ступенями спускались грядки, разгороженные низенькими заборчиками. В департаменте Вар их называли «мешаниной», ибо тут выращивались самые разнообразные овощи. Выше были виноградники и оливковые деревья.

Так и жили вокруг Рокки три женщины с мыса Байю, а нередко им помогал муж Викторины, незаменимый при работах на огороде, да еще и рыбак к тому же, ловивший на удочку и сетями. Погреба наполнялись припасами: бутылками с вином, с оливковым маслом, банками с томатом, консервированными овощами — словом, всем, чем дарила обитателей мыса Байю целинная земля, обработанная трудолюбивыми руками маленькой артели — они обходились своим картофелем, кукурузой, горохом, сушеными фруктами.

Но со времени марсельского сочельника Агнесса уже не могла пройтись по своим владениям, не вспомнив о доме Буссарделей, который некогда был поистине полной чашей... Давно это было.

К концу февраля, когда уже отцветали мимозы, заметно удлинились дни и солнце по утрам высоко стояло над островом, до мыса Байю дошел слух о скором возвращении Эмильена Бегу. Новость взволновала обитателей Пор-Кро и быстро распространилась на два соседних острова. Молодой Бегу считался на всем маленьком архипелаге главной жертвой войны, и имя его произносилось особенно часто, поскольку он был единственным сыном булочника в Пор-Кро, и вот уже два года, как островитяне с тревогой и с сочувствием не упускали случая осведомиться у отца Бегу о его сыне. Каждый из жителей Пор-Кро мог в любую минуту рассказать обо всех испытаниях и злоключениях, через которые прошел бедный малый. Родители не делали из них тайны. Вот почему не только сын, но и старики Бегу, со своими причитаниями и рассказами о солдатской доле, тоже



стали как бы героями здешних мест. Солдат Бегу подорвался на mine во время Седанского прорыва; его товарищи бежали и оставили молодого Бегу одного с раздробленной ногой, решив, что он умер; прошли месяцы, родители оплакивали сына, и вдруг прибыло послание, написанное знакомым почерком и довольно необычное по внешнему виду, что-то вроде двойной открытки со штемпелем, изображавшим орла: молодой Бегу был жив, он был в плену, он был на излечении в немецком госпитале; несколько позже пришло другое письмо, уже с другой эмблемой: он находился на излечении во французском госпитале, немцы его отпустили на родину, поскольку тяжелое ранение, повлекшее за собой ампутацию ноги, требовало повторных операций. Теперь все это уже позади, он сообщал о своем возвращении. Агнесса узнала о событии одной из первых: Ирма, доставлявшая хозяйке последние вести этого замкнутого островного мирка, примчалась бегом из порта, рискуя пропустить очередной рейс на материк, куда она отправлялась за провизией.

Агнесса нанесла визит старикам. Мать Бегу уже заранее начала плакать, говорила не умолкая и, разговаривая, грела утюги — надо же принарядиться для встречи, хотя день приезда Эмильена еще не был известен. Но ведь приедет он не в санитарном автомобиле, а на поезде, поскольку, как видно из последнего письма, он вполне излечился. Значит, можно будет встретить его на Гиерском вокзале.

В торжественный день население Пор-Кро возросло чуть ли не вдвое. Люди прибывали с островов Леван, Поркероль и даже с полуострова Жиен. Маленький рыбацкий поселок огласили девичьи восклицания, девушки были веселые, нарядные. Яркое солнце освещало радостные юные лица. Здесь не забыли статного красавца Эмильена, довоенные балы, танцульки на Жиенском полуострове, где Эмильен был всегда нарасхват. Ему было тогда двадцать два года, значит, сейчас ему двадцать пять лет, — не бог весть какой старик! Агнесса шла в первых рядах встречающих, хотя и немного в стороне, а рядом торжественно шествовала Ирма, упирая в бедро горшок расцветающих камелий, который она с разрешения хозяйки взяла в оранжерее.

Все ждали, когда наконец появится из-за острова Баго знакомая моторка. Она шла прямо к рейду, а с берега казалось, что она стоит на месте. Маленькая, но шумная толпа людей задвигалась, замахала руками, закричала. С этого момента все пошло быстрее. Встречающие покинули дальний уголок бухты,



откуда лучше было видно, как катер пробирается между мелями, и устремились к маленькой гавани; теперь все различали моторку и сидевшего в моторке рядом с матерью и отцом Эмильена Бегу, медленными взмахами руки отвечавшего на приветствия.

Наконец моторка пристала к дамбе. Кое-кто из встречавших побежал навстречу, но тут же все отступили на шаг назад. Воцарилось молчание. Отец Бегу взял сына на руки, как ребенка, и с ним вместе вышел на берег. Осторожным движением он сумел поставить Эмильена на единственную уцелевшую ногу. Юноша сделал на месте несколько прыжков, ему поспешили подать костыли, потом он остановился на мгновение на узкой дамбе и всем стала видна пустая брючина, подколота так высоко, что, казалось, нога ампутирована по самое бедро. Видно было также, как напряглась другая, здоровая нога, поддерживавшая все тело. И в ярком свете эта нога выглядела особенно длинной и тонкой. Калека медленно обвел глазами людей, собравшихся в его честь, но внезапно онемевших при виде ужасного увечья, о котором встречающие уже как-то забыли на радостях или вообще плохо себе это представляли раньше. Все же в эту минуту безмолвия и оцепенения, воцарившегося на берегу, от взглядов встречавших не укрылось, что красавчик Эмильен выглядит прекрасно, видимо, заботы врачей и отдых пошли ему на пользу.

Наконец он двинулся в путь, налегая на костыли. За ним следовали мать и отец; при его приближении толпа молчаливо расступилась, образуя пустоту, Эмильен, не промолвив ни слова, направился к родному дому — к булочной, вошел в дом, за ним вошли родители, дверь мгновение оставалась открытой, потом захлопнулась.

— Мы придем попозже, — сказала Агнесса Ирме. — Пожалуйста, отнеси цветы бакалейщице и скажи, чтобы она подержала их до вечера, а вечером мы навестим Эмильена и его родителей.

Ирма скорчила недовольную гримаску.

— Я бы могла прекрасно сама занести им цветы, — сказала Ирма. — Они совсем не тяжелые. А вдруг вечером вы будете заняты.

Агнесса навестила семейство Бегу только через день. Сына не оказалось дома. Мать объяснила, что он отправился на виноградник один, на костылях, и, расплакавшись, добавила, что отныне он решил ни с кем не разговаривать.



— Ну что ж, а вы просто поставьте мои цветы к нему в комнату, мадам Бегу. Я прекрасно понимаю... Я повидаюсь с ним в другой раз.

Агнесса так и не пришла навестить Эмильена. Рокки схватил насморк, чему причиной были прохладные вечера. Впрочем, весна была ранняя и, как всегда, сопровождалась резкими колебаниями температуры. Глубоко под землей шла обычная весенняя работа природы. На мысе Байю снимали уже первые овощи, а зимние запасы на три четверти были еще не тронуты. Все эти заботы поглощали внимание Агнессы.

Насчет сухого гороха она не беспокоилась, он еще может полежать, а они тем временем будут питаться свежим горохом, который созревает уже к концу февраля; сухой горошек не испортится... Другое дело консервы. Хозяйка мыса Байю не особенно доверяла консервам собственного изготовления, это был ее первый опыт, причем пришлось довольствоваться самыми примитивными приспособлениями. Она старалась не слишком придавать значение всем этим трудностям, сознавая, что другим приходится куда хуже, решила не подражать многим женщинам, которые вот уже два года были одержимы заботами о пище. Агнесса хмурилась, когда видела, как растут запасы продовольствия в ее погребе, и горько упрекала себя, зачем послушалась Викторину, которой овладел демон накопления. Но Викторина и не думала сдаваться: если она боится оставить дом без продовольствия, то не столько ради мадам, сколько ради маленького.

Агнесса невольно рассмеялась.

— Ну хорошо, кукурузная мука предназначена для мальчика, не спорю, а при чем тут консервы из лангустов, эти связки красного перца и чеснока, неужели все это он способен поглотить? А вино двенадцатиградусной крепости? Бедный крошка, и это в два с половиной года! — добавила она, повеселев.

— Вот выдумали! — воскликнула Викторина с провансальским запалом, наставительно подняв палец. — Подумаешь, велика беда — вино чем старше, тем оно, позвольте сказать, лучше, чеснок, когда полежит, только острее пахнет. Нет уж, я знаю в чем дело: мадам хочет кого-то облагодетельствовать! А кого, скажите на милость? Если кого из здешних, то позвольте вас предупредить: стоит только начать — и придется раздавать направо и налево с утра до ночи. Что, не права я? Ну-ка, скажите сами.



— Бог знает, что вы говорите... у меня и в мыслях этого не было,— ответила Агнесса, которая не очень любила, когда угадывали ее намерения.

Викторина и даже юная Ирма, которые живут с ней бок о бок, скоро вообще запретят ей думать.

— Но,— добавила она вслух,— в нынешнее тяжелое время, когда многим не хватает самого необходимого — держать у себя лишние запасы... Неужели вы сами этого не чувствуете, Викторина?!

Агнесса вышла и вернулась в погреб позже, во второй половине дня, зная, что в это время Викторина занята стиркой на маленького. Она вновь осмотрела свои богатства, всю эту снедь и решила отобрать наиболее ценное и пригодное для пересылки. Надо, чтобы тюк получился покомпактнее, а главное — не слишком много весил. Мысль о том, что посылка не должна превышать установленного правилами веса, пришла ей в голову внезапно. До сих пор она посылала продовольствие лишь изредка и то только военнопленным. На этот раз следовало действовать согласно правилам, которые ей не были еще известны, поскольку речь шла о совсем другой категории посылок.

На следующий день Агнесса отправилась в Гиер, где и получила все необходимые сведения. Оттуда же она привезла литровый плоский бидон овальной формы, из алюминия, совсем новенький,— она добыла его у местного аптекаря. Она дождалась вечера и принялась за работу, только когда дом затих.

Посылку Агнесса готовила с каким-то особенным старанием, чуть ли не лихорадочным: раз десять клала на весы упаковочный материал — картон, бумагу, даже веревки; раз десять взвешивала продукты. Со скорбью душевной пришлось отказаться от большой банки томатной пасты, которая весила чуть ли не половину всей нормы. Вместо большой она положила маленькую баночку с томатом, ей было приятно думать, что тетя Луиза, известная в семье кулинарка, попробует ее пасты. Отсыпая кукурузную муку в маленький полотняный мешочек — тара ее собственного изготовления,— она представила себе, как на авеню Ван-Дейка эта мука превратится в пирожки, оладьи, кашку для маленьких. Наконец она установила реальный вес посылки с точностью до десяти граммов, рассовала по уголкам между банок миндаль, а оставшиеся промежутки заполнила не стружками, а тмином, розмарином и лавровым листом.



Уже завязывая посылку, Агнесса вдруг наклонилась над всей этой снедью, и слезы навернулись ей на глаза; от этих драгоценных запасов шел острый запах, и, вдохнув его, семья Буссарделей как бы окунется во все ароматы мыса Байю.

Но она тут же развязала посылку: а вдруг такие посылки подлежат досмотру. Она слышала, что отправка из неоккупированной зоны продуктов, нормированных в Париже, запрещена. При выходе из вокзала пассажиров обыскивали, поскольку разрешалось провозить лишь ненормированные продукты; допускались также плоды собственных садов и огородов. Но ведь в ее посылке в алюминиевом бидоне как раз и было драгоценное оливковое масло. Агнесса взяла одну из этикеток, которые обычно использовала для своих консервных банок, приклеила ее к бидону и крупными буквами написала: «Оливковое масло из фамильного поместья Буссарделей».



на решила, что обязательно отвезет посылку сама, и, так как железнодорожная магистраль проходила не через Гиер, а через Ля Полин, она отправилась сначала на ляполинский вокзал. Но это была маленькая железнодорожная ветка, и Агнесса вдруг забеспокоилась, что посылка может пропасть, — раз уж она выбралась из дому, лучше доехать до Тулона. Она предъявила весовщику свою драгоценную кладь, проследила за показанием весов. Приблизив голову к стеклу, за которым ходила большая стрелка, она увидела свое отражение: лицо, тюрбан на голове; отправляясь в путь со своей посылкой, Агнесса завязала шарф тюрбаном. В этот день дул мистраль. Агнесса щедро дала на чай весовщику и вышла из зала, бросив последний взгляд на посылку, которую собрала собственными руками и которая через несколько дней должна попасть в руки ее близких.

Но, едва сев в поезд, идущий на Гиер, она вдруг забеспокоилась: неизвестно, как Буссардели примут ее дар. Еще вообразят, что она хочет показать свое превосходство над ними; чего доброго, обидятся и, во всяком случае, будут недовольны.



Да, но по нынешним временам продовольственная посылка, да еще отправленная с такими трудностями, с такими предосторожностями,—ведь Агнесса поостереглась даже послать обычное межзональное уведомление... Нет, нет, они должны понять. К тому же она вовсе не считает, что они обязаны выражать ей свою благодарность или даже просто подтвердить получение. Нет, что ни говори, она поступила правильно. Перестала терзаться. Вот если бы она стала бесконечно раздумывать, колебаться и отказалась от посылки, было бы куда хуже, никогда бы она себе этого не простила.

Целых двое суток не могла она отделаться от этих мыслей. «Господи, я все такая же! — говорила она себе.— Та же шепетильность, та же страсть бесконечно взвешивать свои поступки». А она-то надеялась, что Америка отучила ее от этой блажи и ее робинзоновское существование на острове тоже этому способствует. Какое там! Стоило ей обратиться мыслью к авеню Ван-Дейка, и сразу сказала прежняя натура. И впрямь она все такая же: в двадцать восемь лет осталась все той же барышней Буссардель. Супружество ее длилось несколько недель, а потом безвременно погиб Ксавье, настоящей женской жизнью она жила лишь в горах Калифорнии, где считалась законной женой Нормана, хотя никогда ею не была. Девушка, женщина... общественное осуждение в этом случае отнюдь не пустой звук и не пережиток, вот почему рождение ребенка не решало всей проблемы. Термин «девушка-мать» невольно пришел ей на ум.

Она дала себе слово, что начнет дожидаться письма не раньше чем через неделю; она рассчитала, что потребуется не меньше семи-восьми дней, чтобы посылка дошла до Парижа и пришел ответ в неоккупированную зону. Но тщетно прождала она целый месяц. В ней нарастало раздражение, копился гнев, и она узнавала острый и горький вкус этого гнева, вкус ее юности; итак, Буссардели остались Буссарделями! Трагедия потрясла весь мир, а они как стояли, так и стоят на своем, ничто их не коснулось, по-прежнему барахтаются в мелких семейных раздорах эти поистине твердокаменные буржуа. О, это, конечно, тетя Эмма внушила им мысль не отвечать. Агнессе казалось, что она слышит ее голос, отделенный семьюстами километрами оккупированной Франции, приглушенный тремя годами разлуки. «Отвечать не будем,—скомандовала та, что стояла на страже семейных устоев, будто давая своим трубным голосом сигнал тревоги.— Я требую, чтобы никто не отвечал Агнессе. Понятно? Эта



несчастливая воображает, что искупит свою вину, прислав литр оливкового масла!» Теперь после месяца тщетного ожидания Агнесса окончательно убедила себя, что ни одна крошка из содержимого ее посылки не появится на столе у Буссарделей. Все отдала прислуге. Или на благотворительные цели.

Как же она сглупила! По мере того как шли дни, а открытки с межзональным штемпелем все не было, Агнесса все больше досадовала на самое себя. И досада ее была тем горше, что в глубине души она, пожалуй, даже понимала мотивы своих родных. Конечно, они настоящие чудовища, только чудовища могли допустить брак увечного юноши и вполне здоровой девушки, не предупредив ни ее, ни его. А чем она отплатила? Если стать на их точку зрения? Убила Ксавье. Похитила у тети Эммы, его крестной матери, у единственного человека, который все же любил Ксавье; увезла его чуть ли не в агонии, хотя врачи решительно запретили его трогать, и он умер в дороге, в санитарной машине; да, они вправе говорить, что Агнесса его убила.

Но это не значит, что она простит им молчание. Разве она не сделала первого шага? И разве ей легко было сделать этот шаг? Она старалась сосредоточить свои мысли на сыне — единственном своем прибежище. Слава богу, в жилах ее сына течет лишь половина буссарделевской крови. Своим дыханием, этим взглядом тверже агата, из-под век, он мстит за нее. Эти чистые глаза никогда не видели никого из Буссарделей и никогда не увидят. Единственная семья Рокки — это она, Агнесса. И те, кто выхаживает его вместе с Агнессой. Ребенок прекрасно постигал иерархию, существовавшую между тремя женщинами, заботившимися о его благополучии: мать была самым верховным божеством. Это чувствовалось по тому, как он тянул к ней свои ручонки.

— Называй меня мамми, darling,— говорила она.— Повторяй за мной: мам...ми.

— Мам...ми,— послушно и восторженно лепетал малыш.— Мам.... Мамми.

Она крепко сжимала Рено в объятиях, покрывала его личико поцелуями.

Наконец наступил день, когда Агнесса решила вообще не думать больше об упрямах с авеню Ван-Дейка, и это решение далось ей без особого труда. Опыт долгого одиночества, постоянное пребывание с глазу на глаз с самой собою усилили ее врожденную способность управлять своей волей. Ее мысль,



быстро заживляя раны, приходила в обычное равновесие, и Агнессе вновь удавалось отклонять от себя те образы и представления, которые были ей неуютны. Ее отношения с людьми никогда не были пассивными, почти никогда она пассивно не подчинялась своим мечтам и раздумьям. И когда дело касалось Буссарделей, она обнаруживала в себе удивлявшие ее самые скрытые резервы воли. К тому же, помимо чувства к сыну, было еще одно, что отвлекало ее от черных мыслей, — калека Эмильен.

Отец и особенно мать Эмильена Бегу не знали, как подступиться к сыну, и булочница не раз рыдала на груди Агнессы.

— Не знаю, мадам, что с ним делать, как его образумить. Он привез с собой протез, который ему подарили в госпитале: просто чудесную ногу. Вы зайдите, я вам ее покажу. Я ее берегу как зеницу ока, — и все напрасно! Он не желает пользоваться протезом. Я ему говорю: ты его приладь, поноси хоть минуту, посмотрим, как он действует. А он отказывается.

— Может быть, ему больно, когда он ходит с протезом, мадам Бегу?

— О-о! — удивилась булочница и даже забыла вытереть слезы. — Вот это самое он и говорит. Вы думаете, это правда?

Добродушное лицо госпожи Бегу приняло вдруг серьезное выражение. На острове не было не только врача, но даже аптекаря, а Агнесса, о чем было известно островитянам, в свое время прошла курсы Красного Креста и кое-что смыслила в медицине. Постепенно к ней стали обращаться за советом, за врачебной помощью, но главное — островитян привлекала ее аптечка. Агнесса объяснила матери Эмильена, что иногда после ампутации окончание нерва разрастается. Больной сильно страдает. Может быть и другое: рубец заживает плохо и от прикосновения протеза края раны расходятся.

— Так оно, должно быть, и есть! — воскликнула булочница, слезы которой иссякли под влиянием ученых объяснений. — Или нерв, или рубец! А может быть, и то и другое! Будьте добры, мадам Агнесса, поговорите вы с ним: вас он послушает. Если уж для него не хотите этого сделать, то сделайте ради меня, повлияйте вы на него!

Хозяйка мыса Байю сама просила жителей Пор-Кро и тех, с кем она водилась, называть ее мадам Агнессой, а не мадам Буссардель — имя, которое после разрыва с авеню Ван-Дейка резало ей слух. И Агнесса даже не вспомнила, что ее маневр был совершенно в духе и нравах семьи Буссарделей, ибо в их



роду имелось столько женщин, что во избежание путаницы их называли по-старинному: мадам Теодорина, мадам Симона, мадемуазель Эмма.

Агнесса нашла молодого Бегу в той части маленького отцовского виноградника, которую было не видно с дороги: он сидел прямо на земле, положив рядом костыли. Застигнутый врасплох появлением Агнессы, он постеснялся ей не ответить. Но, чтобы отбить у нее охоту к дальнейшим разговорам, объявил о своем намерении возвратиться в госпиталь. Слишком он страдает ночью и днем, чувствует, что дело плохо и в дальнейшем будет еще хуже. Видимо, ему казалось, что эта выдумка насчет возвращения в госпиталь избавит его от приставаний, но Агнессе это было лишь на руку. Она не только не стала читать ему нравочений или ссылаться на горе, которое он доставляет матери, а, напротив, предложила ему свою помощь.

— Если хотите, я могу взять на себя все хлопоты, Эмильен, чтобы вам не приходилось писать всякие бумажки. Могу даже завтра побывать на континенте, обращусь в ближайший пункт санитарной службы, и там мне посоветуют, что предпринять. Скажите только одно: вы уже говорили со своими родителями? — добавила она, усаживаясь на землю рядом с ним у подножья роскошно зеленевшего дуба. — А то я вмешаюсь и получится неловко.

Юноша был сбит с толку. Он то бросал на нее неуверенные взгляды, то, надувшись, опускал глаза, машинально разминая в пальцах комья сухой земли. Агнесса украдкой старалась разглядеть изувеченную ногу, но Эмильен, как только увидел Агнессу, положил здоровую ногу наискось поверх культи. Сидеть в такой неестественной позе было по меньшей мере неудобно, быть может, даже мучительно. Во всяком случае, уже через минуту он переменил позу; тут Агнесса увидела пустую брючину, пристегнутую двумя английскими булавками, и жалкий короткий обрубок. В день возвращения Эмильена, глядя на него с дамбы, она этого не поняла. «Боже мой, — подумала она, — ведь ему отняли ногу почти до бедра!»

Она отвела глаза в сторону, но все же заметила другую, здоровую ногу и сердце ее вдруг болезненно сжалось. На свою единственную ногу Эмильен надел сандалию без носка; когда он отвел ногу в сторону, брючина задралась кверху, открыв еще совсем мальчишескую, худощавую лодыжку, беззащитную в своей обнаженности. Эта уцелевшая нога только подчеркивала увечье.



— Ну как? — сказала, овладев собой, Агнесса. — Поскольку нет никакой уверенности, что дело пойдет быстро... Знаете, как тянут во всех военных канцеляриях... Мы пока никому ничего не скажем о наших хлопотах. Завтра утром к вам зайдет Ирма и принесет конверт. Вы сунете туда все свои военные документы, включая медицинские свидетельства из госпиталя: я уж сама разберусь. Ого, да уже поздно... Дома я сказала, что дойду только до порта и вернусь. Я ведь не знала, что встречу вас. До свидания, Эмильен.

Назавтра, просматривая груду бумаг, накопившихся у раненого, она нашла то, что искала: в частности — рекомендации врача, которые были даны Эмильену при выписке из госпиталя. Она убедилась, что Эмильен пренебрег всеми предписаниями.

Агнесса подождала еще дня два, пускай себе Эмильен поразмыслит в одиночестве. За это время она успела побывать в Гире, вернее, съездила в аптеку и привезла оттуда витамин «В» и целую груду перевязочного материала. Войдя в виноградник, она по выражению лица Эмильена поняла, что он давно ее ждет.

Она призналась ему, что находится в большом затруднении. Но пусть он не беспокоится: если она еще не начала хлопоты, то лишь исходя из интересов самого Эмильена. Она объяснила юноше, что в первом же медицинском пункте, куда он явится, его наверняка распекут. А возможно, даже будут и неприятности. Ведь он, оказывается, не лечится. Она лично отнюдь его за это не осуждает, она представляет себе, что, вероятно, сама вела бы себя не лучше на его месте, и понимает также, что он приуныл. Но эти костоправы, сказала она, подлаживаясь под солдатскую манеру разговаривать, разве они входят в положение тяжелораненого? И посоветовала Эмильену прежде всего заняться своим здоровьем, не пренебрегая ничем. Нужно делать уколы и даже поупражняться с протезом, выбрав время, чтобы никто ему не мешал. Сейчас-то он сам себе хозяин и плевать ему на всех. А вот когда он вернется в госпиталь, он станет просто очередным номером среди сотен других, и медицинский персонал, которому доведется заниматься его искалеченной ногой, не очень-то будет с ним церемониться. Что касается уколов, то она лично готова начать курс хоть завтра. Тут только Эмильен опомнился, ему не понравилось, что его берут нахрапом, но было уже поздно: Агнесса условилась посетить его завтра в утренние часы.

Как только боли немного утихли и он начал упражняться с



протезом, рубец открылся. Агнесса сумела залечить больное место, но следующая попытка снова окончилась неудачей. По ее совету Эмильен стал лечить культю солнцем, и после каждой солнечной ванны она меняла ему повязку. Для лечения был избран виноградник — особенно приятный в это время года и по-деревенски уединенный уголок. Агнесса понимала, что юноша предпочтет именно это место, а не комнату в родительском доме, и поэтому намекнула, что ей удобно проводить сеансы здесь, ведь виноградник ближе к мысу Байю; и в самом деле, виноградник был расположен гораздо ближе к ее дому, чем гавань.

Обычно Агнесса приносила с собой походную аптечку и забирала использованные бинты, которые сжигала у себя дома, но поскольку солнечные ванны занимали довольно много времени, она с умыслом захватывала какую-нибудь работу, например вязание. Пока она вязала, следя за часами, она успевала рассказать своему пациенту последние новости, услышанные по швейцарскому радио. Промежутки заполнялись долгими полосами молчания, и в это-то время происходило приручение недоверчивого Эмильена: лечение постепенно приучало его сносить без протеста свою зависимость от Агнессы, их заговорщическую близость, а также неизбежную при лечении интимность. Виноградник Бегу представлял собой маленький клочок земли, затерявшийся среди девственной зелени дубов, мастиковых деревьев и зарослей толокнянки, в стороне от двух-трех проторенных дорог, где, впрочем, лишь изредка появлялись пешеходы. Дышать здесь было легко и спокойно, врачевательница и ее подопечный могли быть уверены, что никто им не помешает, даже не заметит их.

Вскоре Агнесса уже знала во всех подробностях историю ранения Эмильена, о которой родителям он рассказал лишь в самых общих чертах. В сущности, знала она теперь даже больше, чем сам пострадавший, не очень-то разбиравшийся в том, что с ним произошло. Между тем Агнесса сумела из бессвязных рассказов Эмильена постепенно восстановить ход событий. Эмильен подорвался на mine, и немцы нашли его на месте взрыва: все было цело, кроме ноги, пробитой десятками больших и малых осколков. Ногу раздробило, и потому-то потребовалась немедленная ампутация. Но это было еще не все: несколько открытых переломов бедра требовали дополнительной операции, которая окончилась неудачно и оставила после себя очаги костной инфекции. Агнесса объяснила бывшему военнопленному, что



это-то серьезное, даже опасное для жизни положение и помешало, должно быть, немедленной репатриации; она уяснила себе и сумела растолковать ему, что три последующих оперативных вмешательства были в сущности чисткой, а не настоящими операциями, как он воображал; позже, убедившись, что состояние его вызывает тревогу, немецкие врачи вынуждены были прибегнуть к радикальной ампутации, ибо речь шла ни больше ни меньше, как о жизни и смерти Эмильена.

Объяснения, которые давала Эмильену мадам Агнесса, прославившаяся на острове своими познаниями в медицине, он воспринял по-своему: он был немного разочарован, но и приободрился. С тех пор как его злоключения уже не казались ему чем-то загадочным, чуть ли не следствием злого умысла, он перестал страшиться всего пережитого.

— Теперь, когда вы мне все так хорошо и подробно объяснили,— сказала ему однажды Агнесса,— я хочу, чтобы вы поняли одно: столь тяжелые раны, нанесенные десятками осколков мины, встречаются не так уж часто. Из десяти в таких случаях обычно выживает лишь один. Вы выжили. Только такой сильный, жизнеспособный организм, как ваш, мог выкарабкаться, уж поверьте мне,— заключила она и поняла, что слова ее произвели желаемое действие.

Однако же, как истый провансалец, Эмильен еще раз бурно восстал, но даже в этом бунте она почувствовала драгоценные ростки доверия к ней, к его наставнице.

— Ваша правда, мадам Агнесса. Это верно, что я человек крепкого здоровья. Но, скажите сами, разве мне сейчас от этого легче? Что уж толковать насчет моей силы, нога у меня все равно не отрастет заново, как у краба.

— Верно,— сказала Агнесса, не желая спорить, что, впрочем, только подстегнуло Эмильена.

— Не хочу я больше показываться на людях, раз я стал такой. Не хочу — и все. Если я даже когда-нибудь и научусь передвигаться на этой железке, разве кто-нибудь сможет забыть, что у меня там, под штаниной?

Он рассердился. Агнессе пришлось усадить его, чтобы продолжить их обычный сеанс облучения. Наступило короткое молчание. «Сейчас он думает о Люсьенне», — промелькнуло в голове Агнессы. Люсьенна — молодая девушка, жительница Жиенского полуострова, считалась еще со времен «странной войны» невестой молодого Бегу. Люсьенна находилась в числе встре-



чавших в тот злополучный день, но когда группа островитян разошлась по домам и Люсьенна решилась заглянуть в булочную, Эмильен уже заперся в своей комнате и отказался увидаться с невестой. О чем булочница с плачем сообщила Агнессе. Эмильен поручил матери сказать Люсьенне, что он возвращает ей слово.

— Но ведь вы, мадам Агнесса, вы человек деликатный, вы можете понять человеческие переживания,— продолжал Эмильен.— Раз я стал такой, значит если какая-нибудь женщина и согласится пойти за меня, то лишь из жалости. А мне жалости не надо. Пусть никто не жалеет, и уж особенно женщины. Если бы вы знали, как женщины смотрят на мою ногу!.. Оттого-то я и отказываюсь с ними встречаться. Кроме как с вами и с матерью. Ведь вы меня лечите, а мать, она и есть мать. Не считая вас обеих, я, можно сказать, с тех пор как вышел из госпиталя, ни одной женщины совсем не видел, даже издали. Может, вам непонятно?

И добавил сердито:

— А ведь это мне не просто!

Агнесса хранила молчание, стараясь даже не глядеть на своего собеседника. Но так как он оборвал свою исповедь, да и время уже истекло, она отложила вязанье и напомнила Эмильену, что сеанс облучения закончен. С ее помощью он уселся поудобнее и спокойно дал перевязать рану.

«Нужно его вывести из этого состояния»,— твердила себе Агнесса чуть ли не каждый день. Хотя Эмильен не заговаривал больше о женщинах, Агнесса не переставала размышлять над этим вопросом. Она уже не удивлялась, что поддалась навязчивой мысли, и решила во что бы то ни стало добиться полного физического выздоровления раненого, а также выздоровления нравственного. Обстоятельства оправдывали ее упорство, тут сказывалась и потребность стать хоть в чем-то полезной, не жить в стороне от драмы, которая разворачивалась там, на материке, на всем материке, именуемом Европой. Помогая сыну господ Бегу, Агнесса старалась помочь жертвам войны, и то, что сам Эмильен был человек простой, грубоватый, отнюдь не упрощало дела. Напротив, по ее мнению, это лишь подчеркивало сколь неблагодарный труд она на себя взяла.

Правда, хотя не могло быть и речи о дружбе с этим юношей—слишком многое их отдаляло друг от друга,—он не был ей неприятен. Агнесса не могла не заметить, что, с тех пор как он согласился принять ее заботы, он стал следить за собой.



В сущности это было наиболее быстрым и наиболее очевидным результатом как уколов, так и солнечных ванн. Эмильен теперь брился каждый день, это придавало какую-то чистоту, пусть не очень выразительным, но тонким чертам его лица южанина.

Она дождалась утра, прекрасного, особенно в уединении виноградника, утра, когда она почувствовала, что у Эмильена наступает разрядка — «релякшн», как когда-то говорили ее американские друзья. Ароматический целебный воздух, пение птиц, майское солнце изливали на них и вокруг них свое благо; время шло к полудню, и лечебные процедуры заканчивались. Агнесса заговорила о наступающем празднике пасхи, о том, что в эти дни в Пор-Кро, конечно, понаедут гости; в местной гостинице уже поселилась одна супружеская чета. Скоро, должно быть, повсюду заснут купальщики, заполнят все. Заканчивая эту беседу, Агнесса предложила Эмильену провести несколько дней на мысе Байю.

— Спокойнее нашего места нет, согласитесь сами. Далеко от людей, которые вам докучают и которых вам не хочется видеть. Моя Викторина дружна с вашей матерью с детских лет, вы у нее будете как сыр в масле кататься. Обедать будете с ней и с Ирмой, а поселим мы вас в отдельной комнатке на первом этаже. Я там даже поставлю маленький американский радиоприемник, сама я пользуюсь приемником, который остался мне от мужа.

Видя его недоумение, Агнесса притворилась, что она, мол, тоже находится в затруднении, колеблется.

— Послушайте, Эмильен, — сказала она наконец, — позвольте мне говорить с вами без обиняков. Лечение, как мне кажется, идет вполне успешно, я довольна состоянием вашего рубца, да вы и сами говорите, что в последнее время прежние боли почти исчезли. Уколы в сочетании с солнечными ваннами пошли на пользу. Значит, надо продолжать их. Но, должна признаться, мне куда проще было бы лечить вас у себя на мысе Байю, не отлучаясь из дому.





все же в первые дни переселения Эмильена на мыс Байю Агнессе казалось, что, пригласив его сюда, она поступила весьма необдуманно. Не то, чтобы Эмильен мешал кому-нибудь или был навязчив; да и комната его выходила на утрамбованную площадку, вернее, в маленький тенистый дворик сразу же за домом,— здесь Эмильен мог жить так, как ему хотелось, даже не встречаясь с Агнессой.

Но она чувствовала, что сама дичится этого гостя, как дичилась бы любого гостя в своем доме, и не могла справиться с этим чувством, хотя первая предложила Эмильену гостеприимство. Привыкшая когда-то ревниво оберегать свое одиночество в кругу родных, а затем свое островное затворничество, Агнесса десятки раз становилась жертвой кошмара, который упорно не отступал от нее всю жизнь. Ей представлялось, что она только что возвратилась из далекого путешествия, а то и просто из соседней лавочки, и даже еще проще: проснулась и, выйдя из своей спальни, обнаружила, что весь дом, вплоть до последнего уголка, наводнила толпа незнакомых людей, которых ей ни за что не выставить за дверь. Обычно в дни, следовавшие за этим кошмаром, она, если нужно было принять гостей, лишь с трудом брала себя в руки.

Кроме того, ее поначалу тревожило, что Рокки будет общаться с Эмильеном. Впрочем, эта тревога вскоре исчезла. Сыну ее, как он сам любил говорить в подражание матери, исполнилось уже «два года с полгодиком», но не больше. Появление в их доме безногого человека сначала ошеломило Рокки, он притих и не искал общества странного дяди. Как и прежде, ребенок предпочитал бывать с Ирмой, обожаемой и всегда доступной Ирмой. Когда Ирме приходилось развлекать ребенка, она и сама развлекалась не меньше его. Рокки был в восторге, и трудно было сказать, кто из них кричит громче. Агнесса одобрительным оком взирала на эту дружбу и старалась освободить Ирму от излишних забот по дому.

Зато Викторина сразу взяла сторону Эмильена: взяла из принципа, с первой минуты и притом громогласно. И не потому, что он свой, местный, а потому, что он сын булочницы Бегу.



Хотя Пор-Кро был свободен от многих тягот и порядков, порожденных разгромом, хлебные карточки здесь существовали, как и повсюду, и с наступлением эпохи ограничений и ущемлений чета Бегу сразу выдвинулась среди островитян в ряды сильных мира сего. По расчетам Викторины, внимание, которым окружали жители мыса Байю своего юного гостя, непременно обеспечит им привилегированное положение как клиентам булочной Бегу. Родители Эмильена с утра до вечера славил ту, чьими заботами преобразился их сын, который находился ныне на пути к выздоровлению,— вот Викторина и решила, что, пока он в их доме, здесь хлеб не переведется.

Агнесса перестала беспокоиться насчет поведения своих домашних и вся отдалась перевоспитанию Эмильена, уделяя юноше все больше и больше внимания. Она вспомнила, что в доме лежат целые груды американских журналов, которые она получала довольно регулярно из Нью-Йорка даже несколько месяцев спустя после заключения перемирия. Не только верность воспоминаниям о Калифорнии, но и чувство солидарности по отношению к союзникам заставляло ее хранить американские издания. Агнесса вспомнила также, что в журналах помещены любопытные фоторепортажи, целая галерея портретов людей, пострадавших от войны, мужчин и женщин: не мучась никакими комплексами, они, наоборот, с улыбкой выставляли напоказ свои протезы, ловко действовавшие механические конечности, руки роботов, страшные, как панцири, корсеты, пластмассовые челюсти и подбородки; ничто не мешало им заниматься делами, снимать кинофильмы, жениться и обзаводиться потомством. Особенно ей запомнилась серия моментальных снимков в чисто американском вкусе: со скоростью в одну тысячную секунды фотоаппарат запечатлел движения гарлемской знаменитости — чернокожего танцора на деревянной ноге: отталкиваясь своей деревяшкой от земли, он совершал сальто-мортале.

Однако на Эмильена все эти примеры не возымели того действия, на которое рассчитывала Агнесса. Она убедилась в этом, незаметно наблюдая, как Эмильен перелистывает старые журналы: он ни разу не задержался на этих чудо-репортажах. Оказалось, что он предпочитает комиксы, хотя в журналах они помещались на месте объявлений, да и текст их не мог быть понятен Эмильену. Агнесса отказалась от своей затеи и заперла нью-йоркские издания в шкаф. Впрочем, Эмильен сразу нашел себе другую духовную пищу: детские журналы, которые собирала



Ирма. Агнесса не раз наталкивалась на Эмильена, сидевшего на пороге своей комнаты или в кухне, или где-нибудь в уголке двора и погруженного в историю приключений Бекассина и Биби Фрикотена.

За это время рана окончательно зарубцевалась, и с наступлением теплых дней Агнесса уговорила Эмильена начать купаться. Надо было заново научить его плавать. В окрестностях бухты Пор-Ман, которую облюбовала себе Агнесса, не было других домов; в сущности, этот пляж принадлежал владельцам мыса Байю и обычно был безлюден. Рыбаки, давно сидевшие без дела, перестали ходить сюда на своих баркасах, а случайные купальщики предпочитали противоположный склон, то есть Палю и Южный пляж, но чаще всего они теснились на продолговатой косе вблизи старой церкви.

Если не спешить, Эмильен без труда мог одолеть пятьсот метров от Пор-Ман до дома по дороге, проложенной таможенниками. Он уже начал пользоваться протезом, но для этих вылазок на пляж Агнесса посоветовала не брать протеза, в противном случае пришлось бы снимать его при посторонних и оставлять на песке.

В послеобеденные часы они вчетвером отправлялись к морю. Шли, оглушенные концертом стрекоз, среди сосен. В Пор-Ман Рокки, голенький, плескался в воде вместе с Ирмой, которая не без гордости впервые в этом году надела купальный костюм с бретельками. В прошлое лето она вполне обходилась старыми трусиками, как мальчишка. Агнесса в сопровождении Эмильена доходила до конца песчаной полосы, где начинались скалистые выступы и было достаточно глубоко, чтобы плавать и даже нырять.

В воду Эмильен входил, опираясь на костыли. Затем делал рывок вперед, Агнесса ловко подхватывала костыли и укладывала их на берег, туда, где им не угрожала волна.

— Ух! Вот уж действительно тут я совсем без вас пропал бы,— закричал ей калека в первый день купания, отплыв на несколько метров от берега.— А что? Захотите вы — и я уже до дому не доберусь. Так и буду валяться здесь на песке, корчиться от злости, как скорпена, которая подыхает без воды. А я вот покоряюсь, хоть и сильнее вас! Вот что значит доверие.

Он смеялся. Так он еще никогда не смеялся. Агнессу взволновал этот смех, а может быть, просто слова насчет доверия. Она натянула на голову резиновую шапочку и тоже бросилась



в воду. Сразу у берега начиналось глубокое место, и тут волна подбрасывала их тела, и так бывало всякий раз: их застигал врасплох этот упругий напор, шедший из самой толщи прозрачных вод. Правда, солнце пробивало и эту толщу, придавая ей там, внизу, зеленоватый оттенок. Свет пронзал слои морской воды, где сверкали тонкие слюдяные блески, будто драгоценная нить в расплавленной серебряной руде. Купальщик и купальщица попадались в эту сеть, и только головы и плечи омывал золотистый воздух. Если бы не крики Рокки и Ирмы, барахтавшихся поблизости, ничто не нарушало бы этих мгновений молчания, сливавшегося с тишиной пор-манской косы, с этим мигом полного забвения. Агнесса и Эмильен держались на волне почти вертикально, еле шевеля руками, чтобы не уйти под воду. Она старалась не отплывать далеко.

День шел за днем, а Эмильен еще ни разу не воспользовался дощечкой, которую Агнесса посоветовала ему держать в вытянутых руках, чтобы освоить плавательные движения уцелевшей ногой. Дощечка так и валялась в расселине утеса. Когда Агнесса шла за ней, Эмильен каждый раз останавливал ее, прося не торопиться.

— Еще минуту,— молил он.— Подождите, спешить некуда. Тут так хорошо.

Его южное произношение казалось особенно звучным здесь, над сверкающей поверхностью моря. Впрочем, он сам и довольно быстро выработал свои особые приемы плавания без всякого стиля, которые восполняли неустойчивость одноногого пловца. Что касается различных стилей, которые преподавала ему Агнесса, то все они казались ему слишком мудреными. Она не стала приставать к нему со своими уроками, но понимала, что без нее он никогда бы не решился войти в воду; а в воде, как она и надеялась, к нему возвращалась прежняя ловкость и свобода движений, он отбрасывал прочь костыли, он не признавал своего увечья.

Однажды утром на мысе Байю появилась Люсьенна. Агнесса видела ее впервые, но что-то сразу подсказало ей, что это бывшая невеста Эмильена; молодая девушка направилась к террасе и огляделась, отыскивая, к кому бы ей обратиться. Агнесса наблюдала за ней из окна своего кабинета, где сидела над письмом к Мано. После смерти Ксавье Агнесса поселилась с сыном внизу. Окна здесь были затянуты металлической сеткой, и, к удовольствию Агнессы, сетка эта не позволяла видеть сна-



ружи внутренность комнат. Ей не хотелось показываться Люсьенне. События шли своим чередом, ее хитроумный замысел вел к счастливой развязке, и скоро Эмильен примирится с жизнью, примирившись с Люсьенной. Ее вмешательство больше не требуется, теперь она была за него спокойна.

Агнесса вышла через кладовую во двор и кликнула Ирму, игравшую с ребенком в уголке сада, заросшем вереском.

— Это, должно быть, невеста Эмильена? Пожалуйста, выйди к ней и скажи Эмильену, что если он хочет, пусть пригласит ее к завтраку. Сегодня как раз у нас пирожки, ей повезло. Попроси маму открыть коробку лангустов и набрать салату. Если же Люсьенна пожелает зайти ко мне, то, будь добра, скажи, что это невозможно, я сейчас занята. Я пока посижу с маленьким. Только, пожалуйста, побыстрее, а то мне надо закончить письмо, я и без того его задержала.

Агнесса так и не дописала письма. Ирма, выполнив поручение, освободила ее от Рокки, но Агнесса все еще продолжала стоять перед письменным столом и несколько раз взглядывала в окно. В конце концов она уселась за стол и почти машинально взялась за давно начатую работу — свитер, который она вязала как раз для Эмильена.

Быстрые шаги, сухое щелканье подошв по камням, которыми был вымощен двор дома, прервали ее раздумье. Она вышла на террасу и увидела Люсьенну, которая на ходу, не оборачиваясь, поправляла ремни сандалий.

Агнесса решила не входить на кухню, а лучше позвать Ирму или Викторину и расспросить их здесь, в кабинете. Викторина, не проронив ни слова, принесла ей завтрак, да и Агнесса молчала, пока не кончилась трапеза. Затем уложили Рокки спать, Ирма освободилась и сама, без приглашения, постучалась в дверь кабинета.

— Ну да, это была Люсьенна! — воскликнула она с порога, и ее взволнованный тон говорил, что любовная драма дошла до девичьего сердца. — Да, мадам, это была Люсьенна. Ей пришлось добираться от полуострова до Вье-Салена на моторке. А потом еще пешком шла часа два, потому что автобусы стояли без горючего. И что же? Этот полоумный даже не пожелал с ней поговорить. Хотя она плакала перед ним, не скрываясь, в три ручья. Она плачет, а он ей одно твердит: незачем было приходить, я, говорит, тебя сюда не звал. Как я решил, так оно и будет, никогда я от этого не отступлюсь. Раз я стал такой, как



я теперь, я жениться не стану. Я клятву дал! Я теперь не человек,— сказал он,— мне так обидно за тебя, Люсьенна, что ты зря себя потревожила.

— Она ему ничего не ответила?

— Она ему все выложила! Откуда, мол, у него такие мысли... И, значит, он думает, что она совсем пустая девушка? И что он для нее каким был, таким и остается и останется навсегда. И что если уж так, то ладно, тогда и она никогда ни за кого не выйдет. Много они оба от этого выиграют? Кончилось тем, что он взял свои костыли да и ушел, Люсьенна стояла у дверей кухни, как нищенка какая-нибудь, а он заперся у себя в комнате. Бедняжке ничего не оставалось делать, как уйти.

— А тебе это рассказал сам Эмильен?

— Ну да! Он за завтраком ни словечка не проронил. Мама рассказала. Она убиралась внизу и все слышала.

Во второй половине дня, когда они пошли на берег купаться, Эмильен все еще молчал, и Агнесса, заметив, что он снова впал в мрачность, удивилась, почему он в таком случае не остался дома. «Он, должно быть, ради меня заставил себя прийти на пляж»,— подумала она. Но самого Эмильена остерегалась расспрашивать.

Часов в семь, когда солнце уже катилось к горизонту на той стороне островка и первая пелена сумерек поползла от долины к их пляжу, Агнесса отошла в сторонку, чтобы переодеться. Эмильен молчал, но как только она вернулась, он решился наконец заговорить. Не входя в подробности, он попросил прощения за то, что Люсьенна явилась к ним с визитом.

— Я ее не приглашал, мадам Агнесса, я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы не подумали чего-нибудь: я ее к себе в гости в ваш дом не приглашал.

— Но это не имеет никакого значения, Эмильен. Вы вполне могли ее пригласить. Мне это ничуть не мешает.

— А мне мешает, можете поверить! Сидела бы лучше дома. Нашлась тоже. Полезнее было бы и для нее и для меня. А так мне пришлось ей бог весть чего наговорить. У меня все внутри перевернулось, когда я ее увидел. Теперь, я знаю, всю ночь глаз не сомкну. Но пусть она только не думает, что я от своего отступлюсь. Ни за что,— продолжал он, грозя указательным пальцем.— Теперь, когда она видела, какой я стал, теперь уж никто меня не уговорит. Знаете, было очень жарко, и я сидел в одних трусиках.



Эмильен отвернулся и замолк. Агнесса поняла, что зря строила себе иллюзии: он по-прежнему во власти своих мрачных мыслей, и путь предстоит еще долгий и трудный. Юноша добавил наивным и упрямым тоном, который был ему свойствен:

— Я уже сказал, что женщин для меня больше не существует, да, да, не существует.

Агнесса тоже провела эту ночь без сна. В воздухе так и не посвежело, даже в ночные часы. Хотя на острова с закатом солнца спускалась прохлада, мыс Байю, подымавшийся по ступеням естественного амфитеатра и обращенный лицом к югу, никогда не знал передышки. Начались самые длинные дни в году, и нередко лишь после восхода луны верхняя терраса и дом медленно освобождались от скопившегося за день в камне жара, и мыс тогда напоминал огромную курильницу, белевшую в ночи под лунным светом. Ночами камни казались совсем раскаленными, быть может, оттого, что лучик луны оставлял в неприкосновенности все краски: рыжее золото окрестных скал и этрусский багрянец стен. В эти часы истинным благословением были маленькие вентиляционные окошки, устроенные во всех комнатах и обращенные к северу.

Агнесса улеглась без рубашки, покрывшись простыней, и лежала, вперив глаза в темноту, туда, где сквозь открытые окна вступала в комнату ночь; лежала и прислушивалась, стараясь уловить хотя бы мгновенный всплеск морской волны, но ничего не было слышно. «Теперь уже до двух часов утра жара не спадет ни на градус», — думала Агнесса. И ей невольно представилось, как в другой части дома, среди таких же раскаленных стен, Эмильен, изувеченный, весь в поту, ворочается с боку на бок в своей постели.

Она не зажгла света, не взяла в руки книгу и стала дожидаться утра. Она не торопила ночные часы и только изредка взглядывала на светящиеся стрелки будильника. Часам к двум свежесть стремительно, чуть ли не в несколько минут, вошла в дом и заполнила комнату. Агнесса встала, накинула халат пошла в детскую убедиться, что Рокки не сбросил с себя во сне простыню, и закрыла окошко. Затем вернулась к себе и мирно вытянулась на постели. Так она и лежала, пока широкая пепельно-синяя полоса на небосводе не возвестила о конце ночи, и как раз в этот момент перед окнами промелькнул силуэт человека на костылях. Быстрая тень неслышно скользнула по направлению к террасе.



Ей вспомнились слова Эмильена, пересказанные Ирмой; в них звучала все та же убежденность, притворная или нет: отныне жалость — единственное чувство, которое он, калека, способен вызвать, и лучше ему навсегда распрощаться со всеми женщинами на свете, жить одному. «Если бы я только была уверена,— подумала Агнесса,— что когда-нибудь после он не станет хвастаться...»

Но тут же насмешливо улыбнулась. Ей самой была смешна Агнесса Буссардель. Как опасения эти не к лицу той женщине, которой она считала себя, и как много в ней от «девицы из буржуазной семьи», которая сказала вся в этой неожиданной оговорке. И именно последняя мысль заставила ее решиться.

Во дворе стоял еще предрассветный сумрак. Все казалось ясным, простым и естественным, каким может быть только рассвет: ласковость воздуха, смешавшиеся в один аромат запахи моря и растений, тишина, темная лазурь неба, с которого уже исчезла луна, но которого еще не коснулся солнечный луч.

Агнесса поспешно вышла из дома, гонимая неотвязной, назойливой мыслью, не покидавшей ее с вечера. Она стала спускаться по лестнице, которая вела в увитую зеленью беседку, где принимали солнечные ванны; Агнесса устроила ее ниже террасы, среди высоких кустов, надежно ее укрывавших. Как она и угадала, Эмильен был здесь, он лежал на одном из матрасов, которые не уносили на ночь. Он приподнялся на локте, вглядываясь в возникшую перед ним высокую женскую фигуру, облаченную в легкий халатик.

— Мне тоже не спалось,— произнесла она глухим и спокойным голосом.

Он улыбнулся и не ответил. Агнесса увидела, как неожиданно блеснули в полумраке зубы Эмильена. Она прилегла на соседний матрас. Так они лежали рядом, он — опершись на локоть, не отводя от нее глаз, а она — одинокая, притихшая. Она испугалась, что Эмильен нарушит молчание. Но нет, он по-прежнему не произнес ни слова, и, так как он не шевелился, она, чуть приподнявшись, потянулась к нему и поцеловала его в губы. На минуту, только на одну минуту ей стало страшно, но, когда он ответил на ее поцелуй, страх прошел. Однако он не обнял ее и не удержал, когда она отодвинулась. При этом движении, быть может невольном, халатик Агнессы распахнулся, и она почувствовала, как обнаженную грудь ее овеяло предрассветным холодком.



Она откинулась на подушку, закрыла глаза, подождала и, даже не успев понять, как Эмильен оказался тут же, вдруг почувствовала на себе его тяжесть.

В следующую ночь она не видела, как он снова прошел через террасу и спустился в зеленую беседку. Она спала. Она задернула занавески, хотя по-прежнему стояла удушливая жара. Так прошло несколько дней. Эмильен все еще не сдавался и каждую ночь проводил под открытым небом, хотя на мысе Байю похолодало и установилась обычная для этого островка погода. После полуночи уже нельзя было подолгу оставаться под открытым небом.

Купанье в Пор-Ман продолжалось. Но теперь Агнесса предпочитала, чтобы все они держались кучкой у берега, вместе с ребенком и Ирмой. Она никогда не оставалась наедине с Эмильеном, разве что когда делала ему укол. В перевязках он больше не нуждался. Рана, по-видимому, зарубцевалась окончательно. Уколы она делала в комнате, где жил Эмильен, но дверей за собой не закрывала. Излишняя предосторожность. Конечно, он не решился бы заговорить в эти минуты и в такой обстановке.

Но в остальное время дня за Эмильена говорили его взгляды. Агнесса чувствовала их на себе, но избегала встречаться с Эмильеном глазами. Однажды утром, после ночи, когда вернувшаяся жара не сдавалась до самого рассвета, Агнесса, отодвинув занавески, обнаружила на подоконнике букет полевых цветов. Она подняла сетку и взяла цветы. Вдохнула их аромат и почувствовала на щеках еще не сошедшую с лепестков росу.

— Кто преподнес мне этот чудесный букет? — сказала она громким и не совсем естественным голосом, входя в кухню, где сидели Викторина с Эмильеном. — Держу пари, что это Эмильен. Только мужчина способен собрать цветы и не поставить их в воду.

Она поставила цветы в простой кувшин и заявила, что отнесет их в детскую. Уже стоя на пороге, она быстро произнесла: «Спасибо, Эмильен». Но оглянувшись, успела заметить растерянное лицо, склоненное над чашкой кофе. Эмильен был в таком замешательстве, будто ночная встреча с хозяйкой мыса Байю, происшедшая две недели назад, была лишь игрой его воображения.

В конце концов Агнесса стала сомневаться: уж не добились ли она как раз обратных результатов; ведь эта самая ночь, которая поистине была ночью без завтрашнего дня, и не могла быть



иной, та ночь могла стать для Эмильена доказательством того, что ни одна женщина, вопреки своей доброй воле, никогда не привыкнет к его увечью. Напрасно она старалась отмахнуться от этих мыслей, они не оставляли ее вплоть до того дня, когда Ирма сообщила, что Эмильен утром ушел на своих костылях в порт.

Маленькая колония продолжала жить своей жизнью. Агнесса перестала ждать писем. О своей семье она старалась не думать, быть может, потому, что уже не надеялась получить от них весточку, вообще перестала надеяться, что появление почтальона может внести что-то новое в ее жизнь. И вот тут-то пришла открытка с межзональным штемпелем. Это писали Буссардели.

В первую минуту Агнесса не испытала ни малейшего потрясения. Она прекрасно помнила почерк каждого члена семьи: отца, матери, братьев, тети Эммы; открытка была написана чужой рукой, и Агнесса поняла, кто ей пишет, лишь наткнувшись глазами на подпись: Жанна-Симон Буссардель. Жанна-Симон была женой ее старшего брата, возможно, единственным человеком, который сохранял, и сохранял не случайно, нейтралитет в семейной драме, разыгравшейся три года назад: девушка, почти девочка — ей было тогда всего девятнадцать лет, — Жанна по молодости не участвовала в семейной междоусобице. Было что-то чисто буссарделевское в том, что именно Жанну-Симон выдвинули в качестве автора этого послания. Она могла подтвердить получение посылки, и в то же время клан оставался в стороне.

Агнесса сунула открытку в карман длинного передника, который она надевала для работы в саду. Рядом стояла Ирма, это она получила почту и прибежала сюда на виноградник лично вручить ее Агнессе. В последнее время не хватало химикатов, и Агнесса подолгу задерживалась на винограднике, ухаживая за лозами и еще совсем зелеными кистями винограда. Агнесса молча выслушала обычную порцию пересудов и слухов, затем Ирма ушла, и тогда хозяйка мыса Байю уселась в прозрачной тени оливкового дерева, чтобы спокойно прочитать письмо.

Она внимательно рассматривала прямоугольник дешевой бристольской бумаги, внешним видом напоминавший проспект: все — и скупые отмеренные в печатном тексте пробелы для ответа, и грозные предостережения, и напоминания, — все обезличивало этот листок, обесчеловечивало. И все же Агнесса сразу увидела слово «Париж», выведенное перед датой, и у нее



забилося сердце: слова послания глядели на нее сквозь решетку рукописного и печатного текста:

«Семья здорова, за исключением дяди Теодора — болен грудной жабой. Симон в плену, адрес следует ниже. Посылка с продовольствием получена».

Ее брат в лагере для военнопленных! Старший брат! Наконец-то сердце всколыхнулось в Агнесе, горло сжалось. Отовсюду наплывали образы прошлого, и, сидя под оливковым деревом, она почувствовала, как вокруг нее сплетается хоровод воспоминаний, радостей и бед, которыми до краев было полно ее детство, юность со всеми пылкими и животворными спорами, с мгновенными взрывами неприязни, скреплявшей взаимное уважение, ибо Агнесса во многих событиях личной и семейной жизни находила себе в лице умницы Симона достойного противника. И обе брачные церемонии представились Агнесе во всей их пышности, похожие, как две капли воды, обе происходили в соборе Сент-Оноре д'Эйлау, где Симон, похоронивший первую жену, вскоре сочетался новыми узами с молоденькою сестрою покойной лишь для того, чтобы не ушло из рук состояние тестя.

Симон в лагере для военнопленных! Этот уверенный в себе и в своем будущем Симон, в сущности уже ставший главой семьи, сильный, красивый мужчина... Трудно было представить себе этого Симона, подвергавшегося лишениям, мукам холода или жары, поедаемого насекомыми, вынужденного валяться рядом бог знает с кем, терпеть всяческие унижения со стороны немцев; а ведь, кроме этих страданий, было еще отчаяние, утрата надежд, репрессии, которыми кончаются неудачные попытки к бегству, не говоря уже об опасности бомбардировок... Агнесса не очень ясно представляла себе повседневный быт военнопленных, зато она вспомнила, как полгода тому назад в Марселе почти наобум заявила гостям Мано, будто у нее родственники в плену, и теперь подумала, что ведь так оно и есть, что этим родственником оказался Симон, что она в сущности сказала жестокую правду, и от этого у нее жарко вспыхнуло лицо. Она устыдилась своей ненужной лжи, и в то же время возникло смутное ощущение ответственности.

Она поднялась, направилась к дому. В письме был указан адрес брата; это неслучайно — значит, можно ему писать. Должно быть, именно беда, в которую попал Симон, заставила их ответить. Как все-таки хорошо и удачно, что она послала тогда эту посылку с продуктами. Она была довольна собой сверх



всякой меры. Решила, не откладывая, собрать новую посылку для брата, постараться, чтобы она была еще лучше, чем первая. Она заперлась в кладовке, начала готовить тару и вдруг сообразила, что у нее нет посылочного ярлыка, который требовался, согласно распоряжению немецких властей. Отчаяние охватило ее, она села на табурет, руки у нее опустились.

Необходимо завтра же пораньше отправиться в Гиер. Сегодня уже поздно, она не успеет добраться туда, а главное — вернуться вовремя. Остров был отрезан от мира. Другое дело Гиер, там у нее имелось множество знакомых, и уж кто-нибудь, черт побери, поможет ей выйти из затруднения, добудет ярлык.

Таким образом, у нее еще было сколько угодно времени, чтобы читать и перечитывать «семейную открытку». Вчитываясь, она вопрошала, искала ответа. Одно стало ей ясно: семейство Буссарделей, укрывшееся за спиной Жанны-Симон, по-прежнему держалось холодно и настороженно. Вникнув в каждое слово, Агнесса поняла, что послание было намеренно сведено к минимуму. Были перечеркнуты даже несколько граф, которые можно было бы заполнить, ответив на вопросы, напечатанные типографским способом; из десяти строчек открытки были заполнены только пять; две линейки внизу содержали лишь адрес военнопленного; наконец, еще ниже, слева, где имелась готовая формула, напечатанная курсивом: любим, помним, целуем, — были зачеркнуты два крайних слова и оставлено только среднее. Кстати сказать, в открытке подтверждалось получение посылки, но без всяких выражений благодарности.

Агнесса вскинула голову: ну и пусть! Глупо было сентиментальничать и выторговывать что-то. Отложив открытку, Агнесса вышла на кухню предупредить Викторину, что намерена отлучиться завтра на целый день, и так как наступил час завтрака и за столом в кухне уже устроился Эмильен, она тут же объявила ему, что в завтрашней прогулке в Пор-Ман участвовать не может: у нее есть важные дела, и ей придется пропустить купание.

Когда она на следующий день прибыла в Гиер, ее постигла неудача: организация помощи военнопленным не имела в своем распоряжении немецких ярлыков и могла только отправить от имени Агнессы стандартную посылку; частные лица сразу же использовали ярлыки, которые получали от своих военнопленных и на которых военнопленные сами указывали лагерь, куда следовало направлять посылку. Одним словом, ярлыков никому



никогда не хватало. Когда же Агнесса, не видя другого выхода, намекнула своим собеседникам насчет поддельных ярлыков, те сделали удивленный вид, и Агнесса не могла скрыть своего возмущения всеобщей приниженностью и верноподданничеством. Тяжелый это был день, Агнесса старалась придумать какой-нибудь выход из положения, бродила по старым, отлого спускавшимся к морю кварталам с широкими ровными и безлюдными проспектами, обсаженными чахлыми городскими пальмами.

Безрадостен был этот Гиер без обычного для современных городов движения, без транспорта, без прохожих, терзаемый жарой и безветрием.

Агнесса вернулась к себе на мыс Байю, приунывшая, недовольная собой, ноги у нее ныли, на душе было беспокойно, никак она не могла примириться с мыслью, что посылка в лагерь не будет отправлена, что прозрачный намек Жанны на положение брата останется без отклика. После первого волнения, которое вызвало в Агнессе письмо, наступил упадок, и ей захотелось хоть с кем-нибудь поделиться своей бедой. Но с кем, кто здесь мог ее понять? Не Викторина же в самом деле, которая дрожит над продовольственными запасами, и уж, во всяком случае, не Эмильен, ограниченный, ушедший в себя. И впрямь она живет слишком изолированно от людей.

Она вызвала по телефону Мано, чья отзывчивость, пожалуй даже дружба, проявившаяся в ту рождественскую ночь, была еще свежа в ее памяти. Она пожаловалась ей на неудачу.

— Только не впадайте в мировую скорбь,— сказала Мано, и Агнесса, сразу прибодрившись, представила себе свою подругу у телефонной трубки с вечным мундштуком в зубах.— Растерялись? Ну что ж, приезжайте, поговорим.

— Это очень мило с вашей стороны, Мано, я сама бы охотно у вас побывала, но у меня ребенок, да еще мой раненый. И до вашего Кань довольно далеко.

— Далеко или близко — не в этом дело. Вы что-то хнычете там насчет почтового ярлыка, а раз так, то извольте приехать.

Тут Агнесса поняла и поторопилась дать согласие. Рано утром она сделала укол Эмильену и тут же отправилась в путь. Автомотриса до Кань шла через Сен-Рафаэль.

— Вот вам ваша бумажонка,— сказала Мано, вынув из книжного шкафа толстый том, где между страниц оказался ярлычок для посылок военнопленным.



— Ведь это же просто чудо, Мано! Как вам только удалось? Там, в Гиере...

— Нет уж, увольте от расспросов, дорогая. Если ярлычок кажется вам недостаточно похожим, не берите его и все.

— По крайней мере скажите, сколько вы за него заплатили.

— Перестаньте, пожалуйста! Люди, которые изготавливают их, работают не ради денег. Мне помогли друзья.

Мано уселась за стол и снова взялась за дело, прерванное приходом Агнессы: положив себе на колени крышку от картонной коробки, где хранилась целая куча окурков, она стала сортировать свои драгоценные запасы. Длинными наманикюренными ногтями цвета сурика она отбирала, раскладывала на две кучки уцелевшие кусочки папиросной бумаги и крошки табаку так, что в середине оставалась лишь труха да пепел.

Но Агнесса, словно не видя этого, вглядывалась с еле заметной улыбкой в лицо подруги. Как многие жители свободной зоны, Агнесса не скрывала, что такие вещи, как черный рынок, аусвейсы, поддельные документы, должны вызывать протест у порядочных людей. Ей казалось, что гражданская совесть не позволяет прибегать ко всем этим уловкам, мириться с подобными приемами. Что в этом есть уступка людям, наживающимся на оккупации, даже уступка оккупантам, ибо именно от оккупантов исходят все эти ограничения. Вот почему Агнесса стояла на своих позициях столь же прочно, сколь люди из оккупированной зоны держались своих взглядов; взгляды же их сводились к тому, что обман оккупационных властей есть не только необходимость, но и особый вид реванша. Тельма Леон-Мартен в ту рождественскую ночь бросила фразу, показавшую Агнессе, что существуют эти две противоположные точки зрения.

Тогда Тельма сказала:

— Отказывать себе в пятидесяти граммах масла только потому, что его достают на черном рынке, это, знаете ли, роскошь, которую могут позволить себе только «неоки».

И Агнесса догадалась, что за демаркационной линией такое прозвище дано жителям неоккупированной зоны.

Несколько сбивало с толку еще и другое: видя, как Мано легко достала поддельную бумажку, Агнесса поняла, что подруга ее совсем не так далека от всех бед эпохи и не стоит в стороне ни от событий, ни от людей с их повседневной жизнью.



Так или иначе Агнесса сдалась и, поскольку уже поздно было возвращаться в Сален, откуда моторка отходила рано утром, осталась ночевать у подруги.

Незадолго до отъезда она выразила желание осмотреть мастерскую в верхнем этаже. Она признавалась, что не очень-то разбирается в живописи и воспринимает ее лишь чувством. Она даже вздрогнула, когда, поднявшись по лесенке в просторное помещение мастерской, устроенной на чердаке, обвела взглядом этот храм воспоминаний, служивший также выставочным залом.

— Как? Вы продали вашего Сезанна?

— Нет,— сказала Мано.— Его здесь нету, но я его не продала.

— А ваш очаровательный Ренуар позднего периода! А мой любимый Вюйар «У открытого окна»!

Агнесса поворачивалась во все стороны, обводила глазами наполовину опустевшие стены. Мано, откинув голову назад, следила за ней, держа во рту пустой мундштук, как держит во рту трубку завзятый курильщик.

— Да вы не расстраивайтесь, милочка. Все мои чада укрыты в надежном месте. Когда имеешь дело с уважаемыми господами из Виши, столь же уважаемыми господами из Парижа и Берлина, всего можно ожидать.

— Конечно, вы поступили мудро. Картинам Сезанна цены нет.

— Дело даже не в этом. Я уже давно многим не дорожу, но у меня волосы дыбом встают, когда я подумаю, что лучшие мои полотна могут уплыть в известном направлении если не непосредственно, то через вторые руки. Сейчас поклонников Сезанна расплодилось видимо-невидимо. Особенно один толстяк.

— Догадываюсь. Но вы уверены, что место действительно надежное?

— Друзья у меня надежные. Вы их не знаете, Агнесса. С недавних пор у нас тут в нашем уголке организовалась маленькая группка.

Агнесса покраснела, сама не понимая, что ее, собственно, смутило. Похожее чувство охватило ее и вчера. Было что-то в объяснениях, да и в мыслях Мано, что ускользало теперь от Агнессы. Подруги обменялись взглядом, и Мано первая улыбнулась.

— Ну хватит, а то опоздаете на поезд.



Перед тем как выйти на улицу, Мано дала Агнессе еще два ярлычка.

— Всего их у меня было три. Думаю, не надо объяснять вам, Агнесса, что посылки следует отправлять не слишком часто.

— О, я буду экономно пользоваться вашим подарком. Может быть, мой брат, получив первую посылку, вышлет мне ярлычок. Но должна вам признаться, бедная моя Мано, что отныне сигареты, которые мне удастся собрать, будут предназначаться для него.

Агнесса собственноручно отвезла посылку в Тулон, приготовив ее с той же тщательностью, как ту, что отправила на авеню Ван-Дейка. Ей хотелось быть особенно осторожной из-за поддельной наклейки, которая, кстати сказать, не вызвала никаких подозрений.

Затем Агнесса написала межзональную открытку своей невестке с просьбой известить Симона о посылке. Она снова начала строить всякие предположения, стараясь представить себе, как будет принята посылка с мыса Байю. Но на сей раз адресатом был ее брат. «Когда-то я считала его своим непримиримым противником. И отнюдь не пассивным противником. Быть может, он решит, что я стараюсь умаслить его, нейтрализовать?» Ибо Агнессу никогда не покидала мысль, что ее недоразумения с Буссарделями еще дадут себя знать в будущем, и, быть может, в глубине души она не только не страшилась этой перспективы, но и желала ее.

Прождав недели три, Агнесса приготовила новую посылку для семьи. Она адресовала ее просто «Господину и госпоже Буссардель», трудно было выразиться более сдержанно и безлично. У себя в кладовке она завела специальную полку отборных продуктов, предназначенных для ее военнопленного и для оккупированных. Она уподобилась сотням и сотням женщин, для которых семейные открытки, письма военнопленных, отправка посылок определяли ритм всей их жизни в течение долгих дней и месяцев, поддерживали еле слышное биение сердец, зажатых кулаком оккупации.

Эмильен с того дня, как был отвергнут его букет, несколько раз уходил в порт. Однажды, к великому удивлению родителей, он появился в булочной на своем протезе с палочкой и без костылей. Он специально попросил Викторину предупредить мать, чтобы не было никаких охов и ахов, никаких разговоров



о его протезе, в противном случае он больше никогда не придет. Узнав, что Эмильен решился открыто дать такое распоряжение, Агнесса поняла, что моральное состояние ее подопечного, несомненно, изменилось к лучшему.

Все та же Викторина начала переговоры об отъезде Эмильена с мыса Байю. Сам он не осмелился заговорить об этом с мадам Агнессой. Предлог он нашел самый благовидный: раз его страдания кончились, а они кончились, уж поверьте, — пора ему вернуться домой и помогать отцу. В последнее время торговля в булочной пошла чуть оживленнее; с первого августа, несмотря на тяжелые времена, маленькая гостиница в порту и даже пристройка к гостинице не пустовали. С другой стороны, Агнесса, видимо, и сама устала от прогулок и купаний в Пор-Ман. Она как-то меньше, чем весной, общалась теперь с маленькой колонией мыса Байю, к тому же и солнце с каждым днем все раньше склонялось к закату, и длинными вечерами особенно остро чувствовалось, что лето на исходе. Эмильену уже наскучило подолгу сидеть в кухне при слабом свете лампы и еще больше — одному в своей комнатке. Поэтому Агнесса, прекрасно разбиравшаяся в настроениях своего пациента, не стала чинить препятствий к его уходу.

Отношения с семьей Бегу от этого не переменились. Но так или иначе Эмильен вернулся под отчий кров. Вскоре Ирма рассказала Агнессе, что Эмильен спустился со своих высот на грешную землю и, конечно, встретился с Люсьенной.

В конце сентября он повенчался с ней, и известие об этом браке вывело Агнессу из апатии. Невольно она, как будто через плечо, оглянулась на миновавшее, уже кончавшееся лето, вспомнила весенние месяцы, которые казались совсем близкими. Милый ее Эмильен, прибывший на мыс Байю в пору, когда цвели нарциссы, стремительно прошел период отрешенности от мира и к окончанию сбора винограда возвратился к жизни. В общем все произошло довольно быстро и довольно удачно. Бессонная тень, стучавшая костылями о плиты террасы в дымке голубой зари, постепенно исчезла из памяти. Агнесса стряхнула с себя предрассветные грезы.

Хозяйка мыса Байю, благодетельница Эмильена, почтила свадьбу своим присутствием. Она понимала, что отказываться нельзя. Как объяснила бы она свое отсутствие? Торжественный завтрак был дан в гостинице в Жиене. Семья Люсьенны жила на полдороге между поселком и новой солеварней в Пескье, где,



кстати сказать, работали ее родные. Агнессу посадили на почетное место — рядом с отцом невесты. И как раз напротив молодоженов.

После трапезы, когда отзвучали песни и гости встали, чтобы поразмяться, Люсьенна обошла вокруг стола и села рядом с Агнессой. Пока молодая отрезала кончик своей фаты, чтобы преподнести его Агнессе, та опытным взглядом успела рассмотреть почти в упор свежее личико с оживленными чертами, безгрешную шейку, которой был не страшен резкий свет, падавший сквозь стеклянный купол. Передавая Агнессе клочок тюля, на котором еще держалось несколько цветов флердоранжа, Люсьенна начала говорить о том, как она благодарна Агнессе, которой обязана своим счастьем. Агнесса растроганно зашикала на нее, стараясь пресечь хвалу, но напрасно — Люсьенна продолжала, и тогда Агнесса рукой закрыла ей рот. Стремительным движением Люсьенна ухватила ее пальцы и, прижав к губам, успела запечатлеть на них поцелуй.

— А все-таки, мадам Агнесса, я должна вам кое в чем признаться, — она улыбнулась, шутливо нахмурившись, и фраза ее прозвучала особенно певуче.

— Да в чем же, бог мой?

— Я ведь вас приревновала, мадам Агнесса. Да, да, я вас ревновала.

— И напрасно, Люсьенна.

— Нет, вправду, напрасно?

— Конечно, вправду, — сказала Агнесса, глядя ей прямо в глаза.





Агнессе казалось, что ее разбудил грохот моторки, стремительно удалявшейся от берега, на котором она осталась в полном одиночестве. Она открыла глаза. Это звонил телефон, нарушая тишину тускловатого октябрьского рассвета. Едва успев удивиться столь раннему звонку, Агнесса прыгнула с постели.

Девушка с почты предупредила ее, что должна сообщить дурную весть, и прочла текст телеграммы, прибывшей из оккупированной зоны:

*«Дедушка Буссардель внезапно скончался похороны пятницу утром глубоко опечаленный Бернар Буссардель».*

Тут же, не отходя от телефона, еще не отослав Ирму в порт за телеграммой, Агнесса вспомнила, что почти в тех же официальных выражениях, с той же официальной деликатностью четыре года назад ей сообщили на мыс Байю о смерти бабушки. И Агнесса сразу, не думая, решила: «На этот раз я поеду». Она не поехала в Париж на похороны бабушки, хотя очень ее любила, хотя в те времена путешествовали еще со всем комфортом, выбирая себе по вкусу или спальный вагон, или самолет. А на похороны своего дяди, о которых известил Бернар Буссардель, один из многочисленных ее племянников — совсем как в Бретани, где у всех великое множество племянников, — Агнесса решила отправиться, презрев все трудности и продолжительность путешествия из одной зоны в другую.

Не стоило даже об этом задумываться. Агнесса чувствовала себя уже в пути. Уже предвосхищала лихорадку отъезда, множество хлопот, приготовлений, уже напрягала волю, которой потребуют от нее бесчисленные трудности, уже готовилась ко всем сюрпризам, ожидающим ее в дороге и в Париже. И все эти вдруг нахлынувшие мысли и чувства как-то отодвинули на задний план горе, причиненное смертью дяди Теодора. За последние несколько месяцев, вдалеке от Парижа и втайне ото всех, Агнесса восстановила свои связи с близкими, и теперь все привычки и обычаи семьи снова вошли в ее плоть и кровь. Поэтому она сразу уловила незамысловатую хитрость, заключенную в этой двуликой формулировке извещения о смерти



«дедушки» Буссарделя, поскольку телеграмма была подписана внуком дяди Теодора; очевидно, надеялись, что так телеграмма вернее достигнет неоккупированной зоны. И родные тоже хорошо ее знали и не сомневались, что она все поймет с полуслова. Это был знак круговой поруки клана, ей протягивали руку; она звалась Буссардель, урожденная Буссардель, и могла, если понадобится, убедить власти, что речь идет о смерти ее собственного деда. Семья как бы спрашивала: «Желаешь ли ты приехать? Тебе предоставляется эта возможность, но тебя не принуждают». Агнесса подсчитала в уме: похороны в пятницу утром, нынче вторник, она успеет прибыть вовремя.

Агнесса надавала поручений обеим женщинам, перерыла весь шкаф, из которого несло нафталином, уложила вещи, записала все инструкции касательно распорядка дня Рокки, а также номер телефона Мано на случай непредвиденных осложнений, собрала кое-какую провизию для обитателей авеню Ван-Дейка, не забыла захватить с собой черную шаль, из которой вполне мог получиться тюрбан, вообще не забыла ни одной мелочи, и в траурной одежде быстрым шагом прошла от дома до порта, сопровождаемая Ирмой, несшей чемодан. Там она села на утренний катер.

В Тулоне все формальности были улажены с такой неожиданной легкостью, что Агнесса совсем успокоилась. Чиновники супрефектуры невозмутимо отвечали на все ее вопросы, заверили, что не потребуются никаких дополнительных документов, что на контрольном пункте ей достаточно будет предъявить телеграмму, и, разъяснив ей все это, углубились в свои бумаги. Агнессе оставалось отправиться на вокзал. А чего только не рассказывали им с первого дня перемирия! Путешествие в Париж, пересечение демаркационной линии — все это превращалось в полуполюгендарное предприятие, столь же героическое, сколь и гибельное... Видно, людям мало тех реальных бед, которые обрушились на Францию: еще от себя добавляют! И если кому-нибудь удастся совершить это путешествие, то он думает лишь об одном — как бы выставить себя в наиболее романтическом свете. А между тем достаточно было посмотреть, как спокойно работали в канцеляриях супрефектуры, чтобы убедиться: страна продолжает жить своей жизнью. Агнесса легкими стопами продвигалась по авеню Вобана. Чемодан, сохранивший несколько банок с консервами для Буссарделей, показался ей не очень тяжелым.



Приближался полдень. В окошко вокзальной кассы ей без всяких осложнений продали билет на Париж и на вопрос о ближайшем поезде информировали, что дневной скорый поезд из Ниццы, идущий по маршруту Марсель — Лион — Дижон — Париж, еще не прибыл. Дождаться пришлось недолго, и вскоре Агнесса очутилась в поезде. Народу было не так уж много. Агнесса нашла свободное место в одном из купе. Поезд тронулся, и не успел он еще обогнуть Бандольскую пристань, как Агнесса вздрогнула. В глубине коридора послышался звон колокольчика, давно уже забытый звук. Агнесса узнавала его по мере того, как он приближался. Мимо дверей купе прошел официант вагон-ресторана, приглашая пассажиров первой очереди к столу. Агнесса обратилась к нему с вопросом: есть ли свободные места? Она ведь не заказывала... Но и на сей раз ответ был успокоительный.

Кормили в вагон-ресторане не бог весть как, и от Агнессы не ускользнуло, что на стограммовый талон ей подали от силы восемьдесят граммов хлеба, но сама атмосфера, любезность официантов, сервировка и даже характерное позвякивание посуды — все напомнило Агнессе о милых путешествиях мирного времени. Столики, за которыми сидели обедавшие пассажиры, занимали меньше половины вагон-ресторана. Через стеклянную перегородку можно было видеть отдельно обедавшую группу — всего четверо пассажиров, которых обслуживал специальный официант. Так как завтрак подавался по самому упрощенному меню, разборчивые клиенты, отделившиеся от простых смертных, налегали на вино; им принесли ведро, из которого глыбой торчал лед, а изо льда — бутылка шампанского с золотым горлышком. Посмотрев на них, Агнесса вспомнила тетю Эмму и ее рассуждения насчет железных дорог. Старая девица Буссардель, похвалявшаяся тем, что помнит еще дилижансы, считала поездки по железной дороге напрасным расточительством. Для нее путешествие было некоей неприятной повинностью, которую люди, знающие жизнь, должны переносить без ропота. Сама тетя Эмма не решалась пользоваться спальными вагонами, ибо, по ее уверениям, рано или поздно ты в случае крушения очутишься в одной ночной рубашке на насыпи; тетя Эмма предпочитала таскать с собой провизию, лишь бы не притрагиваться к отвратительным обедам вагон-ресторана. Когда ей приходилось видеть в общественном месте, в ресторане и особенно в вагон-ресторане людей, старавшихся блеснуть, показать себя



требовательными гастрономами, она заявляла: «Нашлись тоже Лукуллы». И при случае любила громким голосом сообщить своему спутнику или спутнице, посвященным в эту игру: «С нами, кажется, едет Лукулл».

Агнесса невольно улыбнулась этому воспоминанию и продолжала наблюдать двух Лукуллов и их спутниц за стеклянной перегородкой. Тут были две девушки и двое юношей, в которых все выдавало завсегдатаев Лазурного берега, или, скорее, мыса Круазет: и костюм, и прическа, и загар, не сошедший даже осенью. Говорили они громко, выкрикивая английские слова: dear<sup>1</sup>, good gracious<sup>2</sup>, официанта подзывали криком: Steward!<sup>3</sup>— и все это делалось, конечно, в расчете, что их услышит весь вагон.

Вдруг Агнесса вспомнила, что двоих из этой группы она знает. Это были брат и сестра Сиксу-Герц. Ей приходилось встречаться с ними в свете еще до войны; Буссардели не сближались с господами Сиксу-Герц, хотя семья эта была в почете в кругах крупных банкиров и акционеров. Контора Буссарделей вела с ними дела, но домами они знакомы не были. Агнесса несколько не удивилась, обнаружив их здесь, в неоккупированной зоне, но ее ошеломил их хвастливый тон. Когда же поезд подошел к Марселю и они поднялись, готовясь выйти, она постаралась отвернуться и низко нагнулась над сумочкой, будто искала в ней что-то; ей не хотелось здороваться с этими господами. Они прошли совсем близко, и Агнесса еще раз услышала громкую речь и плохую подделку под оксфордское произношение.

— We Gaullists,— воскликнула одна из молоденьких дам,— we know how all this will end<sup>4</sup>.

Наконец можно было поднять голову. Арена была свободна; официант долго стирал салфеткой прописную букву V<sup>5</sup>, начертанную губной помадой на стеклянной перегородке, и только потом стал убирать со стола. Встреча с господами Сиксу-Герц несколько омрачила беспечность Агнессы, и вдруг, будто подчиняясь какому-то рефлексу, она захотела услышать подтверждение того, что путешествие не сопряжено с особыми труд-

<sup>1</sup> Дорогой (англ.).

<sup>2</sup> Большое спасибо (англ.).

<sup>3</sup> Официант! (англ.)

<sup>4</sup> Мы, деголлевцы, мы знаем, чем все это кончится (англ.).

<sup>5</sup> Victoire — победа (франц.).



ностями. Поэтому, когда поезд тронулся, покидая Марсель, и официант подошел со счетом, она разговорила с ним.

— У вас нет аусвейса, мадам? В таком случае вам нельзя ехать через Дижон. Вас задержат в Шалон-сюр-Сон. Единственный путь — это через Мулэн. На мулэнском контрольном пункте вам выдадут пропуск.

— Но я еду на похороны! Похороны близкого родственника — деда, и в Тулоне мне сказали, что меня пропустят на основании телеграфного извещения о смерти.

Она достала из сумочки драгоценную депешу.

— Телеграммы недостаточно, мадам. Попасть в оккупированную зону можно только с пропуском, подписанным немцами. Нужно написать заявление и заполнить анкету. К тому же я не уверен, что дед... что этого достаточно.

Официант подозвал своего товарища. Касательно деда мнения их разошлись, но насчет контрольного пункта в Мулэне сомнений быть не могло: путешественнице необходимо пересечь в Лионе и далее следовать по маршруту Сент-Этьен и Роанн.

Агнесса поспешила расплатиться, хотя, в сущности, спешить было некуда: до Лиона оставалось еще добрых шесть часов. Но ей уже не сиделось на месте, ей захотелось скорее вернуться в свое купе, к своим вещам. Она натянула перчатки и встала из-за стола.

— Как хорошо, что я с вами посоветовалась, — сказала она, протягивая официантам деньги. — Иначе я потеряла бы столько драгоценного времени. Удивляюсь только, как это в Тулоне меня заверили, и притом в супрефектуре...

Один из официантов отошел со счетом к соседнему столику. Другой с философским спокойствием пояснил Агнессе, что такие случаи бывают сплошь и рядом.

— Да что там говорить, Лазурный берег, мадам, совсем другое дело... Немцев там не видели ни вблизи, ни издали. А в Тулоне даже стоит флот, говорят, вооруженный флот. Так что там до сих пор не поняли, что у нас оккупация.

Выйдя из вагон-ресторана, Агнесса увидела, что все коридоры забиты пассажирами. Очевидно, новые путешественники сели в Марселе. Место ее заняли, и теперь в купе находилось уже не шесть, а девять пассажиров. В сознании Агнессы произошел решительный переворот, она вернулась к действительности. Правду сказал официант: там, на Лазурном берегу, люди



теряют представление о реальных вещах. Эти два-три солнечных департамента являли собой в свободной зоне как бы особую зону, некий отрезанный от мира заповедник, куда гул событий доходил смягченным и с запозданием. А вот сейчас этот счастливый берег уже далеко, поезд мчится все дальше к северу, все ближе к миру оккупации, к нынешней Франции. Да, не случайно господа Сиксу-Герц и их друзья во всем параде, с их ярким загаром, с их особым жаргоном и их салонным деголлизмом вышли, не доезжая Марселя.

Агнесса чувствовала, как растет ее беспокойство. Она даже перестала замечать усталость, хотя простояла до самого Валанса; по мере приближения к Лиону трудности пересадки так завладели ее сознанием, что она лишь мельком припомнила свое прошлое, связанное с Лионом: в Лионе состоялась ее встреча с Ксавье, куда он приехал с мыса Байю после ее телефонного звонка; в Лионе в самом начале беременности Агнесса доверила свою тайну Ксавье, и он предложил ей выйти за него замуж.

На вокзале в Перраше их встретила ночь; под стеклянным сводом, открытым с обеих сторон, освещение было еще более скупое, чем минувшей зимой в Марселе. Агнесса с трудом выбралась из вагона и стала метаться вдоль длинного темного перрона, где лишь с трудом можно было обнаружить служащих. Прошел час, прежде чем во мраке образовался состав того поезда, в котором предстояло ехать Агнессе. Вагоны имели такой вид, как будто уже побывали на свалке железного лома. Вдоль вагона, в который попала Агнесса, шел коридор и находились скамейки спинкой друг к другу; все напоминало не столько обычные купе, сколько отделения в старых трамвайных вагонах. Стоял тяжелый запах, сиденья были обиты плюшем, вытертым чуть не до дыр. Но Агнесса решила, что отдохнуть на такой скамейке все-таки можно. Однако уже в Сен-Шамоне ее счастливому одиночеству пришел конец, а в Сент-Этьене набилось пропасть народу. Поезд заполнился толпой рабочих и служащих местного завода; тут были мужчины и женщины, пассажиры проходили в вагон любого класса независимо от купленного билета. Все они, закончив свой рабочий день, возвращались домой на близлежащие станции. По их усталому и безразличному виду Агнесса поняла, что в отличие от нее, попавшей сюда в силу чрезвычайных обстоятельств, прочие пассажиры пользовались этим поездом каждый день. В их-то



общество и попала Агнесса, затесалась сюда, как чужеземка. И теперь вместе с ними проезжала один из тех металлургических и угольных районов, которые оккупанты не вывели из строя, поскольку они работали на немцев. Голубоватый свет затемненных лампочек не позволял Агнессе читать, а ее спутники сидели, согнувшись, свесив усталые руки, и упорно молчали. Только одна пожилая женщина занималась вязаньем. Станция за станцией пассажиры убывали маленькими группками. Поезд останавливался каждые десять минут.

Так он шел в течение нескольких часов при наглухо затянутых шторках; только по полусонному ритму колес можно было догадаться, как медленно движется вперед поезд. Больше уже никто не входил на остановках, да и не выходил. Хотя Агнесса по-прежнему никого не видела, никого не слышала, она угадывала, что в соседних отделениях сидят люди, незнакомые спутники, лиц которых она не могла себе представить. Ночью стало свежо, и это было единственной приметой, указывавшей, что проделан уже немалый путь.

В Мулэн прибыли около одиннадцати часов ночи. Агнесса сразу устремилась к выходу, но, проходя коридором, с удивлением заметила, что прочие пассажиры остались сидеть на своих местах. Она притронулась к ручке двери, нажала ее, но дверь не открылась, и Агнесса не сразу поняла, что двери заперты на засов. Снаружи грубо постучали два раза свирепым стуком, и Агнесса отошла. Она вернулась на место и села.

Сидевшая рядом женщина догадалась о ее беспокойстве и объяснила, что во всех вагонах двери наглухо закрываются, контроль производится внутри вагона постепенно и что на это уходит не менее часа...

— Дело в том, что у меня нет аусвейса! Просто меня вызвали из Парижа телеграммой, извещающей о смерти одного моего родственника. Мне говорили, что надо просить пропуск в Мулэне.

— Верно,— подтвердил чей-то голос,— но Мулэн в свободной зоне у французских властей. А здесь оккупированная зона.

— Господи, где же мне нужно было сходить?

Ей ответило несколько человек, причем каждый называл другую станцию; Агнесса побоялась надоесть пассажирам своими бесконечными расспросами.

— Но ведь никто толком слова не скажет,— произнесла она извиняющимся тоном.



— Ничего, они скажут.

Агнесса поняла, что «они» значит немцы. После этой фразы, завершившей беседу, вагонный люд снова растворился в синеватом полумраке, снова замер в терпеливой неподвижности.

Всем своим существом, физически, Агнесса ощутила смятение, она почувствовала себя обездоленной, и чувство это стало еще острее, когда дверь открылась, пропустив в вагон немецкого офицера в сопровождении двух солдат. Свет электрического фонарика упирался поочередно в лица пассажиров, глаза ослепленно моргали, бумажка из голой руки переходила в руку, облитую перчаткой, затем аусвейс возвращался владельцу или же невидимые во мраке уста изрекали краткий приговор и прерванное на миг шествие робота с двумя сателлитами возобновлялось вновь.

Агнесса ждала своей очереди. Очередь наступила. Заявления, что она едет без аусвейса, оказалось достаточно, чтобы незамедлительно очутиться на перроне вокзала с чемоданом в руках, под охраной солдата в каске с ремешком и автоматом на груди. «Мой первый немец», — подумала Агнесса, шагая рядом с солдатом, как будто те, что выставили ее из вагона и чьих лиц она не успела рассмотреть, были не в счет... Ей захотелось разглядеть «своего немца», но в темноте она тоже не сумела различить его физиономию.

Ее заперли на замок в зале ожидания, весь пол здесь был усеян бумажками и мусором. Несколько человек томилось на скамейках, сдвинутых к стене справа. Слева тянулась деревянная перегородка, заканчивавшаяся у потолка крепкой металлической решеткой. Прежде чем сесть на скамью, Агнесса бросила взгляд на этот загон. По ту сторону решетки тоже сидели люди и тоже ждали чего-то.

Прошло довольно много времени, и Агнесса вдруг услышала, как там, на перроне, жалобно засвистел паровоз, заскрипели, застонали сдвинувшиеся с места вагоны. Она поняла, что ее поезд ушел без нее. В эту минуту появился майор в feldgrau<sup>1</sup>. При красноватом свете электрической лампочки Агнессе наконец удалось разглядеть немца. Этот оказался коротышкой, лицо у него было грубое и угрюмое, под тяжелыми веками — мертвенный взгляд.

---

<sup>1</sup> Серо-зеленая немецкая военная форма (нем.).



Агнессе пришлось еще раз выслушать подтверждение того, что ей уже говорили: нужно вернуться в свободную зону и там добраться — а как добраться, это уже ее дело — до предместья Мулэна, которое расположено на левом берегу Алье. Только французские власти имеют право решить ее дело и в случае необходимости выдадут ей пропуск. Для очистки совести, не надеясь на успех, Агнесса сказала, что ее вызывают на похороны. Умер близкий родственник, мой дед, опять повторила она давно ей самой надоевший припев и развернула телеграмму, на которую майор даже не взглянул. Говорил он по-французски превосходно и велел Агнессе показать бумаги, удостоверяющие ее личность, и открыть чемодан, содержимое которого он осмотрел. Уходя, он сообщил, что поезд в противоположном направлении пойдет только завтра в девять часов утра: придется ночь провести здесь, и он жестом руки указал на скамейку.

Она без сил опустилась на скамью, но голос майора не умолкал. Агнессе, у которой слегка закружилась голова, почудилось, будто он снова обращается к ней. Но нет, немец удалился. Он перешел в другую половину залы и начал расспрашивать собранных там людей, как только что расспрашивал ее самое. Его вопросы и ответы пассажиров громко раздавались в тишине и проникали через перегородку. Из этих переговоров Агнесса поняла, что с людьми, запертыми в соседнем загоне, стряслась та же беда, что и с ней, только пробирались они в обратном направлении: хотели попасть в свободную зону, и их тоже ссадили с поезда за то, что в оккупированной зоне они не проделали всех положенных формальностей. Их оттеснят к северу от демаркационной линии, как ее самое оттеснили к югу. Намерения некоторых путешественников вызывали подозрение немецких властей, ибо до Агнессы доносились жалобы и сетования на то, что люди здесь мучаются уже по нескольку дней.

— А мы,— шепнула Агнессе сидевшая с ней рядом женщина со спящей девчушкой на руках,— а мы здесь уже вторую ночь торчим.

Агнесса молча протянула ей несколько ягод сушеного инжира, который захватила с собой из дома, но сама даже подумать о еде не могла. Хотя она проголодалась, при одном воспоминании о завтраке, съеденном в вагон-ресторане, к горлу подступала тошнота. Усилием воли Агнесса заставила себя сидеть неподвижно, закрыла глаза и напредила себе, что завтра будет всего только среда... Но вскоре она почувствовала, что ей



необходимо выйти. Путешествие, а особенно тревоги последних часов ускорили приход очередного недомогания.

Она подождала еще немного, потом, попросив соседку посмотреть за багажом, подошла к двери и постучала. Часовой дал ей вволю настучаться и только после этого отодвинул засов, приоткрыл дверь и, еще не зная, чего хочет от него эта пассажирка, отрицательно покачал головой.

— Ich bin unwohl. Ich muß zur Toilette<sup>1</sup>, — произнесла Агнесса, впервые прибегая к помощи немецкого языка.

Часовой крикнул кого-то невидимого отсюда. На его зов явился второй солдат, тоже в каске и при оружии, он-то и повел Агнессу в уборную. Поставив ногу в сапоге на порог уборной, он придержал створку двери, и, таким образом, Агнесса не могла запереться. Однако она приняла это с легкостью, за которую сама себя похвалила: «Я определенно делаю успехи — уже научилась не видеть в них людей».

Вернувшись в свой загон, Агнесса повязала черный шарф тюрбаном, закуталась в пальто, устроилась поудобнее, закрыла глаза и по старой привычке, оставшейся еще с юности от авеню Ван-Дейка, стала читать про себя стихи, чтобы скоротать часы бессонницы, и читала все, что приходило в голову.

Лавины золота с извечной синевы,  
В день первый...

На следующее утро ее все так же *manu militari*<sup>2</sup> отвели в пустой вагон, одиноко стоявший на путях в стороне от вокзала. Как только она поднялась в вагон, за ней заперли дверцу, и, решив, что все другие вагоны тоже заперты, она смело отправилась в конец коридора, чтобы хоть немного привести себя в порядок без свидетелей. Из крана текла мутная вода, отдававшая железом. Когда дошла очередь до чистки зубов, Агнесса не пожалела пасты, которую достала из несессера, чтобы отбить мерзкий вкус, а потом храбро ополоснула лицо и руки этой ржавой, захламленной за ночь водой.

К вагону прицепили еще несколько других, и только после десяти часов состав тронулся. Светило солнце, бесцветное, холодное, и Агнесса высчитала, что в Мулэне она может попасть на такой же вечерний поезд, как тот, из которого ее вчера

---

<sup>1</sup> Мне нездоровится. Мне надо в туалетную комнату (нем.).

<sup>2</sup> Под стражей (лат.).



высадили, и, таким образом, прибует в Париж в четверг на рассвете.

Следуя указанию майора — а он, приходилось признать, был единственным человеком, который дал Агнессе вполне определенные сведения, — она стала готовиться к выходу в Сен-Жермен-де-Фоссе. Снова очутилась она в свободной зоне, но, проезжая днем через этот край, который накануне их поезд прошел ночью, она не заметила никаких внешних признаков демаркационной линии: ни противотанковых рвов, ни колючей проволоки, даже простых столбов, и тех не было. Граница, которую она пересекла дважды, даже не заметив, что это граница, стала мало-помалу в ее глазах символом, абстракцией и оттого приобрела силу наваждения.

Агнесса переставила свои часики по французскому времени. Накануне вечером, приближаясь к границе, она перевела их на час вперед, считая, что уже очутилась в другой зоне, или, вернее, желая убедить себя в этом. Эта разница во времени являлась одним из немногих и опять-таки условных признаков смены зон. Агнесса вспомнила рассказы Мано о том, как люди, тайком пробиравшиеся в оккупированную зону, попадались именно из-за этой ничтожной мелочи. Полицейские в штатском подходили к такому перебежчику и с самым невинным видом спрашивали, который час, а тот, бросив взгляд на запястье, называл французское время, то есть выдавал себя, если, конечно, не переводил часы вперед как раз в момент перехода из одной зоны в другую.

Наконец поезд остановился. Агнесса прочитала на здании маленького вокзальчика название Сен-Жермен-де-Фоссе, и в ушах ее вновь прозвучали эти несколько слогов, которые выкрикнул невидимый в темноте голос, как раз в ту минуту, когда их с трудом тащившийся по рельсам поезд остановился здесь прошлой ночью. Гнев и сожаление охватили ее: вот если бы знать тогда!.. Но она тут же подавила свой порыв, ведь она решила пренебречь всеми нелепостями, неизбежными при таком путешествии, напротив, она твердила себе, что ничего особенного не случилось, нет, правда, это же сущие пустяки по сравнению с тем, что ежедневно испытывают люди здесь, на этой демаркационной линии, на всех границах, не говоря уже о Париже и прочих местах, судя по рассказам Мано.

Железнодорожник, стоявший у выхода, указал домик, где, если посчастливится, она может найти средства передвижения и человека, который ее повезет. При словах «средства передвижения»



Агнесса с ужасом подумала, уж не идет ли речь о лошадях и что путешествие в сорок километров до Мулэна потребует много часов. Тем не менее, не выпуская из рук чемодана, она тут же направилась по указанному адресу и к великой своей радости обнаружила, что хозяин просто-напросто «держит такси» и, видимо, не испытывает недостатка в горючем. И убранство дома, и внешний вид хозяина, и прекрасное состояние машины свидетельствовали, что ремесло это дает доход, и немалый. Впрочем, владелец машины категорически отказался пускаться в путь до завтрака. И чтобы не произошло никаких недоразумений, он потребовал задаток, который Агнесса безропотно ему вручила.

— Только никого с собой не берите,— предупредил он.

— Но я ведь одна.

— Я ничего и не говорю, только не вы одна хотите попасть отсюда в Мулэн. Поэтому не сажайте с собой никаких других пассажиров, чтобы вам проезд дешевле стоил. Пускай ждут.

Из маленькой табачной лавочки Агнесса написала несколько слов Викторине, а также Мано и сообщила им, что демаркационную линию ей еще не удалось пересечь, но что теперь ждать уже недолго и что это ее последнее послание отсюда, а дальше придется пользоваться услугами межзональной почты. Письмо Мано она написала на открытке с изображением какого-то местного довольно безобразного монумента и, не удержавшись, добавила на его счет несколько шутливых слов. Потом пошла на площадь, села на лавочку и стала ждать назначенного часа. На солнышке играли ребятишки, казалось, все здесь дышит свободой, миром. Усталость после ночи, проведенной под замком, даже мигрень, как обручем сжимавшая виски, мало-помалу отступили.

Хозяин машины за один час докатил ее до Ла Мадлен, предместья Мулэна, расположенного против моста через Алье. Не дожидаясь просьбы, он доставил Агнессу с ее пожитками прямо к арке казармы, где помещались все учреждения, ведающие пропусками. Агнесса расплатилась с ним, но он потребовал еще на чай.

Перед ней лежал пустынный двор казармы, и Агнесса решила, что раз здесь нет людей, дело пойдет быстро. Соображаясь с бесчисленными надписями и указателями, она двинулась по лестницам и коридорам и в одном из залов, где, должно быть, раньше размещались солдаты, так как нижняя часть стен была окрашена в черный цвет, обнаружила человек тридцать, которые,



сидя на скамьях, ждали своей очереди. Прямо напротив барьер, идущий параллельно окнам, отделял от толпы немногочисленный чиновничий ареопаг. Агнесса приблизилась к барьеру. Люстриновый нарукавник сунул ей из-за перегородки деревянную дощечку с очередным номером — семьдесят первым. И номер семьдесят первый занял свое место на скамье и начал ждать. Дверь из соседней комнаты открылась, и оттуда выкрикнули номер тридцать восемь.

Судя по тому, сколько времени проводил в соседней комнате каждый вызванный, Агнесса рассчитала, что ее очередь может не дойти до закрытия, час которого был указан в объявлении, прибитом к дверям. Она всполошилась: ей во что бы то ни стало надо попасть на вечерний поезд. Она снова подошла к барьеру. Ей объяснили, что выданные номерки идут не подряд, некоторые пропустили свою очередь. Что касается людей, сидевших на скамейках, то всех считать не следует: многие уже «постоянные», другими словами, их прошения циркулируют из канцелярии в канцелярию со вчерашнего, а то и с позавчерашнего дня и еще не вернулись. Но Агнесса продолжала стоять, не снимая рук с барьера, с таким видом, словно ничего не поняла.

— Впрочем, — пояснили ей в заключение, — если канцелярия закроется, прежде чем дойдет ваша очередь, берегите номерок: он действителен на завтра.

Агнесса вернулась на место. Сидя среди покорившейся своей участи толпы, она запрещала себе даже думать о каких-нибудь льготах. Несомненно, каждый из этих чающих аусвейса имел свою причину, не менее уважительную, чем ее, а возможно, и еще более вескую. Да и что она может сделать? Назвать себя. Ее отец, братья распространили свою деятельность на всю Францию, и нередко ссылка на имя Буссарделей приносила успех; тетя Эмма в совершенстве пользовалась этим нехитрым приемом, чтобы открывать любые двери и при случае расшевелить чиновников. «Я себя назвала, — рассказывала обычно тетя Эмма. — И все пошло как по маслу». Не те теперь нравы, не те времена, подумалось Агнессе. Кто знает, найдется ли здесь хоть один чиновник, которому имя Буссарделей что-то говорит? Нет, нужно сидеть, как сидят все остальные, положиться на милость судьбы.

На память ей пришло также имя Тельмы Леон-Мартен. Вполне можно попытаться позвонить ей по телефону в Виши. Но Агнессе стало почему-то противно при этой мысли, да,



впрочем, она и не была уверена в том, что застанет Тельму на месте, равно как и в том, что та достаточно влиятельная особа.

Она ждала. Отлучалась она только два раза и то на короткое время; обратно она возвращалась чуть ли не бегом, боясь, что во время ее недолгого отсутствия вызовут ее номер. Снова началась мигрень. Сидя на скамейке, Агнесса чувствовала себя безыменной, безликой, бессильной, даже не жертвой безжалостного механизма, но чем-то посторонним, отброшенным прочь от этого механизма, в который она тщетно и безнадежно старалась проникнуть.

Незаметно наступил вечер, и атмосфера в зале изменилась. На окнах изнутри закрыли ставни, спустили черные занавеси: пришел час затемнения; чиновники подтянули к себе поближе электрические лампочки, висевшие на шнуре со специальным блоком, и из-под синих бумажных абажуров свет падал только на этих привилегированных. А по ту сторону барьера зал тонул во мраке, и люди, сидевшие на скамейках, устало ссутулившись, дремали.

Еще через час вызвали Агнессу. Ее усадили к столу, дали заполнить длиннейшую, подробную анкету, и именно нелепая нескромность вопросов вывела Агнессу из ее полудремоты. На мгновение она вдруг бросила писать и, подняв голову, тревожно подумала, что отвечает на все эти вопросы не без удовольствия, почти охотно, как будто выражая в коротких словах всю свою сущность; она испытывала облегчение от того, что наконец-то ей удалось материализоваться, влиться в форму, которую ей предоставили. Она написала свою публичную исповедь в двух экземплярах и поставила подпись. На все пункты она ответила тщательно и правдиво, за исключением одного: степени своего родства с покойным.

Ее анкеты были сначала прочтены со всем вниманием, затем присоединены к достаточно объемистой папке других анкет, после чего ей сообщили, что пока она свободна. Начальник канцелярии, который лично визирует пропуска, прежде чем послать их на подпись, уходит домой в шестнадцать часов. Значит, он уже ушел, ее просьба будет рассмотрена только завтра утром.

Вернувшись в зал ожидания, Агнесса снова подошла к барьеру: не скажут ли ей, где провести ночь? Ей ответили, что для транзитных пассажиров в казарме имеется спальня. Агнесса направилась в спальню: она теперь тоже стала «транзитной».



Вид этого дортуара с наглухо закупоренными окнами, с железными койками, где уже спали вперемежку мужчины и женщины, вид этой комнаты, похожей на залу в доме призрения, а особенно вид соломенных тюфячков, которые, очевидно, лежали здесь спокон века — так они свалялись и приобрели такую подозрительную окраску, — обескуражил Агнессу. Она выбралась на улицу, зажатую с обоих концов непроглядным мраком.

Агнесса попыталась ориентироваться, вспомнить, откуда она пришла; по дороге сюда она заметила две-три лавки: а вдруг их еще не заперли. Она вытащила электрический фонарик и направилась на поиски. В левой руке она несла чемодан, от тяжести которого до ломоты болели плечи. У сумочки, к счастью, оказался достаточно длинный ремень. Агнесса надела его через плечо и сразу почувствовала себя свободнее. С чемоданом она решила не расставаться: боялась, что, если оставит его у кого-нибудь или где-нибудь, он пропадет. К этому ее страху отчасти примешивалось и суеверие. Этот удобный саквояж, с его замками и ремнями, с его ручками и задвижками, напоминал ей былые путешествия. На боку у него до сих пор красовалась большая трехцветная наклейка в форме щита. За год до войны Агнесса возвращалась из Америки во Францию на «Нормандии», на «Нормандии», которая с начала этого года покоится вверх килем в водах Гудзона, вся почерневшая от огня... Агнесса никому не разрешала соскабливать наклейку, и теперь, крепко сжимая ручку саквояжа, который за эти полутора суток постепенно становился все тяжелее и тяжелее, она цеплялась за самое себя, за себя, такую, какой она была некогда, за ту, которой старалась быть и сейчас.

Затемнение в районе казарм соблюдалось строго, но Агнесса, хоть и растерялась в искусственном мраке, к которому не привыкла, не посмела обратиться с вопросом к редким попадавшимся ей на улице прохожим. Наконец ей посчастливилось обнаружить столовку, достаточно грязную, но где можно было заказать грог, хлеб и яблоки. Вокруг нее, сидя за деревянными столиками в пятнах, люди сосредоточенно поглощали свой скудный ужин; очевидно, в этом заведении подавали в любой час одни и те же блюда без всяких вариаций и без перерыва. Агнесса осведомилась, нельзя ли снять на ночь комнату.

— Здесь у нас комнат нет, — ответила официантка.

Кассирша, к которой обратились за советом, тоже не могла сообщить ничего утешительного. Это предместье, показавшееся



Агнессе совсем пустынным, было, по словам ее собеседниц, перенаселено.

— Но, может быть, у кого-нибудь из жителей? — спросила Агнесса.

Мальчик согласился проводить ее через предместье на дальний хутор, где, по уверениям кассирши, возможно, удастся приютиться на ночь. Снова начался марш вслепую, а мальчик оказался слишком мал, чтобы помочь Агнессе нести чемодан. В доме не было ни одной свободной комнаты. Хозяйка, с виду деревенская богачиха, ввела Агнессу в переднюю, чтобы не разговаривать с ней при открытых дверях по причине затемнения. Мальчик ушел. Внизу у лестницы Агнесса увидела садовое плетеное кресло и спросила хозяйку, не разрешит ли она просидеть в нем ночь. Она понимала, что ей одной, без провожатого, ни за что не найти дорогу в казармы, да и здешняя передняя прельщала ее больше, чем общий дортуар.

— Я очень устала, мадам. Я еду в Париж на похороны, я в пути уже со вчерашнего утра. Прошлую ночь я провела в немецкой комендатуре на скамейке.

— На похороны? — переспросила хозяйка скучным голосом. — Бедная моя дамочка, здесь только такие и проезжают.

— Но в кресле мне все-таки будет лучше, чем на улице. Конечно, я заплачу вам как за отдельную комнату.

И так как хозяйка, казалось, даже не слышит ее доводов, Агнесса, понизив голос, добавила, что ей со вчерашней злосчастной ночи нездоровится, — хозяйка пожала плечами с беспомощным видом, что, мол, поделаешь.

— Нет у меня комнаты, — повторила она. — Будь вы поменьше ростом, я бы уложила вас в постель моей племянницы. Но вы туда не поместитесь.

— Уверяю вас, я буду всем довольна.

Хозяйка без воодушевления стала подыматься по ступенькам.

— И к тому же это на чердаке, — добавила она. — Свет мы там не зажигаем. Нет на окнах ставен, а здесь при немцах с затемнением строго. У вас есть электрический фонарик? Посветите-ка мне... Я, заметьте, комнаты не ради денег сдаю. Я сдаю, чтобы их не реквизировали. Вот постель. Вы же сами видите, не уляжетесь вы здесь.

Агнесса поспешила уверить, что уляжется. Прутья металлической кровати были расставлены достаточно широко, и Агнесса тут же решила, что сможет просунуть ноги наружу.



Простыни, одеяльце — все это было детского размера, и Агнесса прикрылась сверху еще своим пальто. Она благополучно проспала ночь, а встав поутру, обнаружила на лестничной клетке умывальник и помылась в свое удовольствие. Никто ей не мешал; чужой дом уже проснулся, но ходьба и суетня шли где-то внизу, на других этажах.

Агнесса явилась к казарме за три четверти часа до открытия канцелярии. У дверей уже выстраивались очереди. Но стой не стой, а все равно будут вызывать по номерам, решила про себя Агнесса и прошла под арку ворот, ведущих во двор. Прислонив чемодан к стене, она уселась на него. Слева от нее было казарменное помещение, ныне упраздненное, лишившееся своего извечного мужского элемента, превращенное в бюрократический гарем; на плац выходили десятки лестниц и коридоров, но нигде не было видно военной формы, только раз промелькнул жандарм и тут же скрылся. Повернув голову направо, Агнесса стала смотреть на людей, шагавших взад и вперед по шоссе.

В этой беспокойной толпе легко было опознать коренных, хотя и недавних жителей Ла Мадлен, которые с приходом нового дня вылезли из своих нор. Пассажиров, застрявших в городке на несколько часов или на несколько дней, можно было узнать по тому, что тащили они с собой весь свой скарб, да и вид у них был какой-то ошеломленный, испуганный и униженный. Машин на шоссе не было. Два-три парня, ничем не выделявшиеся среди прочих, слонялись среди толпы, заглядывали в лица, потом вдруг прицеплялись к кому-нибудь и отводили в сторону для приватной беседы. Агнессе пришлось отвадить одного из этих молодцов, по всей видимости, профессионального проводника из зоны в зону или просто провокатора.

Поддавшись общей заразе унылого шагания взад и вперед, Агнесса тоже решила размять затекшие ноги и тоже зашагала по шоссе, которое там, за пределами городка, терялось в утреннем осеннем тумане... Дощечка, прибитая к столбу, указывала направление на Монлюсон, в глубь свободной зоны; это шоссе вело к Лиможу, но казалось, что оно, безлюдное и пустынное, никуда не ведет. Агнесса повернулась в противоположную сторону и медленно обвела взглядом обетованную и заказанную ей землю. Туда вел мост через Алье. У входа на мост, возле сторожки, где дежурили два жандарма, стояла рогатка, оставлявшая проход, перегороженный турникетом. Потом на



три-четыре сотни метров шла по man's land<sup>1</sup>, включавшая в себя весь мост, на противоположном конце которого виднелась черно-белая полосатая будка. А еще дальше вырисовывался сам город, похожий на декорацию, лишенную третьего измерения, словно картинка волшебного фонаря. Это и был путь в оккупированную зону. Агнесса, стоя на почтительном расстоянии, пристально глядела в ту сторону, не замечая тяжести чемодана, оттягивавшего руку.

Канцелярия открылась. Люди хлынули в казарму. Но и в зале ожидания Агнесса просидела до одиннадцати часов без всякого результата. Ее тревога, улегшаяся было накануне, вновь пробудилась, словно удесятренная этой ночью, проведенной в детской железной кровати, этим полуотдыхом. Ее буквально гипнотизировала мысль о вечернем поезде. Он был ее последней надеждой. Ведь уже четверг! Похороны состоятся завтра утром. Она решилась.

Порывшись в сумочке, висевшей через плечо, Агнесса поднялась со скамьи, схватила чемодан и подошла к барьеру.

— Будьте любезны, передайте, пожалуйста, мою карточку начальнику канцелярии.

— Его еще нет, здесь сейчас находится только генеральный секретарь.

— Ну тогда передайте генеральному секретарю.

— Вы с ним знакомы?

— Ему знакомо мое имя.

Агнессе не пришлось долго ждать; ее ввели в третью комнату, помещавшуюся за той, где заполняли анкеты. Чувствовалось, что с помощью плюшевого коврика и кресел, обитых черной материей, этому лишь недавно обжитому помещению старались придать более или менее домашний вид. Генеральный секретарь оказался из мышиных жеребчиков и напоминал, пожалуй, повадками чиновника с Кэ д'Орсэ. Агнесса, подходя к его столу, заметила, что он быстро захлопнул справочник Боттэна. Она сразу догадалась, что секретарь прибег к этому источнику, дабы освежить в памяти ее имя и сверить визитную карточку с алфавитным указателем; но вряд ли ему удалось изучить подробно многочисленных Буссарделей, связанных между собой родственными узами и упомянутых в справочнике; поэтому ложная ссылка на «дедушку Буссарделя» не могла быть разо-

---

<sup>1</sup> Ничья земля (англ.).



благчена в такой короткий срок. С тех пор как Агнесса воспользовалась своим именем, она почувствовала себя гораздо увереннее. Семья ее поддерживала, протягивала ей руку через демаркационную линию. Каким же всемогущим Сезамом оставалось вопреки всему это имя — Буссардель!

Генеральный секретарь велел срочно отыскать бумаги Агнессы, быстренько их проглядел, поставил синим карандашом какую-то условную закорючку и написал слово *eilig*<sup>1</sup>, которое Агнессе удалось прочитывать со своего места вверх ногами. Аусвейс был составлен по всей форме на имя Буссардель Агнессы, урожденной Буссардель, и служащий, который носил бумаги на подпись военному начальству, принес их обратно через несколько минут. В ожидании бумаг секретарь удостоил Агнессу светской беседы, где вежливые соболезнования по поводу тяжелой утраты то и дело сменялись жалобами на то, что лично ему приходится жить далеко от Парижа, в этой богом забытой дыре ради выполнения административных обязанностей, к тому же весьма щекотливого свойства. Одно отрадно — можешь хоть изредка помочь людям из общества, попавшим в затруднительное положение. Проговорив эту фразу, он положил справочник Боттэна на полку, рядом с письменным столом, а оттуда достал железнодорожное расписание: в пятнадцать сорок пять, да, да, именно в пятнадцать сорок пять мадам Буссардель сможет сесть в Мулэне на поезд, идущий из Виши, он гораздо комфортабельнее всех прочих, публика там чище, и он доставит мадам на Лионский вокзал нынче вечером.

Агнесса спрятала в сумочку бесценную бумажку, снабженную требуемой подписью и печатью со свастикой, и, проходя последний раз по казарменным коридорам и лестницам, она попыталась представить себе немецкого офицера, засевшего в недрах этой бюрократической цитадели и распорядившегося ее судьбой из своих невидимых сфер.

Еще по дороге сюда Агнесса заметила на шоссе неподалеку от моста маленькое почтовое отделение, помещавшееся в бараке по соседству с разбомбленным домом. Она поспешила туда. Ей не разрешили дать телеграмму ни на мыс Байю, ни в Кань: тут пограничная зона и там пограничная зона. Зато выдали две открытки, и она послала одну Викторине, а другую Мано и обеим написала одно и то же: «Наконец уезжаю» — и поставила число

---

<sup>1</sup> Срочно (нем.).



и час. Вчера еще она приписала юмористическое замечание по поводу монумента в Сен-Жермен-де-Фоссе, изображенного на открытке, но сегодня ей было не до шуток.

Теперь оставалось только перейти на ту сторону. Проверка документов французскими жандармами, переход по мосту, где ждал ее второй контроль, все это показалось ей бесконечно долгим. Она чувствовала себя поистине на ничейной земле. В полном одиночестве шествовала она по этой висевшей в воздухе дороге, палимой полуденным солнцем; под ней лениво текла река; великое безмолвие царило вокруг. Агнесса сдержалась и не прибавила шагу. Она знала, вернее полагала, что за нею наблюдают с обеих сторон, и по мере того как она приближалась к немецкой заставе, все отчетливее становился маленький блокгауз, похожий на сахарную голову, в амбразуре которого, когда до берега оставалось всего метров тридцать, вдруг блеснуло дуло пулемета, направленное прямо на нее.

С ней обошлись как с неодушевленным предметом. Немецкий унтер-офицер, взглядывая попеременно то на Агнессу, то на ее фотографию, приклеенную к паспорту, старался установить, нет ли тут подлога. Он обшарил ее чемодан, протянул руку к сумочке, которую Агнесса ему подала, и высыпал содержимое на дощечку небрежным жестом, который отдался в сознании Агнессы словно пощечина. Снова ею овладело отчаяние. В течение четверти часа, когда она сидела у секретаря, пытавшегося разыгрывать роль светского человека, она обрела свою индивидуальность, на худой конец, индивидуальность мадам Буссардель; а теперь она вновь перестала быть личностью. Не шевелясь, она ждала, пока немец кончит свои манипуляции с ее записной книжкой и ее кошельком, с ее пудреницей и губной помадой, с тюбиком с таблетками и самыми интимными принадлежностями женского туалета, которые она из предосторожности захватила с собой и которые тоже были вывалены в общую кучу. А теперь, думала Агнесса, он, пожалуй, начнет обыскивать меня, шарить, заставит раздеться. Но немец прилепнул печать на ее аусвейс, Агнесса услышала свой собственный голос, поблагодаривший унтера, и оказалась по ту сторону.

Пройдя десяток шагов, она остановилась, чтобы отдышаться, поставила чемодан на землю и надела сумочку через плечо. Она стояла в самом центре площади, где в этот обеденный час не было прохожих и откуда лучами расходились улицы. Агнесса выбрала ту, которая показалась ей не такой вымершей, как все



прочие. Первым делом она осведомилась, где почта. Ей хотелось телеграфировать на авеню Ван-Дейка, что она приедет, будет присутствовать на похоронах, что она только что перешла демаркационную линию и что поезд прибудет тогда-то. Предвидя строгие формальности оккупированной зоны, Агнесса одновременно с телеграфным бланком протянула и свои бумаги. У нее взяли только телеграмму.

— Учитывая содержание вашей телеграммы, мадам...— сказала заведующая, кинув взгляд на траурное платье Агнессы.

На вокзале, куда она направилась прямо из почтового отделения, она спросила, впрочем не особенно надеясь на успех, нет ли тут камеры хранения багажа или чего-нибудь в этом роде. Ей указали камеру, и когда она отделалась от чемодана, узнала точное время прибытия поезда и вышла из вокзала, шаг ее приобрел былую легкость, на ходу она растирала руки, освобожденные от тяжести, оттягивавшей плечи в течение трех дней, и ей захотелось поесть.

Агнесса охотно посидела бы и дольше в ресторане, где ей подали завтрак. Тут была всего-навсего одна зала; все столики у окон на улицу и на двор были отведены немецким офицерам. Сейчас немцев было здесь только пятеро или шестеро, но их присутствие сковывало языки. Агнесса, которая постаралась устроиться так, чтобы их не видеть, наслаждалась покоем. Удобно откинувшись на спинку скамьи, она, расслабив мускулы, отдыхала всем телом, каждой жилкой. Но тут она увидела, что в вестибюль набилась штатская публика и ждет, стоя в очереди, когда освободится столик. Должно быть, люди эти в том же положении, что и она, напомнила себе Агнесса. Ей подали счет одновременно с довольно неаппетитным десертом.

Пришлось снова начать свои блуждания по городу. Вскоре Агнесса очутилась на знакомом перекрестке, и отсюда, с самого конца безлюдной улицы, она вновь увидела, на сей раз с другой стороны, немецкую заставу на берегу Алье. Чувство, что она перебралась в какой-то чужой мир, внезапно обрушилось на нее, прибавив к прежним страхам еще неизведанный страх. До этой минуты его вытесняла одна, почти маниакальная мысль, господствовавшая над всем прочим,— перебраться через границу. Теперь же Агнесса подумала о своем сынишке, с которым никогда не расставалась, разве что когда ездила ненадолго в Кань или в прошлом году — в Марсель. Но ведь тогда речь шла всего о нескольких часах, ну самое большее о сутках, и отовсюду можно



было позвонить на мыс Байю по телефону. А сейчас! Она ничего не знает о Рокки и сколько еще времени ничего о нем не узнает. Аусвейс был действителен в течение трех недель. Если в это время что-нибудь случится с мальчиком, немедленно сообщат Мано и примут все необходимые меры, но она, мать, так ничего и не узнает. Да и чего ждать от этой системы двух зон с этими семейными открыточками, которые путешествуют по несколько недель, с этим телефоном, обрывающимся у демаркационной линии, и с этими телеграммами, которые пробиваются через преграду лишь как вестники беды!.. Кровь прилила к вискам, Агнессе представилось самое страшное, и она прокляла это путешествие. Она не проклинала Буссарделей; ведь они лишь известили ее о семейном трауре. Это она, она сама, в порыве идиотской чувствительности, не думая о последствиях, приняла безумное решение.

Но ничего не поделаешь! Нельзя же в самом деле отправляться обратно. Особенно после всех тягот, которые она сама на себя взвалила, добиваясь пропуска... Тяжелым шагом Агнесса направилась в центр незнакомого городка.

До прихода поезда надо было как-то убить целых три часа. Случай или интуиция привели ее в старую часть города, она бродила по лабиринту узких улочек и остановилась перед букинистическим магазином. На витрине были выставлены старинные издания, популярные гравюры. Агнесса взялась за ручку двери, и створки, распахнувшись, разбудили звонок, который по-старчески затренькал.

В помещении за лавкой не сразу зашевелились, и когда седовласая женщина открыла дверь, Агнесса успела разглядеть за ее спиной целую анфиладу крохотных комнатушек и чистенький садик, зеленеющий позади дома.

— Добрый день, мадам,— начала Агнесса.— Я здесь проездом, и мне хотелось бы привезти из Мулэна что-нибудь на память ребенку. Мальчику, но еще очень маленькому: ему три года.

— Для таких лет! — улыбнулась хозяйка.— Может быть, какое-нибудь старое издание с картинками. Только не знаю, есть ли у меня такое.

Она подняла голову к полке, прибитой чуть ли не под самым потолком, но тут за спиной Агнессы снова затренькал колокольчик и вошел солдат вермахта.

— Обслужите сначала его,— сказала Агнесса, придвигая стул.— Я не тороплюсь.



Она села. Немец, знавший всего с десяток французских слов, пытался объяснить, что ему надо. Был он еще совсем юноша, но какой-то чахлый и носил очки в металлической оправе.

— *Verstehe nicht*<sup>1</sup>,— твердила старушка, для убедительности отрицательно покачивая головой.

Немец повторил свои объяснения; Агнесса незаметно шепнула хозяйке:

— Он ищет книгу о местных замках. С гравюрами. Или, на худой конец, с фотографиями.

Старушка оглянулась и молча посмотрела на Агнессу. Затем снова повернулась к немцу:

— *Habe kein*<sup>2</sup>.

Солдат не стал настаивать, поклонился и вышел. Между двумя женщинами залегло молчание. Хозяйка снова принялась за поиски. Вскоре она положила перед Агнессой объемистый альбом в картонной папке издания примерно пятидесятих годов прошлого века, судя по шрифту заглавия: «Виши, его окрестности и примечательные замки Бурбоне. Мулэн. П. А. Дерозье, издатель-типограф».

— Может, это вас заинтересует,— сказала хозяйка.— Рисунки выполнены Огюстом Борже, другом Бальзака.

Агнесса склонилась над альбомом. Она вся ушла в созерцание литографий. Потом, перелистав весь альбом, сказала, что охотно его приобретет. Для себя. Для Рокки не нашлось подходящей книги с иллюстрациями, зато хозяйка предложила купить передвижные картинки, что вполне годится для мальчугана.

— Они как раз снова вошли в моду перед самой войной,— пояснила старая дама, заворачивая покупки.— Как прежде были картинки для вырезания или переводные.

Агнесса никак не могла решиться покинуть этот магазинчик, где царил полумрак,плыли ароматы старых книг, какой-то скрытой жизни. Желая оправдать свое пребывание здесь, она сказала, что хочет немного передохнуть. Ей удалось заставить хозяйку разговориться, а затем она сама поверила ей цель своего путешествия, объяснила, почему очутилась в Мулэне, и, не удержавшись, добавила, что впервые столкнулась здесь с немцами.

— А у нас они уже два года четыре месяца,— просто ответила хозяйка.

---

<sup>1</sup> Не понимаю (нем.).

<sup>2</sup> Нет таких (нем.).



Наконец Агнесса распрощалась, взяла пакет под мышку и уверила хозяйку, что счастлива была провести здесь несколько милых минут и именно они сохранятся в ее памяти от пребывания в Мулэне.

На вокзале она присоединилась к толпе человек в сорок, сбившихся в зале. Наконец, дверь открыли и пассажиры скопом устремились в туннель. Хотя чемодан снова оттягивал руку, Агнесса, бодро шагая, перегнала всех прочих, но стоявший наверху лестницы немецкий офицер не разрешал пассажирам выйти на перрон. Люди остановились на лестнице, заняв все ступеньки сверху донизу и оставив проход лишь для тех, кто спускался в туннель. Стоя на верхней ступеньке так, что голова ее приходилась вровень с перроном, Агнесса обвела взглядом железнодорожные пути, наглухо запертые двери главного вокзального здания, выходившие на первую платформу. За одной из этих дверей она провела накануне ночь под запором. Дневной свет сбил ее с толку, и она не могла с точностью установить, где находится то помещение, которое позавчера тоска ожидания и black-out<sup>1</sup> превратили в нечто непередаваемо враждебное и где тем не менее она воочию увидела, чуть ли не физически ощутила водораздел — несколько квадратных метров решетки между свободным и тем, другим миром. Но этот первый этап ее мало чем примечательной одиссеи уже отходил в прошлое.

Прибывший из Виши поезд стоял у перрона. Но приходилось ждать, когда кончится проверка, а проверка, как по опыту знала Агнесса, идет внутри, за закрытыми дверями вагонов; знала она также, сколько времени потребует эта операция; вновь она присутствовала при ней, но теперь уже по другую сторону баррикады; и она не удивилась бы, если бы на ее глазах из поезда грубо вытолкнули высокую молодую женщину в черном, с чемоданом в руке и повели бы под конвоем немецкого солдата.

Небольшая группа пассажиров, выстроившихся на лестнице, молчала. Очевидно, все считали, что присесть на ступеньку — недопустимая вольность. Какая-то молодая женщина тяжело поднялась по оставшемуся незанятым проходу и встала с молчаливого согласия всех остальных впереди толпы. Агнесса заметила, что пассажирка находится на последнем месяце беременности. А на перроне, всего в нескольких шагах от офицера, стояла пустая скамейка.

---

<sup>1</sup> Затемнение (англ.).



— Я немного говорю по-немецки,— обратилась она к беременной женщине.— Хотите, я попрошу офицера, чтобы он пропустил вас к скамейке.

— Не надо, мадам. Поверьте мне, не надо.

— Herr Offizier<sup>1</sup>,— произнесла Агнесса, выступив вперед.

Извинившись, она в коротких словах объяснила офицеру, что женщина ждет ребенка и ей необходимо присесть.

— Niemand auf den Bahnsteig<sup>2</sup>,— бросил офицер, даже не повернув головы.

Агнесса решила, что она неудачно построила фразу, и пояснила, что дело идет просто о... Немец повторил, что на перрон выходить запрещается, но уже повысив тон, и так взглянул на говорившую, что она осеклась. Агнесса снова заняла свое место среди притихшей толпы и тут только поняла, сколь серьезен ее промах, именно потому, что никто даже не улыбнулся, когда ей дали отпор. Только беременная женщина жалобно пробормотала:

— Я вам говорила не надо, я же вам говорила...

«А однако она не за себя испугалась,— подумала Агнесса.— И не за меня тоже». Тут ей вспомнилась сцена в книжном магазинчике. Нет, правильно, она получила по заслугам. Чего ради она вечно вмешивается в чужие дела. «И чего ради я вмешиваюсь!» — некогда восклицала тетя Эмма, проявив излишнюю инициативу, и, по правде говоря, так оно и было.

Когда немцы открыли вагонные двери, Агнесса нашла себе сидячее место. Поезд отнюдь не походил на переполненные составы, груженные человеческой магмой, забивавшей все коридоры, купе и даже ватер-клозет. Этот поезд шел из Виши. Воздуху было достаточно. Пассажиры были хорошо одеты, и дочь Буссарделей подумала про себя, что окружающие ее люди не вламывались в этот вагон с билетом второго или третьего класса, как в позавчерашнем поезде. Кто знает, возможно, пройдя по коридорам, она заметит знакомые лица кого-нибудь из парижан? Агнесса подумала также, что в таком поезде должен обязательно быть вагон-ресторан и ей удастся пообедать. И, успокоенная этой приятной перспективой, она задремала.

---

<sup>1</sup> Господин офицер (нем.).

<sup>2</sup> На перрон запрещено выходить (нем.).





Агнессу разбудила поднявшаяся вокруг суматоха. Пока она спала, уже наступил вечер. Купе превратилось в наглухо закрытый ящик с тщательно задернутыми шторками на окнах, освещенный только одной-единственной лампочкой. Пассажиры стояли. Один из них торопливо вытащил из чемодана какую-то бутылку и сунул ее в карман пальто. Соседка Агнессы, сидевшая возле окна, осторожно отодвинула краешек шторы и прильнула гла-

зом к щелке. Не поворачивая головы, она кинула:

— С этим black-out ровно ничего не поймешь: тьма крошечная!

Агнесса, внимательно присматривавшаяся к этой суе, невольно приготовилась к каким-то новым неприятностям. Однако поезд шел все с прежней скоростью. Только стук колес вдруг стал звонче, как бывает, когда проезжаешь мост, и соседка Агнессы оторвалась от окна.

— Так и есть,— произнесла она.— Проехали заставу Шарантон, уже Берси — подъезжаем!

Неожиданность, тревога приковали Агнессу к месту. Оказывается, она проспала весь путь от Мулена, сраженная трехдневной усталостью. А теперь прибытие поезда захватило ее врасплох. Не успела даже подготовиться. Она все еще была во власти первых своих впечатлений от оккупированной зоны, еще чувствовала облегчение от того, что удачно удалось перейти демаркационную линию, а Париж уже стремительно приближался, был здесь, всего в нескольких оборотах колес... А ведь она рассчитывала именно на эту часть пути, чтобы разобраться в своих чувствах как можно обстоятельнее, подумать о том, как ее примут родные, как ей самой себя с ними вести. И не успела ровно ничего решить, привести в ясность. Путешествие длилось три дня и две ночи, а она не подготовилась. Даже не знает, где придется ночевать, не знает, придут ли ее встречать, как она просила в своей телеграмме из Мулена. Мерный ход вагонов разладился, дорожный ритм затихал: поезд входил в вокзал.

Тут только Агнесса поднялась, сняла с сетки чемодан. Пассажиры уже теснились в коридоре. Поезд остановился. И вдруг



Агнесса вспомнила, что дядя Теодор умер, и застыла на месте, сердце у нее забилося, дыхание перехватило. Боже мой! Умер дядя Теодор, а она о нем даже не подумала ни разу... А ведь ради того, чтобы проводить его в последний путь, она предприняла эту поездку в Париж и встретится сейчас со своими. Дядя Теодор — один из столпов буссарделевской династии, в сущности даже глава семьи; Агнесса, порывшись в своих самых ранних воспоминаниях детства, обнаружила там его лицо, высокую его фигуру, пышную бороду и знаменитую велеречивость; старший из пяти детей бабуся, тот, кто унаследовал отцовскую контору пополам с младшим братом, отцом Агнессы, и тем самым поддержал столетнюю традицию «братьев Буссардель», ибо еще со времен Луи-Филиппа, из поколения в поколение эта классическая упряжка вновь и вновь находила себе смену с постоянством биологических законов...

Агнесса поспешила прогнать прочь эти мысли, которые уже давно стали ей чужими. Она вступала в забытое царство, где во время ее отсутствия жизнь продолжала идти своим чередом, да и смерть тоже. Агнесса вышла в коридор, вагон уже опустел; она заторопилась. Когда она ступила на подножку, ее удивил голос, идущий снизу, с платформы, а главное, произнесенные слова: «Вам носильщика?» Она позволила взять свой чемодан.

— Вас на метро? — осведомился носильщик.

— Сама не знаю.

Остановившись на вагонной ступеньке, Агнесса вглядывалась в окружающую ночь, в тьму оккупации.

— Сама не знаю, будут меня встречать или нет. Может быть, придется зайти в какой-нибудь ближайший отель.

Темнота была непроглядная. Агнесса вслепую спрыгнула с подножки вагона. Состав был очень длинный и не мог весь поместиться в вокзале. Пришлось шагать через стрелки. Агнесса вытащила свой электрический фонарик.

— Лучше не надо, — предупредил носильщик. — Он у вас не синий, как бы не было неприятностей.

Агнесса потушила фонарик, глаза ее уже стали привыкать к темноте, да и впереди шагал носильщик. Они добрались до пологого ската, значит, сейчас будет платформа. Далеко-далеко черной подковой лежало здание вокзала, и там не блеснуло ни огонька. Только темень встречала путешественницу, прибывшую к месту назначения. Но по мере того как они шагали по плат-



форме, из мрака возникали фигуры людей, двигавшихся суетливо, но бесшумно, как в аквариуме, и аквариум этот заполняла дымка света, падавшего неизвестно откуда.

— Значит, перронные билеты отменены? — спросила у носильщика Агнесса, заметив, что ни одна живая душа не спешит навстречу пассажирам.

— Отменены. Если вас пришли встречать, то они ждут у выхода.

У контроля, отбиравшего билеты, выстроился хвост. Поверх барьера Агнесса видела пустое пространство, где огромным пятном лежал снег, и горло у нее сжалось. Там, на почтительном расстоянии от входа, ждала кучка людей, выстроившихся полукругом на самой границе света и тьмы, и первым впечатлением от оккупированного Парижа остался для Агнессы этот необычный строй, в котором было что-то полицейское. Она отдала свой билет, нерешительно шагнула вперед в освещенный круг, и вдруг ее охватило небывалое волнение: здесь, в первых рядах встречающих, она узнала три черных силуэта — тетя Эмма, брат Валентин, племянник Бернар.

Она бросилась к ним, переходила из одних объятий в другие. Что-то, затиснутое в самую глубину, вдруг прорвалось. Она зарыдала. Она понимала, что на нее глядят, что зрители, наверное, уже сочинили себе целую драму — возвращение под отчий кров, бегство, но это было сильнее ее, она дала себе волю.

— Я думала... думала, что мне ни за что не удастся перейти, — бормотала она, вцепившись одной рукой в плечо брата, а другой обняв тетину талию. — Я выехала во вторник утром. Вы себе и представить не можете, как это трудно... Но у меня бумаги в порядке. У меня аусвейс... Главное доехала! Все уже позади. Как мило с вашей стороны, что вы пришли меня встретить! Я так устала! — крикнула она, тяжело опершись на плечо брата, и действительно, только безмерным изнурением объяснялось то, что она уступила этому потоку чувств и слов.

Умолкнув, она повернулась к племяннику и снова его поцеловала.

— Бедняжка Бернар! И я еще смею хныкать! В твоём присутствии! Дедушка так тебя любил... Как вы, должно быть, замучились... Столько здесь у вас горя! А знаете, вы все страшно похудели. Боже мой, какой ужас эта война!.. Но как это случилось? — спросила она уже спокойнее и покорно отошла за



своими в сторону.— Долго он болел? Очень страдал? Знал, что умирает?

— Успокойся, кисанька, успокойся,— приговаривала тетя Эмма, хлопая ее по руке.

Растерявшись в первую минуту перед этой вспышкой чувствительности малочувствительной Агнессы, особенно после того, как про себя тетя Эмма, несомненно, прикидывала в уме, насколько холодным получится первое свидание, старая девица сразу успокоилась, услышав, что племянница задает именно те классические вопросы, какие задают во всем мире, говоря об усопшем. В этой общепринятости тетя Эмма обрела себя, что далось ей тем легче, что она не обрела в лице Агнессы прежней бунтовщицы. Утерев глаза платочком, она немногословно рассказала о кончине своего брата Теодора, потом сообщила новости о Симоне и прочих родственниках. Но Валентин посоветовал родным не мешкать:

— Давайте сразу спустимся в метро. Тогда мы попадем на «полупик».

— Какой «полупик»? — спросила Агнесса.

— Верно, дядя,— обратился к Валентину Бернар.— Ведь Агнесса ничего не понимает. Последний поезд метро называется «пик», там смертельная давка,— пояснил он.— Поэтому все стараются попасть на предпоследний — он-то и есть «полупик».

— Ах вот как!

Тут только она заметила, что носильщик с ее чемоданом спустился вслед за ними по лестнице метро.

— Зачем это? — сказала она.— Чемодан не тяжелый: я его таскаю с самого вторника. Признаюсь, я не ждала, что сейчас есть носильщики. Он что же с нами через весь Париж поедет?

— Да-да, пускай его,— подхватила тетя Эмма.— Только эти удобства нам и остались. Теперь это принято — довозить багаж до дома. И компания разрешает. И такса установлена,— добавила она.— Поедете с нами до дома, дружок. Авеню Ван-Дейка, парк Монсо.

Так Агнесса узнала, что семья предлагает ей свое гостеприимство и кров. Носильщик расстегнул кожаный пояс, надел его, как принято, через плечо и прицепил к нему чемодан.

— Твой поезд опоздал всего лишь на час тридцать пять минут,— сказал Валентин.— Поверь мне, такое незначительное опоздание по нынешним временам просто редкость. Вообще нам



здорово повезло. Дольше мы тебя не могли бы ждать. Из-за комендантского часа.

— А тебе, тебе бы выдали ночной пропуск,— пояснил Бернар; ему исполнилось всего семнадцать лет, и ему не терпелось посвятить Агнессу в оккупационные правила, среди которых он вырос.

— Как так?

— Да так. Все пассажиры, которые приезжают слишком поздно и не могут попасть домой до полуночи, получают специальный аусвейс. Только на одну ночь. Предположим, тебя остановит немецкий патруль, тебя отпустят. А нас он сцапает. И отправит в ближайший полицейский участок. И если ночью произойдет покушение на немецких солдат, расстреляют заложников, набранных в участках. Нет, верно-верно! — добавил он, рассмеявшись.

И вот четверка Буссарделей в сопровождении носильщика зашагала по коридорам метро. Людской поток, стиснутый между стеной и поручнями, еле продвигался вперед. А параллельно течению по запасному проходу легким и свободным шагом проходили немцы в военной форме.

— Ну и толпа! — удивилась Агнесса.

— Тоже сказала! — снисходительно заметил Бернар. — Разве это толпа! Да тут просто пустыня по сравнению с пересадочными станциями. Все рекорды побил станция Оперы и Сен-Лазар, — уточнил этот юный буржуа, досконально изучивший маршруты метро.

— Неужели в Париже столько народу?

Валентин, давнишний любитель статистики, шагавший впереди, бросил через плечо:

— Знаешь, Агнесса, что в июле сорокового года, после исхода, в департаменте Сены не насчитывалось даже двух миллионов жителей? А до войны было пять миллионов. Через месяц их стало два миллиона шестьсот. Цифры абсолютно точные. Кривая продолжала непрерывно подниматься, и теперь, как ты сама можешь убедиться, все вернулись обратно. Во всяком случае, в нашем кругу.

Первый зуд многословия, охвативший Агнессу, поутих. Она смотрела, она слушала, но по-своему воспринимала объяснения брата и племянника. Ее трогало не так то, что они ей говорили, как то, о чем они не говорили. Да, впрочем, ей хватит времени изучить обычаи и нравы оккупированной столицы,



и сейчас она не Париж открывала для себя, а узнавала своих родных. И узнавала их сразу по этому непринужденному разговору, по их нежеланию хныкать над покойником. Семейство Буссарделей было столь многочисленно, что частые смерти стали для него своего рода закономерностью и, если так можно выразиться, признаком значительности и плодородия клана. Никогда смерть не заставляла их врасплох. Как только в семье кто-нибудь умирал, каждый знал, что делать: родные тут же смыкали свои ряды вокруг вдовца, или вдовицы, или сирот — старались помочь. И никогда никто не считался с расходами на похороны. Похоронный обряд предоставлял Буссарделям прекрасный случай явить миру сплоченность клана и положение, которое он занимает в Париже. Дни траура становились днями представительства — и еще какого! Это тоже стало своего рода традицией, за всем этим не следует забывать о еде и питье. А главное — не превращать все это в спектакль. Истинное горе отнюдь не измеряется внешними проявлениями. Это хорошо для простолудинов, которые собираются вокруг гроба и голосят. И Агнесса, которая сотни раз слышала, как ее близкие излагали свои житейские правила, вспомнила, что, по их мнению, ссоры между родственниками — признак величайшей вульгарности. Завет, который был сегодня ей блистательно продемонстрирован. Трое посланцев семьи встретили ее без всякого ломания, без малейшего неприятного намека, и ясно было, что сегодня и во все последующие дни никто не вспомнит прошлого. Они удовольствуются этим жестом — никаких объяснений, просто откроют ей ворота на авеню Ван-Дейка. «В этом есть свой стиль, — подумала Агнесса. — У них определенно есть стиль».

Наконец в глубине туннеля послышался грохот и, проскрежетав на повороте, показался поезд.

— А теперь на abordаж! — бодро крикнула тетя Эмма.

В вагонах было не слишком много народу, но зато на перроне собралась огромная толпа: перед угрозой «пика» контролеры не решались задерживать публику, хлынувшую вниз по лестнице.

— Да мы ни за что не войдем, — сказала Агнесса, беспомощно оглядываясь вокруг.

— Войдем! — успокоил ее Бернар. — Сейчас сама увидишь. Тут нужна особая техника.

Он стал таким образом, что напором толпы их внесло внутрь вагона. Очутившись в вагоне, он ловко свернул в бок



и оттеснил Агнессу в проход. Он держал ее за плечи, тесно прижав к себе. Валентин точно таким же манером опекал тетю Эмму, и они образовали точно такую же тесно прижавшуюся друг к другу пару. Носильщик, пятясь, тоже попал внутрь, и чемодан всей своей тяжестью прошелся по человеческим плечам и спинам.

— Это, пожалуй, пострашнее, чем в поездах,— произнесла еще не отдышавшаяся Агнесса, уткнув лицо в воротник Бернара.— Воображаю, каково же здесь в «пик»!

Сумочку она поставила на выемку плеча и прижалась к ней щекой. Она только дивилась, как под давлением всей этой массы не лопаются стеклянные перегородки, почему женщины не вопят во весь голос, почему не слышно обычных вагонных ссор. Но люди, входившие в вагон поодиночке, попав внутрь, казалось, растворялись в общей массе и превращались в некий единый организм, повинующийся коллективным рефлексам. При отправлении, при остановках все это человеческое скопище швыряло в одну сторону, никто не держался за металлические поручни, стоявшие валялись на сидевших, которые даже не думали огрызаться, и Агнесса прочла на лицах отсутствующее выражение, анестезию всех жизненных центров. Присутствие двух-трех немецких военных мундиров, вклинившихся в толпу, придавало этому скопищу какой-то карательный, дисциплинарный характер. Наконец-то Агнесса увидела их, немцев, в Париже. Она невольно восхищалась теткой, которая время от времени бросала какое-нибудь ехидное словечко насчет способности человеческого тела сжиматься беспрестанно.

В Шатле потоком входивших и выходивших обе пары разъединило. Среди новой волны пассажиров, которых втолкнули в вагон после короткой схватки, оказалось несколько женщин с ярко размазанными лицами, даже кое у кого из мужчин веки были тронуты синей тушью, а щеки — румянами. Агнесса подняла на Бернара удивленный взгляд.

— Это актеры,— пояснил он.— У них не остается времени снять грим после спектакля. Боятся пропустить метро.

— Ах, ведь верно, театры действуют,— произнесла Агнесса.

— Мало того, переполнены. Билеты раскупают за две недели вперед, и то еще приходится стоять в очереди.

У Пале-Рояля теснота не уменьшилась, но толпа приняла более буржуазный вид. После Конкорд эта перемена стала еще



явственнее; Буссардели приближались к родным пенатам; и Агнесса заметила даже, что какой-то мужчина лет тридцати, приятной наружности и хорошо одетый, время от времени на нее поглядывает.

А на Этуаль, где вышло много народу, Агнесса и ее родичи выскочили из вагона, словно за ними гнались. Тетя Эмма присела на скамью, чтобы отдышаться и привести себя в порядок, и Агнесса последовала ее примеру не только из одного уважения к тетиной старости.

Но пересаживаться уже было не на что: последний поезд, идущий от заставы Дофин в направлении Насьон, ушел.

— Ушел? Скатертью дорога! — воскликнула тетя Эмма. — Нам все равно надо было выходить у Терн. Потому что, किसानка, хочу тебя предупредить, станция Курсель закрыта. И Монсо тоже. Поэтому, когда будешь разъезжать по городу, выбирай или Терн, или Виллье, и, ей-богу же, они гораздо ближе, чем мы думали: пройдешь парком и — пожалуйста!

Носильщик, поскольку пересадка не состоялась и самое трудное было уже позади, попросил, чтобы его отпустили; если он не подымется из метро, он, возможно, еще сумеет попасть на последний обратный поезд, идущий от заставы Венсен: вокзальных носильщиков пускают. Валентин с ним расплатился, и Агнесса не стала протестовать. Бернар взвалил чемодан себе на плечо. Четверке Буссарделей предстояло пройти все авеню Гоша, и не следовало терять зря времени.

— Двадцать три минуты! — объявил Валентин, во всем любивший точность.

— Без двадцати трех двенадцать? — осведомилась тетя Эмма. — Это больше чем надо: мы ведь хорошие ходоки. Но ты прав, не будем мешкать. В путь, нечестивцы!

Начался подъем по лестницам. Агнесса цеплялась за перила. На сей раз, твердила она про себя, на сей раз она действительно доехала. Шествие замыкала тетя Эмма, подгоняя племянника и внука. Агнесса подсчитала, что старой девице минуло семьдесят лет. Но какая завидная жизненная сила! Изменили ли ее обстоятельства или, возможно, она разыгрывала новую роль перед блудной племянницей? Агнесса никак не думала обнаружить в своей престарелой родственнице такой взгляд на вещи, такую философичность, такую отвагу. Оккупация не пришибла тетю Эмму. С давних пор она славилась несокрушимым физическим здоровьем, которое чувствовалось



во всех ее глумливых замечаниях, подчас просто жестоких; а сейчас в ней открылись новые черты характера, вернее, те черты, о существовании которых никто не подозревал.

Ночная прохлада, ощущавшаяся даже у подножья лестницы, облегчила последний подъем, особенно после подземной духоты. За Агнессой захлопнулся турникет; она выбралась на волю из этих зловонных подземелий, где не прекращалась пытка толкотней; она подымалась на площадь Этуаль, площадь, отданную во власть всем ветрам, и в этой свежести Агнесе чудился запах садов и деревьев, обступавших площадь. Валентин и Бернар освещали дорогу; из электрических фонариков, замазанных, как положено, синей краской, падали на ступени два пучка света; позади шли обе женщины, и вдруг в жалком этом свете на углу, в конце лестницы, Агнесса заметила чью-то фигуру, и ей показалось, что это тот самый мужчина в пальто из верблюжьей шерсти, который приглядывался к ней в вагоне метро.

Она уже ступила на тротуар авеню Ваграм, но невольно отшатнулась, заметив, что незнакомец шагнул ей навстречу. Синий свет его электрического фонарика, более мощного, чем у Валентина, скользнул по их лицам и остановился на чемодане, который тащил Бернар.

— Чей чемодан? — спросил незнакомец.

— Мой, — ответила Агнесса, — но ведь...

Пальцы тети Эммы крепко сжали ее запястье, и Агнесса умолкла.

— Ваши документы? — потребовала тетя Эмма ледяным тоном.

Мужчина, не отвечая, направил фонарик прямо в лицо старой девицы Буссардель, которая мужественно выдержала испытание светом, даже не отвернулась, только мигнула.

— Предъявите нам ваши документы, — продолжала тетя. — Подтвердите ваши полномочия.

Незнакомец повиновался: вынул из кармана какую-то металлическую прямоугольную бляху, очевидно заменявшую ему удостоверение личности, — она ярко блеснула под направленным на нее электрическим лучом.

— Что у вас в чемодане? — снова обратился он к Агнесе.

Агнесса объяснила, откуда она едет, зачем прибыла в Париж: на похороны. Тут в разговор вмешался Валентин:

— Может быть, вы хотите посмотреть наши документы, знать, кто мы такие?



— Не мешай мсье заниматься его ремеслом, сынок,— посоветовала Валентину тетя Эмма медоточивым голосом, особо упирая на слово «ремесло».

Прямо на каменной балюстраде, под уличным фонарем, горевшим у станции метро, Агнесса открыла свой чемодан.

— Идите,— обратилась она к своим.— Идите домой, а то пропустите комендантский час. Валентин, уведи тетю Эмму.

— Да ты шутишь, кисанька. Мы все четверо будем ждать, пока мсье не закончит работы.

— Смотрите,— обратилась к полицейскому Агнесса, и голос ее нервно дрогнул.— Вот это мои вещи, белье, туалетные принадлежности, а это консервы, которые я сама делала из собственных овощей. Чемодан уже дважды осматривали в Мулэне немцы.

— Кофе нет? Чая нет?

— Нет.

— Импортные сигареты есть? Иностранная валюта есть?

— Нет.

— Ладно. Идите.

Он исчез в мгновение ока, словно растворился во мраке. Агнесса не сразу опомнилась. Пришлось брату ее окликнуть.

— Ну, теперь давайте быстрее,— сказал он.— И так минут десять потеряли.

Агнесса торопливо заперла чемодан.

Они отыскиали угол авеню Гоша. И ускорили шаги. Дом был недалеко. Бернар снова взвалил себе на плечо чемодан.

— Я просто в отчаянии, что вам из-за меня пришлось впутаться в такую историю,— произнесла Агнесса.

— Напротив, кисанька! Можно тебя поздравить! Этот тип, наверное, шел за нами с самого вокзала: такова их тактика, за это им и деньги платят. В метро, как правило, им запрещено действовать. А теперь, сама сообрази, он целый час следовал за нами и, как оказалось, зря. Просто чудесно! Награды ему, голубчику, не видать!

— Осторожнее, тетя Эмма,— прервал ее Валентин.— Здесь лужа.

— Спасибо, сынок, вижу... А тем временем,— продолжала старая девица, отдуваясь, но бодрым голосом, поскольку инцидент с полицейским, а особенно проявленное ею самой хладнокровие во время всей этой сцены придали ей духу.— А тем временем славные люди, которые привозят в Париж яйца и масло,



улизнули у него из-под носа. Это его научит разбираться в пассажирах. Поделом тебе, не занимайся таким ремеслом!

— Осторожнее, тетя Эмма, тротуар.

— Давайте пойдем лучше по мостовой,— предложил Бернар,— только по левой стороне.— И добавил специально ради Агнессы:— Потому что, если ты пойдешь по мостовой, чтобы не свалиться с тротуара, но по правой стороне, и если сзади тебя будет машина, при затемнении тебя не разглядят и задавят. А если идешь по левой стороне, ты сама ее увидишь.

— В конце концов,— продолжала гнуть свое тетя Эмма,— если он хочет служить этим господам, имеется Легион французских добровольцев. На вид он малый здоровый — пусть запишется.

Но ей пришлось замолчать, чтобы отдышаться немного и не отстать от мужчин, которые не сбавляли шагу. Агнесса, раздавленная усталостью, при каждом движении широко размахивала руками, чтобы легче было идти. Когда миновали Сент-Оноре, Валентин выпустил руку тетки и осветил фонариком циферблат своих часов.

— Агнесса,— негромко произнес он,— возьми тетю Эмму под другую руку. Осталось всего семь минут.

Состязаясь с бегом времени, они ускорили шаг.

— Сынок,— стонала тетя Эмма: с двух сторон ее держали под мышки, и все-таки она еле плелась, в ее годы вполне естественно было разучиться бегать.— Сынок, а ты не преувеличиваешь?

— Ты же сама знаешь, что часы у меня минута в минуту ходят. Ну-ну, мужайся: осталось всего метров четыреста.

Они побежали. Сквозь мрак и тишину кто-то так же стремительно неся по противоположному тротуару, возвещая о каждом своем шаге стуком деревянных подошв. Агнесса слышала, как рядом с ней тяжело дышит тетка. Бернар, невзирая на тяжесть чемодана, мчался впереди со всей скоростью своих молодых ног. Никогда бы Агнесса не подумала, что авеню Гоша такое бесконечно длинное.

Вдруг мощное и свежее дыхание, знакомое веяние, издавна строго соответствующее временам года, снова принесло этим вечером Агнессе запах влажной земли, опавшей листвы, старого парка Монсо, изнывавшего в предсмертной тоске. Она вдыхала родной воздух, льющийся ей навстречу; пила его, как лекарство, и ей сразу стало легче тащить на буксире тетю Эмму.



— Пришли! — крикнул Бернар. — Вот решетка.

Решетка была видна даже в темноте. Она смутно выделялась на фоне неба, менее темного, чем город, и когда они проходили под воротами, синий электрический свет на один миг пробудил спящую во мраке позолоту. Четверо Буссарделей прошли через ворота, они вступили на авеню Ван-Дейка, и тетя Эмма, почувяв близость своей вотчины и окончательно обессилев, всей тяжестью повисла на поддерживавших ее руках. Агнесса испугалась, что тетя сейчас потеряет сознание.

— Ну-ну, крепись, тетя Эмма, — шепнул Валентин. — До нашего подъезда осталось всего шестьдесят метров. Помни, что у дома номер шесть стоит часовой.

Калитка особняка Буссарделей сама открылась им навстречу, к железной ограде прильнули лица ожидающих: вся семья в тревоге вышла на темный двор. Никогда в жизни Агнесса не могла даже помыслить, что ее путешествие увенчается такой головокружительной гонкой и таким приемом.

— Бедняжки вы мои! — произнес в темноте женский голос, но самое говорившую не было видно. — А мы тут натерпелись страха. Вот уж действительно поспели минута в минуту. Слышите, в доме часы бьют двенадцать.

— С вами что-нибудь случилось? — спросил другой голос.

— Сейчас расскажем, — отозвался Валентин. — Только давайте уйдем отсюда.

Вся семья поднялась на крыльцо.

— Коньяку! — потребовала тетя Эмма, согнувшись чуть ли не вдвое. — Рюмку коньяку, пропади пропадом моя печень!

После передней, где царил синеватый полумрак, скрадывавший очертания, и поэтому неузнаваемой, Агнесса очутилась в столовой; тут в прежние времена устраивали парадные обеды. До этой минуты у нее не было ощущения, что она попала в отчий дом. Оттуда, с авеню Ван-Дейка, она не узнала горделивого особняка Буссарделей, поглощенного сейчас мраком затемнения. И не разглядела в темноте ни будки привратника, ни статуи у средней стены, ни навеса в форме веера над крыльцом, ни одного из тех украшений, которые были неотделимы от ее ранних воспоминаний, — все, что она постепенно открывала для себя, постепенно убеждаясь, что это уж никак нельзя назвать произведениями искусства. Ей почудилось, что в нынешние безжалостные времена старый дом ее детства растерял все свои приметы и отличительные признаки.



Но ее семья собралась здесь, в столовой, освещенной, правда, не с прежней щедростью, потому что сейчас зажигали лишь «полулюстру», то есть одну из двух больших голландских люстр без украшений; однако это была все та же люстра с медными шарами и медными рожками, все тот же огромный стол, за которым легко усаживалось двадцать шесть персон, все те же стены, обтянутые испанской кожей.

Воспользовавшись тем, что о ней пока забыли, Агнесса оглядела всех своих родственников. Они сгрудились вокруг тети Эммы, стараясь ей услужить, и вокруг Валентина, рассказывавшего случай с полицейским.

— Еще десять минут, и мы бы начали наводить справки в комиссариатах, — сказал кто-то. — По телефону.

Хотя эти люди были ее родными, хотя в кругу их прошло все ее детство и юность, Агнесса с трудом узнавала их сейчас — до того они все исхудали. Метаморфоза поистине великая, ибо до войны Буссардели не отличались худобой. Эти тучные особи, любители хорошо покушать, которые некогда, презрев повышенное давление и предписания врачей, категорически отказывались соблюдать хоть малейший режим, словно диета грозила нанести ущерб их личному достоинству, сейчас, силой самих обстоятельств, вынуждены были сидеть на скудном пайке. Естественно, они утратили былую дородность и объемы, но зато приобрели более здоровый вид. Даже отец Агнессы, по этой ли причине или еще почему-либо, вышел из состояния хронической апатии, вдруг будто пробудился к жизни.

Все эти перемены, как успела заметить Агнесса, не пошли на пользу лишь ее матери. Мари Буссардель, некогда превосходившая объемами всех прочих членов семьи, истаяла теперь сильнее остальных, но, главное, казалось, ее подтачивает какой-то злой недуг, некая саркома. И хотя обе женщины с давних пор жили в состоянии взаимной ненависти, возникающей подчас между матерью и дочерью, ненависти, которая вскармливается пребыванием под одной крышей, годами слезки и просто временем, хотя Агнесса даже не знала, чем, собственно, больна ее мать, — у нее сжалось сердце, когда она увидела это несчастное лицо, лихорадочно расширенные зрачки, этот болезненный оскал.

Она, конечно, заранее предполагала, что ее появление на авеню Ван-Дейка померкнет перед таким событием, как смерть дяди Теодора, но тот, кто после кончины бабушки стал главой



семьи, отошел в иной мир уже три дня тому назад; и из слов тети Эммы, произнесенных еще на Лионском вокзале, Агнесса знала, что смерть была для него избавлением, что старик долго страдал от грудной жабы и что он последнее время находился в коматозном состоянии. Буссардели уже освоились с его кончиной. И сейчас их занимало лишь одно — мысль об опасности, которой только что подверглась тетя Эмма, опасности тем более грозной, что старая девица, как догадалась по отрывкам разговоров Агнесса, воплощала собой фрондерский дух семьи Буссарделей.

— Ты себе, Агнесса, и представить не можешь! Сейчас мы тебе все расскажем. Тетя Эмма, что называется, закусил удила. Если бы мы ее не усмиряли, то давным-давно всем семейством отправились бы в тюрьму Фрэн. А знаешь, как она однажды в метро вонзила зонтик в ногу немецкого офицера? И, заметь, нарочно.

— А как же? При чем зонтик старинный, с острым концом! — воскликнула героическая девица Буссардель; она отдышалась и разругалась, пригубив из рюмки коньяку, к которому ей подали на блюдечке несколько кусочков сахара. — Раз, два — и готово! Мне вдруг захотелось прорвать ему новенький сапог: я и прорвала, а заодно и ногу ему здорово повредила.

Из четырех детей дяди Теодора, которые все были старше Агнессы, здесь находился только Поль, второй его сын, с женой. Из-за комендантского часа все прочие вынуждены были отправиться по домам, не дождавшись путешественницы. Дядя Теодор многие годы жил на авеню Ван-Дейка, куда после смерти жены его перетащила тетя Эмма и где все семейство встретило его с распростертыми объятиями. А теперь вот уже третьи сутки он покоился вечным сном в своей спальне. Когда Агнесса выразила желание подняться к нему, Поль возразил:

— Времени у тебя еще хватит. Лучше отдохните хорошо все четверо после вашей скачки.

Поскольку похороны были назначены на следующее утро, вся семья отправилась спать, как только тетя Эмма прикончила коньяк, куда она обмакивала кусочки сахара. А Валентин остался посидеть с Агнессой, которой подали ужин, так как она призналась, что в течение трех дней ела всего три раза. Но никто не спросил ее о том, как ей удалось перейти демаркационную линию, и весь ее рассказ о дорожных злоключениях ограничился теми немногими словами, которыми Буссардели обменялись



при выходе с Лионского вокзала. Ей пожелали доброй ночи совсем так же, как с ней поздоровались, вполне естественным тоном, что, видимо, было решено заранее, будто расстались они лишь на прошлой неделе и с тех пор не произошло никаких недоразумений.

— Мне совестно, что ты из-за меня задерживаешься, — сказала Агнесса брату, когда они остались вдвоем. — Надеюсь, ты ночуешь здесь?

— Конечно. Ни у кого из нас нет ночного пропуска. Тетя Эмма с утра до ночи твердит: «У порядочных людей ночных пропусков не бывает». Само собой разумеется, для врачей она делает исключение. Мне постелили в маленькой гостиной. Семья Поля спит в большой, а Бернар — в бильiardной. Поэтому-то все парадные комнаты открыты.

— Поль с женой поселились здесь после смерти дяди Теодора?

— Да, — ответил Валентин. — Семья Гастона не может здесь ночевать, у них неприятности с прислугой. Как видишь, их представляет Бернар. Но главным образом все это делается по распоряжению тети Эммы. Она велела во всех комнатах поставить кровати и диваны. Чтобы не реквизировали особняк. В случае тревоги она заявит, что нас здесь живет пятнадцать человек, и покажет кровати. Кстати, с введением комендантского часа мы часто ночуем то у одного, то у другого. Так во всем Париже делается... Особняк, реквизированный немцами, представляешь? — продолжал Валентин, который родился и вырос здесь и только после женитьбы уехал с авеню Ван-Дейка. — Пока нас обходят стороной.

— Слава богу! — произнесла Агнесса и, проглотив несколько кусков в молчании, спросила: — А ты не знаешь, куда меня положат?

— Да в твою комнату, на четвертом этаже.

— Чудесно.

— С зимы сорокового года твою постель застелили. А прислуге велено каждый день открывать и закрывать ставни, как будто в комнате живут. По причине, о которой я тебе уже сказал, а также для получения лимита на электричество. Вообрази, ты фигурируешь в списке числящихся на этой площади, папа сам подписал бумаги. Ничего не подедаешь, ложь во спасение. Тебя это шокирует? — осведомился он, видя, что Агнесса молчит.



— Конечно, нет, Валентин!

Рассеянно блуждая взглядом по огромной комнате, в углах которой залегла тень, подчеркивавшая, увеличивавшая ее размеры, Агнесса думала о том, что, сама того не зная, продолжала обитать, или, вернее, вновь стала обитать здесь, осталась составной частицей семьи. Возможно, это только иллюзия, наверное так, но иллюзия эта порождена оккупацией, войной, и поэтому нельзя не признать ее убедительности. Агнесса за обе щеки уплетала великолепный кроличий паштет: где они только достают такую прелесть? Очевидно, из Солоньского поместья?

— Не думаю,— отозвался Валентин.— Если не ошибаюсь, это здешнее производство. Тетя Эмма отвела часть сада под настоящую животноводческую ферму. С птичьим двором и крольчатником под крыльцом. Помнишь низенькую арку, где мы играли детьми?

— Склеп,— улыбаясь, уточнила Агнесса.

— Правильно, склеп.

Старик Эмиль, убрав со стола и поставив перед Агнессой компот, попросил разрешения удалиться: пришла его очередь дежурить при покойнике.

— Кстати, Валентин,— спросила Агнесса, когда старик ушел,— скажи, мама не больна? Она произвела на меня просто ужасное впечатление, я даже не сразу ее узнала. Что с ней?

— Как что? — ответил Валентин, удивленно взглянув на сестру.— Ты же сама знаешь, что с ней. Да то, что Симон в плену.

— Господи!

Агнесса отложила ложку в сторону, Ей внезапно открылась глубина материнского горя и глубина собственного своего равнодушия к случившемуся. Узнав, что брат в плену, Агнесса сразу подумала о том, какие испытания выпадают на долю военнопленных, встревожилась и в мыслях примирилась с братом, но ни разу в этой связи она не подумала о матери. О матери, чья иступленная страсть к Симону была ей давно известна и чьи страдания легко можно было себе вообразить. Эта женщина не любила никого на свете, кроме двух своих сыновей; Валентину она дарила нежность и заботу, но Симон, старший сын, был великой любовью всей ее жизни. Чего бы она не сделала, чего она уже не сделала ради него? Симону было сорок лет; сорок лет и длилась эта любовь. Даже женитьба сына



не отдала их друг от друга, а потом сын овдовел, и мать приложила руку к устройству его второго брака. Все обстоятельства, ослабляющие с годами связь между матерью и сыном, не имели никакой власти над Мари Буссардель. Эта мать продолжала любить, невзирая на то, что опустели детские, невзирая на невесток, невзирая на все превратности судьбы. А сейчас она продолжала любить, невзирая на колючую проволоку немецкого лагеря для пленных офицеров. Как это Агнесса не догадалась о муках своей матери, как час тому назад, глядя на изможденное ее лицо, не подметила на нем печати страдания? Она упрекнула себя за бесчувственность.

А тем временем Валентин продолжал развивать свою мысль:

— Все это очень просто, Агнесса; если я отношусь сейчас к Симону иначе, то главным образом из-за мамы. Помнишь, после смерти бабуся мы с Симоном были в холодных отношениях?

— Как же, помню,— поспешила ответить Агнесса.

И в самом деле, она помнила. В период между Мюнхенским соглашением и «странной войной» Валентин, воспользовавшись новогодними каникулами, приехал в Пор-Кро повидаться с сестрою. За несколько месяцев до того скончался Ксавье, у Агнессы родился ребенок, разрыв между нею и семьей оба враждующих лагеря считали бесповоротным, но в самой долине Монсо зрела другая свара: наследники оказались недовольны вскрытым незадолго до того завещанием бабуся. Симон неожиданно для всех получил по завещанию гораздо большую долю, чем ему полагалось, и все родственники запротестовали против этой несправедливости, кроме Мари Буссардель, которая заявила, что она ни во что не намерена вмешиваться. Обойденные завещанием открыто заговорили о незаконном присвоении наследства, и Валентин пытался завербовать Агнессу в лагерь смутьянов. Но тщетно: Агнесса отправила младшего брата домой ни с чем; и сейчас ей не хотелось вспоминать об этом маневре Валентина и о том чувстве отвращения, которое оставила после себя их беседа.

— Но вот чего ты не знаешь,— продолжал Валентин, которому хотелось оправдать себя в глазах сестры,— вопреки тому, что моя позиция была неоспорима, вопреки всем моим доводам, вернее, даже неопровержимым доказательствам, я несколько месяцев спустя, когда началась война, вдруг как-то понял, что Симон на передовой. А меня прикомандировали к Цензурному комитету. И я, конечно, все забросил, взял и запер папку



с документами в шкаф. И больше ее не трогал. Вплоть до августа. Когда меня демобилизовали в Бордо, я приехал к Элен и детям в Солонь, где уже находились папа с мамой. Мама в буквальном смысле слова ни на минуту не смыкала глаз целых два месяца, с тех пор как Симон перестал писать. Когда от него из лагеря пришла первая открытка, я отобрал бумаги у Элен, которая повсюду возила их с собой, сжег папку, даже не раскрыв ее, и сообщил об этом маме. Мама стала меня целовать, заплакала. Ну как? — спросил он, не дождавшись от сестры похвал. — Ты не одобряешь мой поступок?

— Еще бы! Конечно, одобряю.

С минуту Агнесса сидела, словно замороженная рассказом брата; ей представилось, что она видит жену Валентина Элен, которая мчится по скорбным дорогам исхода, боясь потерять своих детей, свои бриллианты, свои самые ценные сокровища, среди которых — папка с обвинительным актом брата против брата.

— А когда бедняга Симон вернется из плена, — заключил Валентин, — я, во всяком случае, не вспомню обо всем этом. Он честно заработал суэцкие акции!

— Ему достались суэцкие акции?

— Ну ясно! Все суэцкие акции бабуси оставлены ему особым пунктом завещания, по которому они не подлежат разделу. А ты представляешь, какой это был пакет!

Вновь в ушах Агнессы зазвучал уже давно забытый язык. И говорит этим языком ее родной брат Валентин. Валентин — самый нехищный среди всех прочих акул. И все же говорит он, как истый Буссардель. Ни на один день не переставал он говорить, как Буссардель. Его объяснения и его лексикон вернули Агнессу в привычную обстановку авеню Ван-Дейка. И на сей раз все встало на место: и декорации, и сама атмосфера.

— Ты хорошо поступил, Валентин, — произнесла она, — и не жалею о сделанном.

— Да я и не жалею, — заверил он, прижимая ладонь к груди, ибо брат Агнессы был не слишком чувствителен к оттенкам иронии. — Напротив. Я радуюсь. Тем более что все остальные тоже последовали моему примеру. Ссоры, которые вспыхнули в момент раздела имущества, стихли. Вот в каких словах я резюмировал маме создавшееся положение: «Мы проходим через полосу ненастных дней, так не будем же обращать внимание на маленькие облачка».



Явно довольный своим афоризмом, Валентин подкрепил его улыбкой. А сестра уже разгадала его намерения, его молчаливый намек и в ответ улыбнулась. Потом сделала вид, что встает из-за стола, и Валентин сразу же нагнулся к ней с заговорщическим видом и дружески спросил:

— Ну как малыш?

Агнессу как будто в грудь толкнули. В сороковом году на мысе Байю Валентин с Элен отказались посмотреть на младенца. Теперь Агнесса возвратилась под отчий кров, отбросив оружие, а Валентин своими словами окончательно ее обезоружил. Она потянулась к брату и потрепала его по щеке.

— Спасибо за твой вопрос. Он чувствует себя хорошо.

— Чудесно! Браво! — заметил Валентин и поднялся, видимо, не намереваясь продолжать разговор.

В комнате дяди они пробыли всего несколько минут. При покойнике находился только старик Эмиль, одряхлевший на службе у Буссарделей, который, как знала Агнесса, был старше дяди Теодора, умершего в возрасте семидесяти четырех лет. Стоя у гроба, задрапированного черным крепом, Агнесса обвела глазами комнату, стараясь обнаружить хоть один предмет, который помог бы ей вызвать в памяти образ дяди. Но старший Буссардель — биржевой маклер — был не из тех людей, что украшают свою спальню собственными портретами. Поэтому Агнессе пришлось довольствоваться созерцанием охотничьих трофеев, развешанных по стенам скромным набором оружия для убийства ланей, ибо дядя Теодор был великий охотник. И на глаза ей попала отныне уже ненужная ножка дикой козы, висевшая на конце электрического шнура над изголовьем постели и заменявшая звонок, самая настоящая ножка, покрытая шерстью, с копытцем, которую в детстве Агнесса брезговала трогать.

Когда они вышли на лестницу, Агнесса отклонила предложение Валентина проводить ее на четвертый этаж. Она поцеловала брата, и он спустился вниз в маленькую гостиную, где ему было постлано. Агнесса в одиночестве поднималась по лестнице. Ей объяснили, что лифт не работает — не хватает электроэнергии. Она с умыслом поднималась не спеша, освещая себе путь фонариком; Валентин предупредил ее также, что лучше не зажигать лестничные бра, и, бесшумно спустившись вниз, погасил в прихожей укрытый синей бумагой фонарь. Ступенька за ступенькой, этаж за этажом открывалось Агнессе старое жилище



сквозь мрак и безмолвие. Здесь она родилась — под этим кровом, меж этих стен, прочно вросших в землю. В ее время рожали дома, так по крайней мере было принято в их кругу; только женщины из народа, как утверждали господа Буссардели, рожают вне стен родного дома: самые бедные — в приюте, а те, кто побогаче, — у акушеров. Агнесса и ее братья увидели свет на авеню Ван-Дейка, равно как и средний брат и сестра, впоследствии умершие; так же было и в предшествующем поколении — отец, три тетки и, наконец, дядя Теодор, вернувшийся сюда и здесь дождавшийся смерти.

Агнесса поднималась по лестнице, не отнимая руки от перил, и волнение ее все возрастало. Воспоминания гостеприимно выходили ей навстречу, ей, прибывшей с далекого островка, хотя обычно принято считать, что гостеприимство оказывают лишь городским жителям, вернувшимся под свой родимый сельский кров. В этом чисто парижском строении дремало прошлое Агнессы, сжившееся с прошлым буссарделевского особняка; заждавшееся Агнессу, оно при ее приближении выходило из дремоты. Как у всякого жилища, у этого особняка была своя душа, пусть темная, нечистая, со всячинкой, но была. Агнесса прекрасно знала все до одного здешние углы и закоулки, все ловушки этого здания почти столетней давности; здесь она томилась, здесь она страдала; дважды вырывалась отсюда: в первый раз с чувством истинного освобождения и во второй — с чувством ужаса и отвращения. Никогда не испытывала она тоски по дому, но все же, возвращаясь, узнавала душу дома, его запах.

В ее комнате, давно уже переделанной в кабинет, ничто не изменилось. Это была ее, Агнессы, жизнь, сомкнувшаяся всеми своими звеньями с настоящим. Агнесса блаженно уснула. В первом часу ночи она вскочила с постели: завывали, перекликались, оглушали город сирены. Воздушная тревога.

Агнесса стряхнула с себя сон и в халате присела на краешке дивана — ей хотелось, если зазвонит телефон, сразу взять трубку, — нехорошо заставлять себя ждать, еще подумают, что она не хочет спускаться в бомбоубежище, устроенное в подвале. Вряд ли Буссардели пренебрегут правилами противовоздушной обороны лишь ради того, чтобы не оставить в одиночестве во втором этаже покойника и его стража. Агнесса не знала, что Буссардели никогда не ходят в бомбоубежище при тревогах. Ничто не шелохнулось в доме.





икогда еще на буссарделевской памяти похоронный обряд не проходил столь малоторжественно, при столь малом стечении народа и в столь молниеносно короткий срок. У ворот Пер-Лашез уже ждала машина с гробом и тремя провожающими, а остальные члены семьи еще добирались до кладбищенской церкви на метро.

По дороге Валентин объяснил сестре, почему они, лишившись, как и все прочие, автомобилей, согласно соответствующему постановлению, не хотят пользоваться лошадьми. Из их Солоньского поместья, из Блотьера им могли бы привести несколько упряжек, а в каретном сарае на авеню Ван-Дейка хранились еще и кабриолет и карета, на которых бабуся вплоть до 1935 года выезжала в город или в Булонский лес. Но Буссардели категорически отказывались щеголять в оккупированном городе богатыми выездами. Пусть себе разъезжают на лошадях другие! Конечно, Буссардели боялись привлечь к себе внимание, вернее, не к себе, а к своему достатку, во всем чувствовалось, что их жупелом была вполне реальная опасность — реквизиция особняка. И все-таки главное — вопрос чести. Они считали, что при теперешнем положении дел во Франции, когда в Париже водворились немцы, приличия требуют свести на нет казовую сторону и подчиниться общему для всех закону. Именно по этим признакам узнавались истинно порядочные люди. Таким образом, скромность Буссарделей произрастала из того же корня гордыни, как и прежнее их желание показать себя, блеснуть.

И похороны, обряд которых был разработан раз навсегда, являлись некогда для Буссарделей поводом показать себя во всем блеске. Однако сейчас они не разослали никаких приглашений. И от газетной публикации тоже воздержались. Учитывая, что представляла собой в данное время парижская пресса, которую сами Буссардели не читали, они позволили бы скорее дать разрубить себя на части, чем обращаться с просьбой об извещении хотя бы в пять строк. Поэтому на кладбище Пер-Лашез собрались только близкие. Это составляло человек пятьдесят, то есть по сравнению с прежними временами ничтожно



малое количество; при таком немногочисленности церемония окончилась быстро и провожающие довольно рано спустились в метро. Таким образом, в глазах наиболее близких родственников эти похороны не были настоящими похоронами.

Агнесса ехала домой на метро вместе со своим кузеном Полем. Они стояли, хотя час «пик» еще не наступил, и Агнесса воспользовалась этим обстоятельством, чтобы расспросить Поля об одной интересовавшей ее детали. Уже накануне она заметила, что отец и Поль носят орденские ленточки, а этим утром увидела, что у всех ее родных мужского пола в возрасте свыше сорока лет, проделавших еще первую мировую войну, лацкан пиджака и даже отвороты пальто щедро украшены знаками отличия.

— Сейчас я тебе все объясню, — охотно согласился Поль; он пришел на похороны в пиджаке и приподнял левый лацкан, чтобы Агнесса могла разглядеть блестящую многоцветную колодку. — Вот это, как тебе известно, военный крест: заметь, настоящей войны, четырнадцатого — восемнадцатого годов. А это крест добровольца — если помнишь, в пятнадцатом я пошел на фронт на полгода раньше, чем призывали мой возраст. А это солдатский крест, а вот это памятная медаль. Гастон, кроме того, носит военную медаль, но у него нет креста, которым награждали добровольцев. А твой отец, понятно, в первую очередь нацепляет красную ленточку.

Эта склонность родных к ношению на груди целого иконостаса несколько удивляла Агнессу. Патриотизм их семьи отличался весьма добротной окраской, и Агнесса не сомневалась, что при нынешних обстоятельствах он не поблекнет, напротив. Но раньше Агнесса никогда не замечала у своих родственников боевого духа бывших фронтовиков. Значит, что-то произошло, и, чтобы не попасть в ложное положение, она была не прочь несколько углубить этот вопрос, а обратная поездка с кладбища в обществе Поля давала к тому прекрасный повод. Только сутки назад она приехала в Париж и уже вела себя, как все парижане того времени: метро, встречи в метро, разговоры в метро определяли все ее существование.

— Но ведь вы не носили ваши военные кресты до тридцать девятого года, — заметила она.

— Да, до тридцать девятого не носили — подтвердил Поль. — Но потом те, кого вновь мобилизовали, нацепили все свои боевые отличия за первую мировую войну, а те, что



остались в тылу, вдели в петлицу пиджаков маленькие орденские ленточки. Ты сама понимаешь, мы еще не дошли до такого бесстыдства, чтобы после перемирия снимать ордена. Немцев это бесит, напоминает им, что ту войну выиграли мы. Сейчас в Париже после разгрома почти все носят свои боевые ордена.

Слегка нагнув голову, он с минуту глядел на маленькую колодку, нацепленную на лацкан, который он, чтобы лучше было видно, зажал между большим и указательным пальцами.

Но еще больший сюрприз ждал Агнессу в передней особняка. Накануне она быстро прошла прямо в комнаты и в полумраке ничего не успела рассмотреть, а нынче утром вынос тела и свидание с родственниками после стольких лет разлуки поглотили все ее внимание и мысли. Теперь же, вернувшись с кладбища вместе со всей семьей, она поднялась по ступеням крыльца и переступила порог, солнце ударило в правый пролет входной двери и яркий свет залил просторный вестибюль.

Здесь, прямо против входа, был выставлен для всеобщего обозрения портрет маршала Петэна, и казалось, что именно он господствует над подступами к дому. Он стоял в самом центре на высокой консоли из золоченого дерева меж двух канделябров, там, где в течение долгих лет возвышалась группа «Раздумье» из цветного мрамора работы Дени Пюэша.

Агнесса не могла опомниться от изумления. Поведение тети Эммы накануне, ее разговор с приставшим к ним в метро инспектором, затем ее рассуждения и анекдот про зонтик-шило не были, конечно, чересчур ярким отблеском «пламени французского Сопротивления», если пользоваться терминами деголлевского призыва 18 июня, вряд ли услышанного Буссарделями. Но, с другой стороны, жесты тети никак уж не доказывали симпатии к захватчикам и их прихвостням. Откуда же в таком случае здесь портрет маршала, это знамя, которое Буссардели водрузили в своем жилище?

Тем временем родные собрались в большой гостиной, ожидая, когда подадут поминальный обед. Всех ближайших родственников, начиная от детей и внуков умершего и кончая тетей Луизой с мужем, попросили остаться откусать. Пусть пришлось довольствоваться самыми скромными похоронами, но нельзя же нарушать еще и эту традицию. Ради такого случая Эмма велела даже подать портвейн, запас которого хранился в погребе. Собралось человек двадцать; черные костюмы присутствовавших напоминали о том, что в доме траур, но ничто



не напоминало об оккупации, если не считать того, что на месте широкой кушетки стояла кровать Поля.

Агнесса сразу же поняла, что удивленный взгляд, который она бросила на портрет маршала, не прошел незамеченным. Первым заговорил об этом Гастон, сын покойного дяди Теодора и отец Бернара. С тех пор как его отец четыре дня тому назад отдал богу душу, Гастон, старший из четырех детей, сам уже пятидесятилетний мужчина, сразу взял властный тон и стал как бы рупором этой ветви Буссарделей.

— Агнесса никак не опомнится, просто обомлела, увидев в передней портрет маршала... Нет-нет, не отрицай! — произнес он, заметив, что его кузина поспешила неопределенно покачать головой. — И не думай, пожалуйста, что кто-нибудь тебя осудит, мы все здесь тех же взглядов. Или почти все, — добавил он, улыбнувшись дяде Александру, супругу тети Луизы, который тоже улыбнулся в ответ, но ничего не сказал.

— Верно! — подтвердил Валентин. — Почему ты, тетя Эмма, держишь этот портрет?

— Я же тебе сотни раз объясняла, детка: чтобы пораженцам неповадно было.

— Ах, я и забыл! — улыбнулся Гастон. — Я совсем забыл, что у тети Эммы своя собственная теория насчет пораженцев.

— Вовсе это не теория, а убеждение. Я зову пораженцами тех, кто верит в конечную победу Германии. Тех, кто заявляет, что все случившееся — благо для нас, что мы никогда уже не подыдемся и что Франция, став немецкой провинцией, узнает райскую жизнь. Не говорите мне, что такие люди существуют только в моем воображении. И не говорите мне также, что они согласны с маршалом; напротив, они считают, что он делает для немцев еще недостаточно много.

— Что в конечном счете не мешает, тетя Эмма, маршалу и твоим пораженцам быть заодно.

— Верно, — подтвердил Валентин. — Словом, дух Виши...

— Ах! Не сбивай меня, пожалуйста, с толку, — воскликнула тетя Эмма, не дослушав племянника. — Я не о политике говорю, никогда в жизни я политикой не интересовалась: у меня поважнее были дела, дом да еще со всеми вами на руках. Нет, нет, я просто стараюсь рассуждать здраво. Сейчас существует только два лагеря: немцы и французы. Не будем говорить о деголлевцах, они в Англии. А гости и даже поставщики, которые заходят к нам и видят портрет маршала, как только Эмиль



откроет им дверь, сразу же понимают, что мы не за немцев. И это самое главное! В первую зиму, когда к нам являлись визитеры, мне сплошь и рядом приходилось осаживать людей, которые думают иначе, чем мы. А с тех пор как в передней находится портрет, в этом уже нет надобности. Разве не так? Только поэтому, а не почему-либо другому я и разорилась на сафьяновую раму.

— Тетя Эмма,— вмешался Поль,— твои рассуждения весьма логичны, но разреши заметить, что они несколько устарели.

— Уж не потому ли, что я не верчусь, как флюгер?

— Но с тех пор...

— Ах, ты насчет маршала. Я в маршала поверила. И я не меняю своих убеждений, как перчатки. Я поверила в маршала,— повторила она с упорством человека убежденного.— И не одна я.

— Эмма права,— произнес отец Агнессы, ибо, с тех пор как Мари Буссардель, сгорая от беспокойства, думала, как загипнотизированная, только о пропавшем Симоне и перестала одергивать мужа по любому поводу, что делала в течение сорока лет, он, осмелев, стал вмешиваться в разговоры.— Мы тоже, вспомните, мальчики, когда он пришел к власти, послали ему из Блотьера и из Гранси коллективную поздравительную телеграмму и выразили свое доверие.

— Ах,— вздохнула тетя Эмма.— Хорошо что хоть кто-то меня поддержал. Спасибо тебе, дорогой мой Фердинанд, за твое сочувствие!

И она взяла брата под руку, чтобы идти к столу. Эмиль распахнул двери столовой. Агнесса с любопытством следила за этим спором, который больше, чем десятки разговоров с родными, просветил ее насчет их взглядов, тех изменений, что в них произошли, и того, что осталось в них неизменным. Помимо эволюции, которую она обнаружила у многих своих родных, в частности у той же тети Эммы, в ее характере и даже в умонастроении, Агнессу особенно поразило доброе согласие, почти благодушие всей этой беседы. «Разговор на такую тему и в такое время,— подумала она,— везде, кроме авеню Ван-Дейка, окончился бы криком».

— И как можно было в него не поверить? — продолжала тетя Эмма, разворачивая салфетку и обводя хозяйским взглядом родных, рассаживавшихся вокруг стола.— Этот старый воин постарался первым делом изобличить ложь, причинившую нам так много зла!



— А я,— заметила Жанна-Поль, которая считала себя непогрешимым авторитетом в подобных вопросах, поскольку в двадцатых годах окончила Школу политических знаний, что в те времена было среди девушек редкостью.— А у меня после Монтуара<sup>1</sup> все-таки открылись глаза.

— Верно, жест не очень красивый! — воскликнула тетя Эмма.— Тут я с вами, кисанька, согласна. Если эта встреча была абсолютно необходима, о чем я в конечном счете не могу судить, поскольку нам неизвестно три четверти из того, что происходит, ну что же, маршал должен был на это пойти. Но вот рукопожатье! Не должен он был подавать руку Гитлеру. Нет, нет, это непростительно.

— И потом...— произнес чей-то глухой голос.

Все взоры устремились к Мари Буссардель, которая до сих пор не произнесла ни слова. Агнессе казалось, что ее мать вообще не слышит застольной беседы.

— И потом,— продолжала Мари,— он не делает всего, что надо для наших пленных. Чем занимается этот самый посол, которому он поручил их дела? Что он делает, объясните мне, пожалуйста. Делает то, что хочет Берлин. О, я была бы гораздо спокойнее, если бы их судьбой занялась Швейцария. И эти «петэновские кружки», которые с его благословения организуют в лагерях! Разве человек, который в семнадцатом году сумел поднять дух солдат, разве не обязан он сейчас подымать дух пленных? И избавить их от пропаганды, в которой он себя прославляет. А что касается этой «Смены», которую организовали в прошлом месяце, вы верите в нее или нет? Я лично не верю...

За обеденным столом воцарилось молчание. Все слушали мать Симона. Тревога, подтачивавшая ее на глазах родных, внушала уважение, и сверх того Мари играла в семье роль авгура. Со времени «странной войны» все успели убедиться в справедливости ее прогнозов. Терзаемая страхами, эта мать — лишь одна во всем особняке — регулярно слушала передачи Би-би-си, отчего стала еще прозорливее. Но говорила она об этом мало. И в период оккупации, когда люди в любой среде каждый разговор о нынешних событиях сопровождали тирадой: «Да было бы вам известно, я никогда не ошибаюсь, придет время, припомните мои слова!..» — Мари Буссардель ничего не утверждала,

---

<sup>1</sup> В Монтуаре 24 октября 1940 года произошла встреча Петэна с Гитлером.— Прим. ред.



все предвидела и редко ошибалась. В эту минуту, должно быть, впервые в жизни Агнесса почувствовала, что она ей близка, ближе, чем все прочие члены семьи. «Надо с ней поговорить по-ласковее,— подумала она.— Пусть расскажет о бедняжке Симоне».

— Наконец,— продолжала тетя Эмма, считавшая, что маршал — прекрасная тема для поминального обеда, поскольку вносит в беседу необходимое оживление,— наконец, из всего этого следует, что великолепный портрет, который я получила в приложении к «Иллюстрасьон», настраивает вас всех против маршала.

— Поделом вашему маршалу, тетя Эмма,— воскликнула Анриетта-Гастон.— Когда я подумаю о его знаменитой фразе: «А почему бы и не женщин?»

Эмма, склонившаяся над топинамбуром, жаренным на топленом свином сале, подняла голову.

— Ах, душенька, о чем это вы говорите? Что значит: «почему бы и не женщин»? Он хотел нас призвать в армию?

— Нет, конечно. Неужели вы не знаете?

— Нет, мы этого не знаем, поскольку я лично не знаю. Я вас слушаю: в чем же дело? А можно ли об этом говорить в присутствии детей?

За столом сидели трое детей от первого брака Симона в возрасте от семи до пятнадцати лет.

— Господи боже мой, конечно, можно! Так вот, слушайте! Вы знаете, что женщин, осужденных судом на смертную казнь, у нас фактически не казнят. Эта традиция существует с... с какого времени, Гастон? — обратилась она к мужу.

— Со времени Греви,— важно заметил Гастон.— То есть более шестидесяти лет. Но и до Греви это практиковалось лишь в редчайших случаях.

— Запомните это,— подхватила Анриетта.— Так вот, несколько месяцев назад адвокаты обратились к маршалу, чтобы испросить у него помилование для одной женщины, приговоренной к смертной казни, о, более чем отвратительной особы, поверьте мне: она убила свою маленькую дочку ударом ноги.

— Какая жестокость! — воскликнула тетя Эмма.— Ударом ноги! Как только земля терпит таких матерей, это же зверь!

— Дело происходило в Бордо,— пояснила Анриетта таким тоном, будто именно это подтверждало подлинность ее рассказа,— суд приговорил эту женщину к смертной казни. Адвокаты ходатайствовали перед маршалом о том, чтобы заменить



смертную казнь пожизненным заключением, напомнив ему о нашей знаменитой традиции не гильотинировать женщин, и он им на это ответил: «А почему бы и не женщин?»

Все обедающие громко вознегодовали, но среди общего хора голосов выделился голос дяди Александра, который только сейчас открыл рот и бросил во всеуслышанье:

— Чисто военная логика.

— Ох, что-то не верится,— страстно запротестовала тетя Эмма.— Скажите, кисанька, от кого вы сами-то слышали?

— От одного адвоката, в правдивости слов которого я не имею основания сомневаться,— отозвался Гастон.— Именно он передал мне эту гнусную фразу.

В столовой на авеню Ван-Дейка, залитой ярким полуденным солнцем, в этой семье, где женщины всегда играли главную роль и установили своего рода матриархат, законам которого безропотно покорялись мужчины, ужасная фраза: «А почему бы и не женщин?» — отдалась во всех сердцах зловещим эхом.

— Не то что мне жалко эту злодейку, которая заслуживает самой жестокой кары, но у меня просто руки опускаются,— заметила старая девица уже тоном ниже и обернулась к своей невестке, прекрасно осведомленной во всех политических вопросах:— А ты об этом знала, Мари?

Мари утвердительно кивнула головой.

— Почему же ты мне ничего не сказала? Это же очень, очень важно.

Мать Симона, не отвечая, устало и неопределенно махнула рукой. Этот поступок маршала трогал ее куда меньше, чем все прочие его распоряжения.

— В таком случае, раз все это правда, раз это доказано,— продолжала Эмма с безнадежным жестом,— я капитулирую. Заявляю во всеуслышание — гвардия сдается.

— Значит, ты убереешь портрет? — осведомился Валентин.

— Слишком уж ты торопишься! Дай мне оглядеться. Если я убегу портрет, предупреждаю вас, обратно я его не поставлю.

Тут все присутствующие дружно заявили, что никогда, никогда не потребуют водружать портрет обратно, и так как тетя Эмма хранила молчание, кто-то шутливо заметил, что она, видимо, просто равнодушна к этому старому вояке, пользующемуся вполне заслуженной репутацией ловеласа.

— Не говорите глупостей! Вы же сами прекрасно знаете, в чем тут дело: просто я от природы верный человек. Но должна



сознаться, это самое: «А почему бы и не женщин?» — нанесло сильный удар моему чувству. Ладно, — добавила она. — Вы ждете от меня решения?

— Да, да! — закричали родственники, радостно взволнованные мыслью о неожиданной своей победе.

— Тогда давайте решать все вместе! — заявила Эмма, ударив ладонью о край стола. — Пусть каждый несет свою долю ответственности. Ну, начинаем голосование! Агнесса, кисанька, ты можешь тоже принять в нем участие.

Герой Вердена был в свою очередь бесповоротно осужден поднятием рук семейного трибунала Буссарделей почти единодушно. Против разжалования маршала, вернее, его портрета, голосовали лишь дети Симона. С тех пор как они остались круглыми сиротами — мать умерла давно, а отец попал в плен, — воспитание их шло вкривь и вкось, и, желая пооригинальничать, они голосовали то «за», то «против».

Эмма, не любившая откладывать в долгий ящик принятое решение, тут же громогласно дала Эмилю соответствующие распоряжения.

— Снимите его, дружок, немедленно. Как кого? Маршала, конечно. Поставьте на место мраморную группу. А портрет положите в шкаф, что в конце галереи, где лежат старые картины. Человек слаб, — добавила она уныло. — Я предпочитаю произвести эту операцию чужими руками. Даже присутствовать при ней не хочу.

Одержанная победа развеселила обедающих. Тем временем принесли овощное рагу, где преобладали морковь и репа и лишь изредка попадались кубики сала, но тетя Эмма умышленно начала обед с жареного топинамбура, чтобы утолить первый голод гостей, разыгравшийся после похорон. Затем на стол подали остатки паштета, который ела накануне Агнесса, разделенного на тоненькие ломтики, и к нему грудку салата. Как только гости принялись за салат, раздался общий крик восторга.

— Но ведь это оливковое масло! Конечно, оливковое! Какая прелесть! — перебивая друг друга, выкрикивали Анриетта, обе Жанны и Элен, которых по-прежнему называли «молодежь», хотя Анриетта уже успела выдать свою дочь замуж.

— Подарок Агнессы, — пояснила Эмма. — Благодарите ее.

— Слава богу, хоть отдохнем от орехового и макового масла! — облегченно вздохнула Элен, которая славилась в семье своей бестактностью.



— Ореховое масло всегда какое-то прогорклое,— заявила пятнадцатилетняя Жильберта, старшая дочь Симона.

— Нет, вы только послушайте эту девчонку! — возмутилась тетя Эмма.— Мы из кожи вон лезем, чтобы добывать в Гранси ореховое масло, а в Блотьере — маковое, и вот вам благодарность. В следующий раз, барышня, я велю подать тебе эрзац, теперь в самых роскошных домах его подают.

— А мы его есть не будем,— сказал Манюэль, брат Жильберты, который был на год моложе сестры и во всех случаях жизни вторил ей.

— Теперь еще этот! — воскликнула тетя Эмма.— Впрочем, если бы он смолчал, было бы просто удивительно.

— Манюэль, Жильберта! Милые мои детки...

Эти слова произнесла Мари Буссардель, которая решила выступить посредником между хозяйкой дома и ребятишками, оставленными на ее попечение. Агнесса сразу же догадалась, что ее мать, единственная в семье, снисходительно относится к выходкам Жильберты и Манюэля и, без сомнения, только ее одну они хоть как-то слушались. Чувствовалось, что эти два отпрыска от первого брака ее обожаемого сына были ее плотью и кровью в большей мере, чем все прочие внуки.

После этого гастрономического отступления беседа стала общей. И в этом тоже Агнесса узнала одну из особенностей трапез на авеню Ван-Дейка, старинную семейную традицию, согласно которой всю первую половину обеда присутствующие внимали разглагольствованию тети Эммы. Сейчас завязались оживленные беседы между обедающими, и Агнесса вздохнула с облегчением. Все время, пока шел спор о маршале, она старалась не вмешиваться, смутно чувствуя, что тут не имеет права голоса. Она слушала, наблюдала, но как будто откуда-то со стороны. То, о чем говорили вокруг нее, весь обычный ход семейной жизни, свидетельницей которой она была и в которую с самыми искренними намерениями пыталась включиться, все это мешало ей осознать самое себя. Среди оккупированного врагом Парижа, в родном доме и в кругу родных она как-то утратила себя, была отчасти сбита с толку.

Теперь она могла поболтать со своим соседом по столу, с Бернаром. Она нарочно села с ним рядом. Не потому, что особенно симпатизировала как раз этому племяннику, но его именем была подписана телеграмма, извещавшая о кончине дяди Теодора и звавшая на похороны; он встретил ее на Лионском



вокзале, и он же был свидетелем парижского завершения ее одиссеи. Агнесса еще не успела пока разобраться в своих юных родственниках, выросших за время семейной ссоры, и знала их гораздо хуже, чем представителей старшего поколения. Она очутилась в окружении полужнакомых ей лиц; Бернара она знала лучше прочих. Он, видимо, решил заняться воспитанием тетки и преподать ей правила жизни в оккупированной зоне.

Он объяснил ей замечание Элен насчет масла, и Агнесса подумала про себя, что молодежь при оккупационном режиме еще больше, чем взрослые, интересуется вопросами еды.

— Только не воображай, что у нас так каждый день,— говорил Бернар.— Тетя Эмма велела приготовить одно лишнее блюдо. Короче, без Гранси и Блотьера мы бы с голоду подохли. Тетя Луиза, у которой в Бретани есть только садик, совсем положила зубы на полку!

Уже десятки раз в присутствии Агнессы, только что прибывшей в Париж, произносились названия Гранси и Блотьер, и ей сразу же вспомнилось детство, каникулы, те далекие времена, когда устраивались пикники, когда они присутствовали при празднике сбора винограда, слушали воскресный благовест. Гранси находилось в Сансеруа; это поместье, самое первое, которое приобрели Буссардели вне Парижа, принадлежало им уже больше ста лет, сюда до последних дней своей жизни ездила на все лето бабуся, и оно было завещано ее внукам от старшего сына Теодора. Агнесса, тогда еще ребенок, больше любила Гранси, нежели Блотьер, потому что ездила в Гранси только в гости, на несколько часов или на несколько дней, потому что знала его хуже, чем Блотьер, и потому, наконец, что это поместье не принадлежало ее родителям. Поженившись, ее отец с матерью приобрели примерно в ста километрах от Гранси, в самом сердце глинистой Солони, менее роскошную и менее доходную усадьбу, но куда в охотничий сезон из-за обилия дичи съезжались все прочие родственники. В тяжелые времена из Блотьера тоже доставлялись в наибольшем количестве продукты, да и привозить их было легче. Когда в начале нынешнего века Буссардели начали приобретать виллы на берегу моря и посылать молодых людей за границу для совершенствования в иностранных языках, оба эти старинные поместья впали в немилость. Оккупация вернула им утраченное было значение, и они вновь заняли подобающий им ранг.



— Знаешь, — сказал Бернар, — раз в месяц, раз в два месяца твоя тетя и мама ездят в Гранси и в Блотьер. И приезжают туда всякий раз неожиданно. Там они обходят фермеров и арендаторов. Если бы не эта мера, все наши продукты перешли бы прямо на черный рынок. Знаешь, крестьяне — ужасные люди. Папа говорит, что они рады наконец сквитаться с городскими жителями. Но оливковое масло, — дипломатично прибавил он, — поверь мне, мы получали только от тебя.

— Я вам еще пришлю, у меня в нынешнем году был хороший урожай. Пришлю лично тебе.

— Ты просто чудо, тетя Агнесса.

— Я никак не могу привыкнуть, что меня называют тетей, — живо возразила она. — Зови меня просто Агнесса.

— Это у нас не принято. Ты будешь первая.

— Тем лучше!.. Что это за блюдо принесли? — спросила Агнесса, ибо теперь семья показалась ей не такой несчастной, как вначале.

— Бланманже. Тетя Эмма уже объявила об этом.

— Бланманже? Господи! Все мое детство... Но ведь для бланманже требуются реки молока. Как это тетя Эмма достала столько молока?

— Получает по карточкам для стариков и по детским карточкам первой категории!

Агнесса улыбнулась при мысли, что старики и младенцы, которые у Буссарделей всегда имелись в изобилии, сейчас стали для семьи доходной статьей. Они получали по специальным талонам молоко, сахар, шоколад, крупу, которые выдавались старым и малым, и вся семья пользовалась этими благами.

Обедающие, с наслаждением уписывая бланманже, осыпали похвалами тетю Эмму за роскошный обед.

— Да замолчите вы, детки: сейчас мои обеды просто пародия на прежние. Как у нас кормили до войны! Ну кто из вас помнит фазана а ля Священный Союз?

— Я! Я тоже! Все мы помним! — застонали гости.

— Ах, фазан а ля Священный Союз! — произнесла тетя Эмма, положила ложку, поставила локти на стол, уперла подбородок в ладонь и замечталась об этом мудреном блюде — шедевре буссарделевской кулинарии, которое, как утверждали, восходило к незапамятным временам, к другой оккупации — 1815 года. — Чтобы блюдо удалось, надо потратить на его приготовление никак не меньше двадцати четырех часов. Слышите,



двадцать четыре часа, и лишь потом начинать жарить. Надо взять фазана самого лучшего, жирного и понежнее, двух бекасов, мозг из говяжьих костей, свежее сало, анчоусы и два поморанца.

Перечисление таких чудесных продуктов исторгло единодушный стон из груди сотрапезников, вынужденных довольствоваться топинамбуром.

— Ну, ну! — бодро вскричала тетя Эмма, выпрямив стан и хлопнув ладонью по столу. — Не будем отчаиваться, голов не вешать! И слушайте: если господь продлит мне жизнь, я еще сделаю вам фазана а ля Священный Союз в тот день, когда будет подписан мир. И будет самый сезон для фазанов; обычно мир заключают осенью, — добавила она, так как на ее памяти был заключен только один мирный договор — 11 ноября.

Ей заплодировали, и начался бессвязный разговор о бывших пирах и о пирах будущих.

С дальнего конца стола, где непрерывно стрекотала молодежь, раздались громкие восклицания.

— Ох, а я бы испугалась! — пискнула одна из дочерей Поля.

— И я тоже, — подтвердила другая.

— О ля-ля! — презрительно бросил один из мальчиков. — Если бы ты видела, как на прошлой неделе дрались в Латинском квартале!..

— А ты был в Латинском квартале? — осведомилась Жильберта. — За такого трусишку, как ты, можно не волноваться. А вот я что видела в метро Мюэт, вот это да!

— О чем это они спорят? — спросила Агнесса Бернара.

— Не знаю... Что там случилось, Жильберта?

Этот громко заданный вопрос легко покрыл голоса беседующих, и за столом воцарилось молчание, что польстило явно интересничавшей Жильберте.

— Я вышла из лица, — начала она. — Было это вечером. На авеню Моцарта я спустилась в метро. Хотела проводить одну подругу, а уж потом сесть в свой поезд. Мы с ней разговаривали, опершись на балюстраду у перехода между двумя платформами. И вдруг справа на лестнице... вы представляете себе, где происходило дело?

— Да, да, — хором подтвердили Буссардели, многие годы вообще не знавшие, что такое метро. — Линия Пон де Севр. Ну, и дальше что?



— Ну вот, слышались крики, люди падали прямо на землю, началась сумасшедшая беготня. Мы, конечно, подошли. Два каких-то человека в резиновых плащах гнались за третьим. А на нем была блуза. Они его схватили у лестницы, повели, заломили ему за спину руки. Он отбивался. Кричал публике: «Помогите же мне!» Но люди не знали, что делать. Те двое объяснили, что они из полиции и что они поймали террориста. Когда они потащили террориста по лестнице к выходу, он не хотел идти, так что им пришлось его волочить по земле, он уцепился за газетный киоск, обернулся к нам и как закричит: «Вы же сами видите, что я патриот, опять арестовывают патриотов!» Но никто, знаете ли, даже с места не тронулся,—добавила Жильберта, покачав головой.—Патриот, патриот, всякий может сказать, что он патриот!..

— Потрудись замолчать, дура!

Дядя Александр, муж тети Луизы, который слушал Жильберту, низко нагнувшись над своей тарелкой, при ее последних словах выпрямился и хватил кулаком по столу с такой силой, что зазвенели приборы и опрокинулся бокал. Все взоры обратились к нему. Агнесса заметила, что дядя побледнел, подбородок и пышные усы тряслись. Луиза испуганно поднесла руку к губам. Александр огромным усилием воли заставил себя сдержаться, и все поняли это так ясно, что ни один голос не поднялся в осуждение его резкой выходки, никто не обратился к нему со словами увещевания. Воцарилось тяжелое молчание, и Агнесса перевела взор на Жильберту, которая оцепенела от страха и не смеладохнуть, так же как и ее младший брат. Тетя Эмма опомнилась раньше прочих.

— Дети могут встать из-за стола и пойти в сад,—произнесла она, глядя прямо перед собой поверх голов обедающих.

Ложки судорожно заскребли по дну тарелок, подбирая остатки бланманже. И пока за бросившейся в сад детворой, в число которой входили все обедающие до пятнадцатилетнего возраста, не захлопнулись двери, только торопливый перестук ложек нарушал тишину, нависшую над столом.

— Приношу свои извинения, Эмма,—с трудом произнес Александр хриплым голосом.—Приношу свои извинения всем присутствующим. Обычно я никогда никому не навязываю своих мнений. Но сейчас!..

— Вы могли бы сообразить,—ответила Мари Буссардель,—когда пятнадцатилетняя девочка присутствует при аресте, то...



— Вы правы, Мари, я мог бы это сообразить. И не мое дело было ее осаживать.

— Верно,— подтвердила Эмма.— Но поскольку вы сами это сознаете, прекратим разговор.

И она пустила вокруг стола серебряную вазочку, куда обедающие по установившемуся обычаю должны были класть талоны продовольственных карточек.

— Только хлебные,— великодушно предупредила она.

Когда сбор был окончен, Эмма поднялась, и все остальные последовали ее примеру.

— Пройдем в гостиную! — скомандовала она, повывисив голос.— Я угощу вас праздничным кофе: маис, жареные каштаны, цикорий и несколько зерен настоящего кофе, которых в этой бурде и не заметишь.

Агнессе захотелось подойти к тете Луизе, чтобы успокоить ее, подбодрить. С детских лет она предпочитала тетю Луизу всем своим прочим родственникам. Но тетя Луиза покорно поплелась вслед за сестрой Эммой, видимо, желая еще раз извиниться перед ней, теперь уже от своего имени, за выходку мужа. Разыгравшаяся только что сцена была, насколько помнила Агнесса, не в обычаях этой супружеской пары. Видимо, нынешние события оказали свое действие и на Александра Жанти. Сочетавшись браком с этим архивистом, Луиза Буссардель единственная в семье поступила сообразно своей сердечной склонности, единственная пошла против традиции, в силу которой будущие мужья вербовались в среде адвокатов и банкиров. Семья ей этого не простила, тем более что у Александра не было никакого состояния; выйдя по возрасту в отставку с должности хранителя Национальной библиотеки, он посвящал теперь часы досуга лингвистическим изысканиям; все это, конечно, не могло поднять в глазах родни престижа четы Жанти, особенно если учесть еще одно отягчающее обстоятельство — брак остался бездетным. Но даже все это, вместе взятое, не могло объяснить Агнессе гневную выходку дяди Александра против Жильберты, и уже совершенно неожиданным показалось единодушие, с каким Буссардели, не сговариваясь, поспешили потушить спор в зародыше.

По счастливой случайности Поль встал из-за стола в числе последних; Агнесса задержала его в столовой.

— Поль, будь добр, помоги мне, я боюсь наделать бестактностей. Я не особенно хорошо поняла, что именно произошло:



почему дядя Александр так рассердился. Скажи, он не согласен с нашей семьей по политическим вопросам?

— Не согласен не то слово. Я не хочу говорить про него ничего худого, но ты сама знаешь, он любит пооригинальничать.

Агнесса опустила глаза; она посмотрела на орденскую колодку своего кузена, и вдруг ей припомнилось, что ее дядя, архивист, вернувшийся с войны четырнадцатого года сплошь в знаках отличия, однако не нацепил сегодня ни одной ленточки. Она задумалась.

— Он что — за де Голля? — спросила она. — Очевидно, в этом дело.

— Не знаю, — живо отозвался Поль, и по его тону Агнесса поняла, что он не желает углублять вопрос. — Никто ничего не знает. На сей счет я еще не составил себе мнения. Все, что я могу тебе сказать, это то, что он кипит. Понимай как знаешь, но именно кипит.

Агнесса промолчала и хотела было перешагнуть порог гостиной, но теперь уже Поль схватил ее за руку, приблизил к ее лицу свое лицо, как будто собираясь сообщить ей нечто весьма важное, что можно сказать только шепотом.

— Не забудь... я, конечно, был еще младенцем и ничего не помню, а ты, ты тогда еще на свет божий не родилась, но нам об этом все уши прожужжали! Не забудь, что во время процесса Дрейфуса дядя Александр во всей семье был единственным дрейфусаром!

Поль выпрямился и поглядел на нее в упор с многозначительным видом. Агнесса поняла, что независимо мыслящего дядю осуждают не так за его политические мнения, как за то, что он смеет не придерживаться общесемейной линии. Ибо Буссардели через тридцать пять лет после реабилитации Дрейфуса, конечно, не верили в его виновность, но пятно крамолы с дяди не было смыто, ибо только крамольник мог поверить в чью-то невиновность прежде судей.

Агнесса перешла в гостиную и присоединилась к кругу родных, где ритмически позвякивали чайные ложечки, помешивая пойло тети Эммы, подслащенное сахарином. Сколько всяких противоречий насмотрелась она за время своего пребывания у родных, так часто они являли ей образ истины одновременно с карикатурой на истину, что в конце концов она стала различать за фамильными чертами Буссарделей лик оккупации, переменчивое и паническое лицо поражения.





этот день Агнесса не выходила больше из дому. После кофе, который пили долго и дружно, ее отец первый подал сигнал передислокации, заявив, что идет в контору и прихватит с собой также и Гастона.

— Иди, иди, бедный мальчик, — напутствовала Гастона тетя Эмма. — Теперь тебе надо официально вступать во владение конторой, оставленной папочкой. Господи! Дорогой мой Теодор...

Из-за пояса она вытащила носовой платочек и прижала к глазам. Гости стояли в передней, и каждый решил, что сейчас наступила наиболее подходящая минута сказать доброе слово о покойном. Поцелуи, которыми обменивались Буссардели, были крепче обычного и длились немного дольше, чем всегда.

Агнесса тем временем думала не об ушедшем от них навеки дяде Теодоре, а об этом переходе полномочий от ее дяди к кузену. Все это было вполне в порядке вещей и предрешено заранее, более того, сама логика требовала, чтобы Гастон, уже появлявшийся в конторе при жизни отца, теперь принял ее по наследству, но Агнесса еще как-то не до конца осознала это и задумалась над случившимся. Она понимала, что со смертью дяди Теодора перевернута еще одна страница. Вековому установлению, традиционному союзу братьев Буссардель — биржевых маклеров — был нанесен первый удар. Когда Симон, представитель младшей ветви, в свою очередь унаследует от своего отца его дело, миф будет окончательно разрушен. Теперь уже будут не братья, а кузены Буссардели, то есть нечто совсем иное, думала Агнесса, и не удивилась ходу своих мыслей, хотя до этой поездки они ни разу не приходили ей в голову.

— Я не спрашиваю, увидимся ли мы еще с вами, — сказала Анриетта, натягивая перчатки. — Надеюсь, вы пробудете здесь несколько дней.

Агнесса настороженно подняла голову. Это уж что-то новое. Она никак не ожидала, что этот вопрос ей зададут так рано и задаст его невестка. Она решила было, что родные специально поручили Анриетте поднять деликатный вопрос, однако этот хитрый ход слишком напоминал бы прежних Буссарделей, а Агнесса



уже успела убедиться в том, что сейчас они и живут, и действуют иначе, чем раньше. Впрочем, тетя Эмма поспешила за нее ответить:

— Ну еще бы, конечно, она у нас погостит немного! Ведь она, бедняжка, только что приехала. И не дай бог никому так путешествовать!

— Признаюсь, тетя Эмма,— сказала Агнесса,— я только что собиралась попросить у тебя разрешения отдохнуть часок.

— Отдыхай хоть два.

Агнесса заметила, что все присутствующие уставились на нее, как будто ждали еще чего-то. Впервые после приезда она привлекла к себе общее внимание.

— Пока что,— осторожно добавила она и улыбнулась,— мои планы не идут дальше этого часа.

— Желаю хорошенько отдохнуть, дорогая,— сказала Анриетта, не настаивая на продолжении беседы, и, обернувшись к тетке, добавила: — Мы можем прийти сюда, тетя Эмма, когда вам будет угодно. Для разборки вещей. Увы, чем больше мы будем медлить, тем будет тяжелее.

Отнюдь не шокированная этим намеком, сделанным в день похорон, насчет уборки спальни покойного и, несомненно, насчет дележа оставшихся после него вещей, тетя Эмма послала за записной книжкой, чтобы немедленно назначить день встречи. Агнесса, воспользовавшись этим, поднялась к себе. Еще не прошла усталость после путешествия и давала себя знать привычка отдыхать после обеда, которую на мысе Байю свято соблюдали в течение шести летних месяцев.

Не выходила Агнесса из дома и на следующий день. Своим присутствием она как бы хотела подчеркнуть, что семейная атмосфера ее не тяготит, и включилась в эту игру гостеприимства, как в нечто само собой разумеющееся. И потом вопрос, который задал ей Валентин вчера вечером: «Ну как малыш?» — нет-нет да и приходил ей на ум. Тут было над чем поразмыслить. Агнесса чувствовала, что ей необходимо приглядеться к поведению своих родных и, если удастся, заставить их еще больше раскрыться перед ней: они только-только начали уделять ей внимание. А ведь в течение долгих лет она так боялась, что из-за ребенка могут возникнуть новые осложнения между нею и родными! В Агнесе было достаточно от Буссарделей, чтобы почуять, что именно здесь таится опасность. Пусть она порвала со своими: Рокки — законный сын Ксавье, а главное — он сын



вдовы Ксавье, рано или поздно это положение придется узаконить, что не может совершиться без участия Буссарделей. А теперь существенно новое обстоятельство — примирение с семьей, — так неужели Агнесса не должна им воспользоваться? Да, но только позволят ли они ей воспользоваться?

Буссардели в день похорон не сделали ей на сей счет ни одного намека, равно как и на следующий день до самого обеда. Особняк погрузился в мирную тишину. После кончины дяди Теодора на авеню Ван-Дейка осталось лишь трое обитателей. Жанна-Симон, которую называли так, присоединяя имя мужа по давней традиции этой семьи, где преобладали особи женского пола, Жанна-Симон со своей дочкой и тремя детьми от первого брака Симона жила в маленьком особнячке на площади Мальзерб; нижний зал особнячка Жанна-Симон сдала конторе по мойке бутылок; так распорядился Симон в письме, присланном из лагеря военнопленных. Семья Валентина снимала на бульваре Курсель просторную квартиру, где все из того же страха перед реквизицией приютили служащих конторы Буссардель. Таким образом, на авеню Ван-Дейка осталось лишь трое стариков: Мари, самая молодая из троих, в шестьдесят лет выглядела на семьдесят, так она иссохла. Тетя Эмма, при всей своей суевости и несмотря на бесконечные хлопоты, была не в состоянии вдохнуть жизнь в этот старый дом, где пребывала лишь физическая оболочка страдальцы-матери и где устало бродил ее муж, пришедший из конторы без сил, ибо единственный во всей семье он трудился по-настоящему. Хотя по всем комнатам расставили кровати — акт скорее символический, нежели действительный, ибо при первой же проверке выяснилось бы, что все это фикция, — дом не казался от этого более обитаемым, напротив. Особняк Буссарделей превратился в заколдованный дворец, населенный призраками. Уже через сутки Агнесса почувствовала, как бесконечно медленно тянется здесь время.

Ей захотелось выбраться из этих стен. Захотелось также поглядеть на Париж, который она видела лишь ночной порой или мельком, возвращаясь с похорон. На другой день часов около трех она сказала, что уходит, и так как тетя Эмма заявила, что ей тоже нужно пойти по делам, Агнесса предложила ей встретиться где-нибудь к концу дня.

— Чудесная мысль, кисанька! Встретимся у меховщика. В половине шестого. Я хочу взять у него две мои шубы, которые я отдавала на хранение в летние месяцы. А ты возмешь



мамины шубы. Прислугу по таким делам мы посылать не можем. И без того им приходится с утра до ночи торчать в очереди у продовольственных магазинов.

— Значит, вы с мамой сшили себе шубы?

— Вернее, переделали из меховых манто.

Тетя Эмма пустилась в объяснения. Агнессе было сообщено, что дамы Буссардель не принадлежат к числу тех женщин, которые показываются в метро в норке или в каракуле, а тем паче в соболях: у Мари восхитительные соболя. Их теория внешней скромности в первую очередь распространилась на меха. Однако зимой люди просто погибали от холода в общественных местах, в магазинах, в гостях, у себя дома: Париж не отапливался. Изобретение тети Эммы, которая вообще славилась своей смекалкой, состояло в том, что меховые манто переделали в шубы на меху. Пока не кончатся плохие времена, дамы Буссардель будут носить меха только в качестве подкладки.

С первых же шагов по выходе из особняка Агнесса получила первую пощечину оккупации. Большой флаг со свастикой бился и громко хлопал на ветру в нескольких метрах от нее. На мгновение она застыла, сжимая рукой металлический прут дворовой калитки, захлопнувшейся за ней, и ей казалось, что, пока ее пальцы не разжались, она все еще в родном доме, пощаженном оккупацией. Этот флаг, водруженный на крыше особняка напротив, до сих пор не попадался ей на глаза; возможно, накануне не было ветра и он, незамеченный ею, безжизненно свисал с древка. А сегодня он развевался в пронизанном солнцем воздухе. Он оскорблял своим грубым пурпуром и своей паукообразной свастикой этот фасад в стиле Возрождения, более строгий, нежели особняк Буссарделей, хотя оба здания были построены примерно в одну эпоху. Наглая эта эмблема, прорвавшаяся даже за ворота, которые защищали авеню Ван-Дейка от случайных вторжений города, царила над всей улицей, над кустами парка Монсо, над его лужайками, над его деревьями, над мощными кронами древних ветеранов, еще современников Филиппа-Эгалитэ, первого их владельца. Агнесса прекрасно знала, что флаг со свастикой водружен над всем Парижем, что им заклеены куда более чтимые и безупречные архитектурные ансамбли, но особняк под номером шесть стоял напротив их дома, это он был предметом ее ребяческих мечтаний, когда в дождливые дни она глядела на него из окна детской; ей говорили, что это была иностранная резиденция,



здесь и вправду жил какой-то восточный принц, и Агнесса-девочка завистливо и зачарованно старалась разглядеть через освещенные, вдруг распахнувшиеся в весеннюю ночь окна шумное празднество, оркестр, бесконечную вереницу диковинных гостей.

Взгляд Агнессы от флага скользнул к немецкому солдату, стоявшему на часах у реквизированного особняка, о чем ей еще вчера ночью сообщил Валентин. Часовой в каске и с автоматом на плече шагал взад и вперед вдоль кустов бирючины, росших за оградой дома номер шесть; он доходил до ворот, ведущих на детскую площадку парка Монсо, и иногда под ноги ему подкатывался резиновый мячик.

Агнесса вошла в парк и, держась подальше от этого часового, от этого флага, сразу взяла влево, к аллее, шедшей вдоль особняка Буссарделей. По совету тетки она направилась к станции метро Виллье, откуда можно было попасть в центр. Старая тетушка нарочно перечислила племяннице все те сюрпризы, которые встретятся ей на пути, чтобы та не вздумала удивляться на каждом шагу. Долина Монсо оставалась по-прежнему микрокосмосом Буссарделей, а парк Монсо среди оккупированного города — полем постоянных наблюдений тети Эммы.

И все же Агнесса узнавала свой парк, хотя цветов на клумбах не было, а с цоколей сняли статуи. Произошло это совсем недавно.

— Все бронзовое они увезли, — сообщила тетя Эмма. — Сколько ни ходи по нашему кварталу, остались только Александр Дюма и Густав Доре. А если дойдешь до Елисейских полей, то там обнаружишь только Клемансо, не помню чьей работы.

— А как же немцы ухитрились? — спросила Агнесса, стараясь представить себе эту сцену. — Снимали статуи ночью?

— Но это вовсе не немцы, кисанька! Официально снимали французы. «Французская служба по переработке металла» — вот как она зовется. Ох, оккупация благоприятствует расцвету чудесных профессий и прелестных должностей, как ты сама сможешь убедиться.

На полпути к ротонде Шартр Агнесса заметила среди широкой лужайки длинные рвы, скрытые под газоном, засыпанным опавшими листьями. Была суббота. В белесом свете дня молодежь, сливки лица Карно или св. Марии, собралась на открытом воздухе в нескольких шагах от укрытий; сдвинув кружком стулья, они ораторствовали, готовые, однако, нырнуть под землю



при первом же вое сирены, при первом же отдаленном сигнале противовоздушной обороны. Агнесса вспомнила о Жильберте и Манюэле, которые никогда не заглядывают в Латинский квартал; здесь она увидела хорошо знакомую ей буржуазную молодежь, противницу любого риска, не желавшую переносить бедствия своего времени и взявшую себе девизом: «Мы здесь ни при чем, это нас не касается!» Но еще мучительнее сжалось ее сердце, когда слева, по ту сторону высокой ограды, она заметила изгоев, о которых ей тоже рассказывала тетя Эмма: еврейских матерей с желтой звездой на груди; вот уже три месяца им было запрещено появляться в общественных парках, и они приводили сюда, на бульвар Курсель, детишек, чтобы те хотя бы поиграли поблизости от парка Монсо, откуда до них через решетку долетало свежее дыхание ветерка, отдаленные взрывы смеха, где ласкала глаз пышная зелень.

Пройдя из парка по авеню Веласкеса, она вышла на бульвар Мальзерб уже совсем в ином настроении духа. В метро она не спустилась, миновала станцию Виллье, свернула направо, бросила в почтовый ящик две межзональные открытки — одну в Пор-Кро, а другую в Кань, причем тут же подумала, что, пожалуй, сама приедет раньше, чем они дойдут, — потом оглядела бульвар, полого уходящий вдаль. Широкая пустынная мостовая, тротуары без обычной парижской толпы, полное отсутствие машин, ни одного такси на стоянках — все это придавало бульвару Мальзерб неожиданно огромные размеры, открывая глазу такую необъятную перспективу, какой Агнессе никогда не приходилось видеть. Если не считать единственного раза в детстве, когда во время каникул они направлялись из одного поместья в другое и им пришлось пересечь Париж, необитаемый, незнакомый Париж, затихший августовский город — до сих пор еще ей не забылась эта картина.

До встречи с тетей Эммой Агнесса в сущности была свободна, она намеревалась лишь зайти для несложной консультации к адвокату, которому не захотела предварительно звонить с авеню Ван-Дейка, предпочитая явиться наудачу. Она остановилась на углу улицы Монсо и повернулась лицом к сердцу Парижа, которое притягивало ее к себе. И она подумала, что, просидев двое суток в особняке Буссарделей под самыми благовидными и разумными предложениями, не старалась ли она, в сущности даже не отдавая себе в том отчета, отдалить свою первую встречу с оккупированным городом. Только в этот миг осознала она



всю глубину своей любви к Парижу, глубокой, врожденной любви, и вспомнила, что уже шесть поколений ее родных имеют право именоваться парижанами. Возвратившись из Соединенных Штатов, Агнесса вновь соединила свою судьбу с жизнью Парижа, ощущая ее как естественное свое бытие, прерванное силою обстоятельств на определенный срок; впрочем, тогда до ее сознания не сразу дошла эта истина, и не сразу она осознала свою отчужденность; тогда она не сразу поняла, что Париж — это ее родина, которая куда милее ее сердцу, крепче приросла к ее плоти, к ее ладоням, к ее стопам, чем та, большая, общая для всех французов. Она почувствовала это лишь сегодня: глядя на обезлюдивший бульвар, весь в ржавчине осени, весь во власти зловещих чар, Агнесса поняла, что она парижанка, как другие бывают верующими, и что в течение двух лет на своем огражденном от бурь острове она тосковала по Парижу более, чем по своей семье. Ей рассказывали историю одного далекого предка, родившегося при Людовике XVI — некоего Флорана Буссарделя, который, как утверждали, заложил основы семейного благосостояния, разбогатев на спекуляциях с земельными участками долины Монсо; про него говорили: «Его страстью были не деньги, не земли, а Париж». И она настоящая праправнучка этого человека. Она настоящая Буссардель в том, что есть у них хорошего. Незнакомое доселе волнение охватило ее, пронзило посреди застывшего в неподвижности Парижа, и она ощутила себя верным детищем этого города, ставшего ей матерью, города, из лона которого она вышла, с которым была и будет связана навеки и который был сейчас городом-страдальцем.

Агнесса двинулась в путь. Шла она размеренным шагом, как на прогулке. Уходя из дому, она надела туфли на мягкой каучуковой подошве; на мысе Байю она бегала в сандалиях, и ее кожаные туфли сохранились еще с тех времен, когда их можно было свободно купить в магазине; теперь она вдруг заметила, что ступает бесшумно, и странными казались ее неслышные шаги по асфальту, — встречные женщины громко барабанили деревянными подошвами; и это стаккато, заполнившее весь город после возвращения тех, кто бежал в первые дни, стало привычным шумом парижских улиц, где уже не урчали автомобили. «У меня вид выскочки, — подумала Агнесса, — чего доброго, решат, что я купила туфли на черном рынке». Ее костюм из твида привлекал всеобщее внимание, и по всему видно было, что



живет она в привилегированных условиях. Одним словом, сразу чувствовалось, что она из «неоков».

Стараясь не думать об этом, она жадно оглядывалась вокруг. У магазинов, которые открывались теперь не раньше часа, а то и двух часов дня, уже выстраивались очереди. На железных жалюзи одного из магазинов был аккуратно приклеен большой лист бумаги с какой-то надписью. Агнесса остановилась прочесть объявление. «Джон,— гласила надпись и в скобках была обозначена фамилия, Жан Дюпюи,— дабы прохожие не усомнились в национальности автора,— военнопленный, обращается к своим уважаемым покупателям, к своим уважаемым соседям и надеется, что, вернувшись, он найдет помещение незанятым и в хорошем состоянии». Агнесса откинула голову и прочла на вывеске: Джон, портной. Она снова двинулась в путь, смотря куда-то вдаль в направлении Сент-Огюстен. И она увидела, как в дальнем конце бульвара появился удивительный экипаж, ехавший по середине мостовой и медленно направлявшийся к ней. К седлу велосипеда, на котором ехал молодой человек спортивной выправки, было прицеплено низенькое сиденье на двух колесах. Все это сооружение напоминало туристскую машину с прицепом, какой-то дьявольский багажник-фургон, детскую колясочку, и в ней, гордо вскинув голову, восседала дама в вызывающем туалете, в шляпке, напоминавшей перевернутый вверх дном цветочный горшок, густо намазанная, прижимавшая к груди белую курчавую собачонку. Велосипедист, выбиваясь из сил, влек свой живой груз, и машина на подъеме вихляла из стороны в сторону. Тетка еще не успела сообщить племяннице о существовании подобных экипажей, и Агнесса, остановившись, проводила глазами это первое увиденное ею велотакси.

По мере приближения к центру немцы попадались все чаще. На площади Сент-Огюстен расположился целый парк машин, расставленных веером вдоль тротуара перед Военным клубом, где после эсэсовцев водворился вермахт; стоявший у дверей часовой каждый раз брал на караул, когда в помещение входил или выходил офицер в серо-зеленой форме. На подходах к вокзалу Сен-Лазар все уже кишело немцами, а перед отелем «Терминюс», где некогда Агнесса встретила с Норманом, всего на одну-единственную ночь, они стояли группами, громко переговариваясь и шелкая каблуками. Агнесса еще не научилась смотреть на них «не видя», как выражались в ту пору и как говорили сами немцы, жалуясь на французов. И она отметила про себя,



насколько те немцы, которые находились в Париже, красивее, выше, лучше сложены, чем те, которых она встречала в Мулене. Очевидно, в столицу посылались отборные экземпляры.

Она прошла мимо. При виде немцев что-то в ней перевернулось, и весь дальнейший путь она чувствовала себя не так скованно, гораздо свободнее. Она посетила адвоката, который дал ей нужный совет. Когда она вышла из конторы, до назначенной встречи еще оставалось время, и Агнесса решила просто так, без всякой цели, побродить по улицам и бульварам, не особенно удаляясь от линии метро, которая вела к центру. Ей хотелось видеть, видеть побольше, насытить до отказа свои глаза Парижем.

Но город уже наполовину умер. То немногое, что в нем уцелело, возможно, пробуждалось к жизни в церквях, в библиотеках, в концертных и театральных залах. Горячее дыхание уже не проносилось по городским артериям, и даже сами дома изменили свой облик — незрячие по вечерам, а днем подслеповатые, выглядывали они сквозь рваные шторы, сквозь щели, заделанные грязной бумагой. Вокруг Агнессы сгущался полумрак, и на улицах множились бесконечно длинные очереди. Они были повсюду, и это людское стадо, согнанное сюда голодом и нашествием врага, оцепеневшее в неподвижности, словно настигнутое карой, особенно красноречиво говорило о несчастиях, сразивших город. Словно вновь на столицу, как в средние века, обрушился бич божий, вновь она была отдана в рабство, как в минувшие времена. Когда два-три человека наконец переступали вождеденный порог магазина, всей очереди от звена к звену передавалось перистальтическое движение, движение пресмыкающихся, а к хвосту ее все время прилипали маленькие группки. Каждый вплоть до нового шевеления застывал на месте, и, так как очередь особенно росла к концу трудового дня, по большинству лиц и по большинству спин чувствовалось, что это многочасовое стояние все же служит разрядкой, отдохновением, что люди поддались успокоительной каждодневной рутине, близки к состоянию дремоты.

Душа словно оставила этот город. На поверхности об этом свидетельствовали улицы, где не было движения, где все живое лепилось к стенам, искало щели, чтобы туда забиться. Под землей, когда Агнесса спустилась наконец в метро, она увидела короткие составы поездов, проезжавшие мимо бездействующих станций, замедлявшие ход возле мертвых перронов, и ни разу



не оправдалась ее надежда, что они здесь остановятся. Проклятие оцепенения, от которого задыхался Париж, как от предгрозовой духоты, просачивалось в недра, проникало под земную кору. Но в сердце Агнессы охватившее ее поначалу отчаяние сменилось горькой усладой. Она не жалела, что увидела все это, испытала, приобщилась к этому. Еще не протекло сорока восьми часов с тех пор, как она пересекла демаркационную линию, а она уже не могла не думать о парижанах, оставшихся в неоккупированной зоне, как о дезертирах, окопавшихся в довольстве и нейтральности. Пусть они твердят об изгнании, кичатся своим неприятием, которое ничего не доказывает или ничего не стоит; по крайней мере, она вынесла твердое убеждение, что тем, кто не знал оккупированного Парижа, всегда будет чего-то не хватать, чтобы иметь право именоваться настоящими парижанами, а быть может, и настоящими французами. Когда Агнесса добралась до меховщика, она уже отнюдь не считала себя «неоком».

Пройдя в широкие двери помещения в нижнем этаже, она на мгновение остановилась. Перед ней было типичное парижское заведение, атмосфера изысканной роскоши, так много говорившая ее памяти. Фирма, основанная тоже не меньше двух веков тому назад, снабжала Буссарделей мехами и с незапамятных времен брала их на хранение. В бывшее отделение этой фирмы на улице Риволи Агнесса еще ребенком ходила с матерью, теткой, даже с бабусей; на улице Ля Боэси она в свой час заказала себе первое меховое манто.

Но когда Агнесса сделала еще шаг вперед, все воспоминания разом испарились. До ее слуха долетели громкие возгласы, грозные раскаты яростной ссоры, вполне в духе сегодняшнего дня. Агнессе показалось, что она узнает тетин голос, и она ускорила шаг. И в самом деле, в глубине холла, в полукруглом зале ожидания, заставленного прилавками, тетя Эмма одна отбивалась от многочисленных служащих.

— Ах, это ты, кисанька! — воскликнула она, заметив Агнессу. — Весьма кстати.

— Что тут такое происходит, тетя Эмма?

— Сударыни, — обратился к ним какой-то мужчина, очевидно игравший роль посредника. — Сударыни, прошу вас, соблаговолите зайти в мой кабинет.

— Ни за что на свете, — отрезала тетя Эмма. — Такие дела



должны делаться при всем народе. И хотите вы того или нет, вам придется выслушать горькую истину.

Агнесса сразу увидела, что тетя Эмма находится в форме, что она пылает священным гневом: глаза у нее блестели, и она стучала зонтиком по ковру. Присутствие клиентов, молча наблюдавших за этой сценой, ничуть ее не смущало, напротив, и Агнесса по опыту знала, что в такие минуты бесполезно пытаться утихомирить тетку.

— Объясни хоть по крайней мере, о чем идет речь, тетя Эмма!

— Речь идет о моих мехах и о мехах твоей мамы! Я отдала их сюда в холодильник, как проделывала каждое лето с сотворения мира, а мне их не отдают, пока я им не представлю письменное доказательство, что мы не евреи.

— Как? Как? — переспросила Агнесса.

— Вы слышите, уважаемый! Моя племянница, здесь присутствующая, поверьте мне, особа весьма умная.— Тетя Эмма великодушно расточала лестные эпитеты по адресу своей союзницы.— Так вот, моя племянница ушам своим не верит.

Начальник отделения обернулся к Агнессе.

— Это чистая формальность, мадам!

— Это злоупотребление доверием, мсье! — воскликнула тетя Эмма.— Когда я вам по собственному желанию доверила свои меха, предупредили ли вы меня, что я имею право получить их обратно лишь в том случае, если докажу свое арийское происхождение? Нет, если не ошибаюсь! И еще позавчера, когда я вам звонила и сказала, что приду, чтобы из вашего холодильника вынули меха, вы разве сказали мне, что придется заполнять анкету? Тоже нет. Значит, вы расставили мне ловушку. С твердым намерением лишить меня моего имущества, если я... Впрочем...— добавила она, повысив голос, не давая служащему даже рта открыть,— это не только злоупотребление доверием, но и превышение власти! Разве вы состоите в Главном комиссариате по еврейским делам? Нет? Очень за вас рада... В таком случае вы не вправе допытываться у меня, еврейка я или нет. А может быть, я еврейка,— завопила она, наступая на своего собеседника, угрожающе подняв зонтик.— И моя невестка, от имени которой я требую ее прекрасных соболей, может, тоже еврейка. И моя племянница, которую вы здесь видите, может, тоже еврейка. Только это дело не ваше. Если в один прекрасный день оккупационные власти спросят меня об этом и явятся



ко мне домой, чего они еще не делали, может быть, им я отвечу. Но вам, уважаемый, никогда!

Она замолчала, чтобы отдышаться для новой схватки, но сотрудница фирмы, очевидно из старших, приблизилась к своему начальнику и показала ему карточки.

— Мадемуазель Буссардель? — осведомился он, вскинув глаза на свою сердитую клиентку. — Шуба из выдры, а другая каракулевая?

— Совершенно верно, однако не советую вам доверяться фамилиям! — отрезала тетя Эмма, взглянув на племянницу и едва удерживаясь от смеха при одной мысли, что Буссардель может быть еврейской фамилией. — И не доверяйте нашей внешности! Правда, тип у нас не еврейский, но это еще ничего не доказывает.

— Я хочу вам только сказать, — терпеливо продолжал начальник, понимая, что неприятный инцидент исчерпан, — поскольку теперь ваша личность установлена, впрочем, мне следовало бы раньше удостовериться, что вы не... прошу принять мои извинения.

— Можете оставить их при себе: не об этом речь.

— Но поверьте, если бы я знал, с кем имею дело...

— Не надейтесь подкупить меня лестью. Я защищаю свои права как клиентка, и точка. Как первая встречная, как одна из этих особ, которые нас слушают.

— Но, мадемуазель, поскольку вас все это не касается, не откажите в любезности сообщить мне хотя бы на словах, для проформы...

Старая девица Буссардель даже ногой топнула,

— Хватит, мой друг! Ни за что на свете я не заполню ваших анкет и на словах ничего не сообщу! Если теперь требуется предъявлять документы о своем гражданском состоянии, а заодно и справку о том, что ходишь к исповеди, каждому меховщику, то это уже не просто оккупация, это значит, что весь свет перевернулся!.. Стало быть, вы отказываетесь вернуть мне мои меха по обычной квитанции? Чудесно! Через двое суток получите официальное извещение. Тогда мы увидим, кто прав, а кто виноват. Пойдем, кисанька!

Тетя Эмма круто повернулась, смерила взглядом зрителей, которые безучастно следили за этой вспышкой и покорно посторонились, давая ей дорогу. Но очутившись на улице, она тут же обратилась к Агнессе:



— Вот увидишь, не позже завтрашнего дня меха будут дома без всяких хлопот с нашей стороны. Нам их принесут без всяких анкет.

Они завернули за угол авеню Персье.

— Тетя Эмма, ты была просто великолепна.

— Смотри, что я тебе говорила?

Шагах в пятидесяти от них, в дверях мехового магазина, вдруг возник противник тети Эммы, шаря глазами вокруг себя. Заметив двух дам, он бросился к ним, чтобы сообщить без свидетелей, что шубы в их полном распоряжении.

— Очень хорошо,— отрезала старая девица.— Мы живем рядом и унесем шубы с собой.

Она подписалась под квитанцией тут же на столике у швейцара, затем надела одну шубу на костюм, а другую перекинула через руку. Агнесса последовала ее примеру. Они вышли на улицу.

— Ты идешь обратно, тетя Эмма? — удивилась Агнесса, заметив, что тетка пошла в противоположном от дома направлении.

— Я зонтик забыла.

Дамы Буссардель снова появились в холле, сначала тетка, потом племянница, неся на сгибе руки свои меха, и торжественно проследовали от дверей до прилавка и обратно. Клиенты с любопытством оглядывались, и теперь, когда спор кончился в их пользу, хотя исход мог быть совсем иным, Агнесса с трудом хранила серьезность, следуя в фарватере победительницы-тетки. Когда они вновь очутились на улице, Агнесса спросила:

— Тетя Эмма, скажи, ты ведь нарочно зонтик оставила?

— Ну, конечно же, дурочка.

Победа тети Эммы была столь полной, что ее возбуждение быстро сникло, подобно тому как разом оседает кипящее молоко, когда под кастрюлей выключают газ. Они теперь замедлили шаг, так как несли шубы, да и авеню Мессины шло на подъем. Когда они приблизились к парку Монсо, до их слуха донеслось треньканье колокольчика, явственно раздавшееся в сумерках.

— Ох! — воскликнула Агнесса и даже остановилась.— Сторожа звонят...

Она улыбнулась своим воспоминаниям, далеким-далеким. Значит, не изгладился из памяти вот этот вечерний трезвон колокольчиков в парке Монсо. И в самом деле наступило



время запирают парк. Сейчас запрут ворота парка, которые Буссардели именовали «малыми» в отличие от монументальных ворот работы Давиуда, преграждавших вход на три авеню, находившиеся в частном владении.

— Пойдем лучше по улице Мурильо,— предложила тетя Эмма.— Ужасно противно проходить через парк, когда у тебя над ухом трезвонят да еще кричат: «Запирается! Запирается!»

Агнесса вдруг почувствовала, что в сердце своем она примиралась со старухой теткой. И, размышляя над советом, который ей дал адвокат относительно необходимости назначить второго опекуна ее сыну и собрать для этой цели семейный совет, она, шагая рядом с тетей Эммой, решила про себя начать подготовительную работу именно с нее. Из всей семьи оккупация больше всего пошла на пользу тете Эмме, причем именно ее метаморфоза была наиболее объяснимой и наиболее прочной. Во времена спокойствия и изобилия старая девица Буссардель отталкивала Агнессу своим ехидством, эгоизмом, ограниченностью, и понадобились поистине небывалые события, дабы в нее открылись, пусть не полностью, глаза, разум и сердце. Она нашла случай проявить себя, подобно тем людям, которые, будучи избалованы судьбой и пользуясь отменным здоровьем, начинают хныкать при малейшем насморке, скулить при малейшей житейской неприятности и вдруг, серьезно заболев, разорившись или похоронив близкого человека, сразу прекращают все жалобы и удивляют окружающих своей стойкостью.

Последние отблески заката позолотили угол авеню Гоша и улицы Курсель, и на воротах авеню Ван-Дейка заиграли знакомые блики. Тетя Эмма бросила на них взгляд и внезапно остановилась перед калиткой слева, которая вела прямо к особняку Буссарделей.

— Старая наша решетка,— произнесла она.— Если бы ты знала...

Она не закончила фразы и положила обтянутую перчаткой руку на позолоченный завиток.

— Говори, тетя Эмма. Я слушаю.

— Если бы ты знала, как в день исхода, ну, словом, когда мы покидали Париж... Целым караваном, на трех машинах. Собрали все, что только смогли: старинное серебро, бабушкины кружева, ковры, которые успели снять. Все наши драгоценности, конечно. И золото, которое взяли из банка.



Голос ее звучал теперь совсем иначе, чем всегда. За последние двое суток Агнесса уже успела подметить этот новый для тети Эммы сдержанный тон, который появлялся в разговоре без всякого перехода, как у актрисы, вдруг прерывавшей свою игру. И в эти минуты, когда тетя переставала следить за собой, когда она внутренне обмякала, она сразу как-то дряхлаела.

— И все для чего? — продолжала она. — Для того чтобы попасть в руки к немцам неделю спустя в Блотьере, в наших же краях!.. Боже мой, что это был за отъезд! На рассвете... Никто, кроме детей, не спал. Весь огромный дом, который мы покидали! Где мы все были так счастливы! — воскликнула она с увлечением, совсем забыв, что говорит это Агнессе и что не прошло еще трех лет после их разрыва и трагической смерти Ксавье. — У меня, когда мы вот так убегали, сердце разрывалось. И я думала, что мы ничего при возвращении не найдем, что камня на камне не останется: нам ведь об этом со всех сторон твердили. Я собственноручно проверила запоры и сама заперла замок на воротах. Вся семья стояла во дворе и следила за мной, и поэтому я не посмела... Но когда мы проехали под воротами, это оказалось сильнее меня. Я им крикнула, что забыла какую-то вещь. Шофер остановил, я вышла и, поверишь ли... я поцеловала металлическую решетку. Смотри, вот в этом самом месте, где сейчас моя рука.

## IX



Как и можно было предвидеть, новый подвиг тети Эммы у меховщика стал в тот же вечер главной темой разговоров у Буссарделей. Гастон и Валентин, который жил неподалеку, зашли после обеда со всеми домочадцами, и их присутствие вдохновило старушку на самый подробный рассказ, причем сопровождался он выразительной мимикой и оброс бесконечным количеством подробностей. Наконец комендантский час разогнал гостей, но, по мнению Агнессы, время было слишком позднее, чтобы начать с тетей Эммой беседу и успеть перевести разговор на сына. Как



ни хотелось ей поскорее покончить со всеми этими делами, поскорее увидаться с сынишкой, которого она впервые оставила, она боялась скомкать переговоры. Поэтому она отложила на завтра разговор с этой своей родственницей, которая, как надеялась Агнесса, могла стать ее союзницей.

А потом, сидя у себя в спальне, Агнесса подумала о тете Луизе, та уж наверняка станет ее союзницей. Хотя, к несчастью, Луиза Жанти не имела в семье ни малейшего влияния, именно она в свое время помогла распутать тайну, весь клубок тайн, окружавших трагическую гибель Ксавье. На следующее утро Агнесса направилась к тете Луизе в скромную квартиру в собственном доме, стоявшем на углу улицы Ренкэн и авеню Ваграм.

Было воскресенье, то есть выходной день для прислуги. Тетя Луиза хлопотала на кухне. Из Бретани ей прислали половину трески, и тетя готовила ее со шпинатом по какому-то сложному рецепту, так что помощь племянницы подоспела как раз вовремя. Занимаясь стряпней, женщины болтали, а когда пришел дядя Александр, все трое перешли в гостиную.

— Не придется мне больше наслаждаться своей гостиной, а я ведь так ее люблю,— вздохнула тетя Луиза, превратившая комнату в настоящий музей, забитый безделушками и дорогими сердцу вещами.— В следующем месяце надо будет ее запереть. Зимой мы топим только дядин кабинет да нашу спальню, слава богу, они смежные.

Агнесса решила приступить к делу, ради которого явилась сюда. Прежде, когда все мосты между семьей и ею были взорваны, она не меняла положения, так и остававшегося *status quo*. «Раз Буссардели не желают признавать Рено!» — говорила она, возвращая ребенку его подлинное имя. Но нынче, когда порванные связи восстановились, у нее не было больше ни повода, ни предлога продолжать эту политику выжидания. Необходимо было назначить второго опекуна, и только семейный совет мог его выбрать. Агнесса выложила все свои недавно приобретенные сведения по этому вопросу. Например, она знала, что ежегодно должна отчитываться как опекунша. И следовало также рано или поздно упорядочить дело с наследством Ксавье; понятно, не деньги тут были главным, но это наследство, невесть какое большое, и с юридической и с моральной стороны не могло достаться никому другому, кроме Рено, поскольку Ксавье женился на ней, на Агнессе, зная, что ребенок, которому он собирался дать



свое имя, не Буссардель. Ей Буссардели вновь открыли объятия: возможно, они заговорят с ней о сынишке в той или иной связи. И Агнесса вспомнила вопрос брата: «Ну как малыш?» Эти слова при желании можно было расценивать как инспирированные или как сигнал, приглашающий к дальнейшим беседам. Так или иначе она решила взять на себя инициативу.

Она выдержала паузу.

После трех дней в Париже, после стольких волнений и переживаний, выбивших ее из обычной колеи, она обрела, радуя об интересах сына, удивительную точность мысли, какую-то новую объективность. Дядя с тетей слушали внимательно. В их памяти еще была свежа драма, с которой все началось, и, естественно, они заранее насторожились. Они тоже почувствовали знакомый запах пороха.

Первым делом Агнесса спросила, упоминалось ли когда-нибудь на авеню Ван-Дейка имя Рено. Лично для нее последней вехой был разговор с Симоном за несколько часов до того, как она бежала из дома и увезла с собой умирающего Ксавье, — этот разговор как бы подвел последнюю черту. Разговор, из которого вытекало, что если Ксавье открыли тайну относительно его бесплодия, то лишь затем, чтобы заставить его отречься от ребенка; на это надеялись все время вплоть до несчастного случая и, когда уже выяснилось, что на Ксавье нельзя оказать давления, стали надеяться, что сама Агнесса откажется от мысли выдавать Рено за сына Ксавье. Тогда же она сказала Симону, чтобы они на это не рассчитывали, наконец предупредила через Симона родных, чтобы они поостереглись предпринимать какие бы то ни было шаги с целью опровергнуть отцовство Ксавье. Так обстояло дело тогда, в таком положении оно и осталось. А с тех пор — полное молчание. Целых три года молчания. В течение всего этого времени Буссардели вели себя так, словно Рено вообще не существовало на свете.

— Однако, — сказала Агнесса, — они позаботились сообщить мне о смерти дяди Теодора, и вам известно, как тепло они меня встретили. Что же это означает? Изменились ли чувства семьи в отношении ребенка, как изменились они в отношении меня? Известно ли вам что-либо по этому поводу?

Дядя с тетей отрицательно покачали головой, оба разом и с таким убежденным видом, что Агнесса сразу поняла: старики сами не раз задумывались над этим вопросом.



— Значит, тетя Эмма никогда не говорила о Рено? — настаивала Агнесса.

— Никогда, детка. Ничего не говорила.

— Однако,— продолжала Агнесса,— если Валентин спросил меня о мальчике, то не по собственной же инициативе. И не без задней мысли.

— Конечно,— подтвердил дядя Александр.— Твои родители, Эмма и Валентин, конечно, не раз об этом между собой говорили. Но с кем, с кем, а с нами они откровенничать не будут. Если ты еще не поняла сама, Агнесса, разреши тебе сказать: на авеню Ван-Дейка нам не особенно доверяют. И не только в семейных делах.

— Этого-то я и боялась. И очень об этом сожалею. В связи с другим вопросом, который я хочу вам задать. Дядя Александр, ты бы не согласился стать вторым опекуном Рено?

— От всего сердца, Агнесса,— сказал дядя Александр, а тетя Луиза от умиления даже руки к потолку воздела.— Но тебе ни за что этого не добиться.

— Ни за что, детка. Увы! Ни за что.

— Семейный совет меня просто не выберет. Но ты вот что сначала мне скажи: из кого будет состоять совет? Все эти вопросы не по моей части,— добавил с улыбкой старик архивист.

— Требуется шесть человек,— уточнила Агнесса,— три по отцовской линии, три по материнской; мать, понятно, не в счет, ее, как ты сам понимаешь, не выбирают, и кроме того, в совете не может быть супружеской пары, представляющей два голоса.

— Н-да,— протянул без особого воодушевления дядя Александр.— Что ж, единственное, что ты можешь сделать, это ввести в семейный совет кого-нибудь из нас двоих — Луизу или меня. Сопротивляться этому будет трудно, но и особого эффекта не получится. В данных обстоятельствах отцовская и материнская линии фактически перемешаны. И будем говорить откровенно: вовсе не своим ближайшим родственникам ты доверяешь в первую очередь. Ты, несомненно, могла бы довериться мне, но я знаю, какие тебя ждут трудности. Никогда тебе не добиться, чтобы меня назначили опекуном.

— Но для того чтобы отвести твою кандидатуру, им придется выдвинуть достаточно веский в моих глазах предлог.

— Тебе скажут: при теперешних обстоятельствах требуется кто-нибудь иной... словом, такой человек, который не мог бы скомпрометировать ни тебя, ни ребенка. И я ничего им не смогу



на это возразить,—заклучил он, взглянув прямо в глаза Агнессе.

Наступило молчание. Агнесса кивнула и решительно остановила дядю движением руки: не надо больше ни о чем говорить, она все и так понимает.

Она поднялась: ее ждали на авеню Ван-Дейка.

— Ну? Кого же ты будешь просить? — осведомился дядя Александр.

— В качестве опекуна? Сама не знаю. Главное затруднение в том, что нужен именно мужчина. Иначе, думаю, я остановила бы свой выбор на тете Эмме. Это вас удивляет?

— Ничуть,—ответил дядя Александр.— С Эммой по крайней мере знаешь, к чему она клонит. Она редко хитрит, а когда хитрит, то это сразу видно. Я наблюдаю за ней с первых дней оккупации и считаю, что она немного паясничает, но зато, должен сказать, ничего не боится.

— Вот это верно! — восторженно подхватила тетя Луиза.— Эмму не сломишь!..

— Конечно, я могла бы просто уехать, не подымая этого вопроса. Ну, хватит, я и так вам надоела с моими не такими уж важными проблемами.

— Как тебе только не стыдно так говорить, детка!

Протестующие и ласковые выкрики старой супружеской пары сопровождали Агнессу по всей лестнице.

Весь остаток дня Агнесса провела в семье. В воскресенье после обеда Эмма принимала у себя в расширенном составе Буссарделей, из-за тяжелых времен дамам полагалось всего по чашке чая или какого-нибудь его заменителя, а мужчинам перепало порой по стаканчику вувре, доставлявшегося из Блотьера. Вечерами обычные участники малого семейного обеда, слишком многочисленные, чтобы авеню Ван-Дейка могло позволить себе роскошь еженедельных трапез такого размаха, пообедав у себя, приходили к девяти часам; те, что помоложе, сидели играть в бридж, старики беседовали, так было и в это воскресенье. Поскольку семейные сборища отличались простотой, не было никаких оснований отменять очередную встречу из-за траура.

Но в понедельник, встав из-за завтрака, Агнесса постаралась остаться с тетей Эммой наедине в саду. Погода стояла мягкая, и грех было сидеть дома. Агнесса попросила показать ей птичий двор, устроенный попечениями тетки, а также огород,



заменивший прежние газоны и цветники. Тетя Эмма, подобно многим коренным парижанкам, считала себя специалисткой по сельскому хозяйству и особенно расхваливала почву парка Монсо, очень древнюю по сравнению с городскими землями, а главное, не знавшую того, что тетя именovala «подземными помехами», всех этих кабелей, трубопроводов, канализационных труб, каких-то рельсов.

— Возьми хотя бы удобрения, которых у меня нет. В магазинах теперь не торгуют химикалиями, садовники парка отказались дать мне компост, и, если после лошади случайно останется по соседству кучка навоза, ты думаешь так легко послать за ним кого-нибудь из слуг? Как бы не так, можешь твердить им сотни раз, и все зря. Как-то на улице Альфреда де Виньи лежал великолепный навоз, так вот мне самой пришлось отправиться за ним с метелочкой и лопатой. По нынешним временам навоз да это же золото! А слуги никак этого в толк не возьмут.

— Да и вообще иметь сад — это счастье! Не только для разведения овощей, тетя Эмма, но чтобы просто посидеть, подышать свежим воздухом, не выходя на улицу. И не встречаясь с немцами.

— Ага! А что я вечно твержу твоим папе с мамой? Но не воображай, пожалуйста, что мы имеем право всегда пользоваться садом; когда у нас в качестве репрессий за покушения вводится комендантский час с шести часов или когда нам запрещают выходить с субботы до понедельника, даже во двор выглянуть нельзя. Нас держат на запоре. Даже на балконе появляться запрещено.

— Давай посидим на лавочке, тетя Эмма. Я хочу тебе показать кое-что. Только тебе одной.

— Ах, вот как? А что именно, кисанька?

Они уселись на скамейку. Столетняя сикомора, вековавшая в той части парка Монсо, что примыкала к саду Буссарделей, тянула к ним свои ветви, окрашенные октябрём в бурый цвет. Агнесса осторожно открыла портфельчик, где лежали ее бумаги и который она нарочно захватила, отправившись гулять с тетей Эммой.

— Что это такое? — снова спросила старая девица.

Но бросив взгляд на фотографический снимок, который ей протянула Агнесса, она подняла к племяннице искаженное лицо и робко на нее поглядела. Потом снова перевела взгляд на карточку, отставив ее от себя на расстояние вытянутой руки.



— Я что-то плохо вижу, зрение слабеет,— произнесла она просто, тоном дамы очень преклонных лет, но не повторила своего вопроса.

— А где твои очки? — осведомилась Агнесса.

— В сумочке. А сумочка висит на ручке моего кресла. В гостиной.

Агнесса взбежала на крыльцо, и ей показалось, что на втором этаже в комнате матери оконная занавеска еще шевелилась, как будто ее только что опустили, но Агнесса не придавала этому значения.

— Боже мой,— охнула тетя Эмма, водрузив очки на нос и узнав на снимке могилу.— Могила Ксавье...

— Да, тетя Эмма...

— Боже мой, вот уж не ожидала.

— Значит, не надо было показывать тебе эту карточку?

— Нет, нет! — запротестовала крестная мать Ксавье.— Я часто пытаюсь вспомнить! Так часто возвращаюсь туда. Мысленно. А теперь и вовсе запрещено ехать куда хочется.

В течение всей своей жизни тетя Эмма, владелица мыса Байю, доставшегося ей от покойной матери и подаренного затем крестнику Ксавье, посетила свое поместье всего раз пять-шесть, так как не выносила морских путешествий, даже самых коротких. Но через месяц после смерти Ксавье она прибыла в Пор-Кро и возложила на могилу бисерный венок потихоньку от Агнессы. Через одиннадцать месяцев, в годовщину смерти, уже в дни «странной войны», она снова пустилась в путь и снова возложила венок.

— А у тебя нет других снимков кладбища?... Спасибо... Прелестное местечко! Отсюда даже море видно.

— Да. Это очень старинное матросское кладбище. Заброшенное. Теперь там больше не хоронят. Для меня сделали исключение. Потому что речь шла о тамошнем землевладельце. И потом Ксавье очень любили... Вот видишь, на этой фотографии твой последний венок, а вот на этой — нынешнего года. Их возлагают очень аккуратно, тетя Эмма. В каждую годовщину смерти.

— Ах так? Мне это очень приятно. Обязательно пошлю межзональную открытку в Гиерское агентство и поблагодарю их... Подержи-ка, пожалуйста, снимок.

Тетя Эмма сняла очки и утерла слезы.



— Дай мне их, детка. Мне хотелось бы на них еще раз поглядеть.

— Они специально для тебя сделаны, тетя Эмма. Возьми их совсем.

— Правда? Как это мило с твоей стороны! Никогда бы я не осмелилась их у тебя попросить.

Тетя убрала снимки в сумочку, но украдкой бросила взгляд на фотографии, которые Агнесса держала в руках.

— Ты мне их все показала? У тебя в руках копии?

— Нет,— ответила Агнесса, не выпуская из рук карточек.— Это другие, но тут снята не только могила.

Старая девица взглянула на племянницу с непонимающим видом, а возможно, просто притворилась, что не понимает, и Агнесса молча протянула ей следующий снимок. Тетя Эмма увидела маленького мальчика, возлагавшего на могилу цветы. Она сразу догадалась, кто это, но не могла сдержать восклицания.

— О! Какой прелестный мальчик!

И удивленно замолчала, словно он непременно должен был быть иным, и по ее представлению было бы вполне естественно, если бы незаконный сын Агнессы именно в силу своего происхождения получился бы кривобоким или уродливым. Тогда как красота и здоровье Рокки как раз достались ему в наследство от его незаконного отца.

Агнесса вручила тете все недавние снимки мальчика, с которыми никогда не расставалась, и тетя по-настоящему расчувствовалась.

— Но мы уже совсем взрослые! — говорила она и даже пришепетывать начала, блаженно улыбаясь, как улыбаются только бабушки.— Настоящий мужчина! Смотрите-ка, какие мы пряменькие!.. А он хорошо развит для своих лет? — спросила она неожиданно серьезным тоном.

— Представь, говорить он начал довольно поздно, но я его не понуждала. И хорошо сделала: он быстро наверстал упущенное. Теперь он уже легко строит фразы.

— Такой крошка! — пробормотала тетя Эмма, погружившись в созерцание фотографий, которое грозило никогда не кончиться.

В эту минуту раздался голос Мари Буссардель:

— Агнесса, ты в саду?

— Да, мама. В саду. С тетей Эммой.



— Сейчас я приду.

Тетя Эмма поспешно отдала племяннице карточки. К ним подошла Мари Буссардель. Она хотела, чтобы Агнесса ей помогла. Два раза в году, объяснила мать, весной и осенью, она просматривает одежду Симона. Костюмы и пальто пленного необходимо держать в порядке, а это нелегко, так как нет ни нафталина, ни камфары, ни перца. Однако Мари Буссардель неукоснительно выполняла все требуемые процедуры, никому она не доверила бы хранение и заботу о роскошном гардеробе сына, и Агнесса поняла, что для несчастной женщины важнее всего не просто сохранять все эти вещи, а почаще перебирать, трогать их, обманывая этим фетишизмом самое себя, боль своего материнского сердца.

— Я быстрее справляюсь с делом, когда мне кто-нибудь помогает,— объяснила Мари Буссардель.— Это довольно утомительно. У Жанны-Симон и так много возни с четырьмя ребятами, поэтому она отдала мне ключ от чемоданов и гардеробов. А горничная... ты сама понимаешь, что в таких делах мне неприятно пользоваться трудом прислуги. Поскольку ты находишься в Париже как раз во время очередной уборки, не поможешь ли ты мне немного?

— Конечно, помогу,— охотно согласилась Агнесса. Мать обратилась к ней с просьбой сразу же после того, как тетя Эмма умилилась, глядя на снимки, и Агнессу в свою очередь тронули слова матери.— А когда? Сейчас?

— Да. Ты свободна?

— Особых дел у меня нет, мама, и во всяком случае...

— Чудесно. Спасибо тебе. Я сейчас пойду возьму все необходимое. Надену шляпу, а ты подожди меня в передней.

«Она хочет со мной поговорить,— решила Агнесса.— Хочет поговорить со мной о намерениях семьи в отношении Рено. А помощь — это только предлог».

Тетя Эмма проводила обеих женщин до калитки.

— Поцелуй меня, детка,— сказала она Агнессе и шепнула ей а ухо: — Но пусть все это останется между нами.

Мать и дочь пошли пешком на площадь Мальзерб. Агнесса несла захваченные матерью вещи и несколько раз ловила себя на том, что хочет поддержать мать под руку, ибо Мари Буссардель, утратившая свою тучность, но не утратившая своей неуклюжести, казалось, еле передвигала ноги.



Когда они добрались до особняка Симона, им сказали, что Жанна повела в Булонский лес двух младших детей, и дамы Буссардель поднялись в гардеробную комнату отсутствующего хозяина дома. Маленькая комнатка сообщалась с спальней и ванной; вдоль стен шли шкафы для одежды. Мать устремилась к ним, открыла дверцы. Костюмы военнопленного безжизненно висели на плечиках рядами, неподвластные времени. Агнесса с первого же взгляда убедилась, что туалеты брата находятся в образцовом порядке и не требуют ни чистки, ни сушки. Значит, она не обманулась насчет характера забот матери. Странный полусвет, к которому Агнесса успела привыкнуть, царил в комнатухе. Оконные стекла были густо замазаны синей краской. Но не из-за затемнения, пояснила Мари Буссардель, которая своими собственными руками закрасила их еще в первое лето оккупации, а из-за моли, которая не выносит синего цвета. Утрата чувства меры во всех этих хлопотах, равно как неестественно блестящие глаза матери показывали, до какого почти бредового неистовства доходила ее любовь к Симону.

И когда под руководством матери Агнесса начала снимать с плечиков, вытаскивать из шкафов и раскладывать один за другим костюмы Симона, удалять из рукавов, из штанин комки газеты, которые были подложены, чтобы предохранить их от порчи, она вдруг почувствовала себя во власти неописуемого смутения. Открыли ставни, выходившие во двор, где зеленели деревья, и все-таки свет, проходя через синие стекла, по-вечернему меркнул, достигнув противоположного угла, и мысли Агнессы тоже менялись сообразно этому освещению. Среди смешанных запахов закупоренного помещения, одежды, старых газет и пучков коровяка, знаменитой «травы против моли», которую Мари привезла из своей последней экспедиции в Блотьер, Агнесса различила еще какой-то незнакомый запах, запах полутления. Всякий раз, когда она вынимала костюм, ее обдавало затхлым духом, от которого мутило рассудок, и без того усыпленный монотонностью движений. Уже не первый раз она отдавала себе отчет в том, что связывало ее, помимо воли, со старшим братом, ощущала черты сходства, сближавшие их, черты, которые она сама нередко подмечала, причем чаще всего это случалось в разгар очередной родственной распри.

Агнесса узнавала большинство вещей брата, проходивших сейчас через ее руки: черный смокинг и смокинг синий для больших семейных обедов, фрак — словом, все то, что обычно



надевалось в дни «больших тарарамов», как говорили на авеню Ван-Дейка; дорожное пальто, в котором Симон приезжал ее встречать в Гавр, когда она вернулась из Америки, и даже костюм для гольфа, который он себе сшил, намереваясь завоевать кубок в Сен-Клу в тридцать седьмом, и Агнесса заменяла ему партнеров,— все было на месте, ибо страстная мать отказывалась произвести отбор среди вещей сына и не позволяла никому ничего отдавать, даже когда собирали одежду для пострадавших от войны беженцев.

— Жанна твердит, что к тому времени, когда Симон вернется, все это уже выйдет из моды,— сказала мать, ожесточенно орудуя щеткой.— Но что мне мода! Одного я хочу, чтобы, вернувшись, Симон застал все в таком виде, в каком оставил перед отъездом. Вот мы и стараемся все сберечь, забота невелика. Но я уверена, что ты меня поймешь.

— Да... да...— ответила сестра пленного, ошалевшая, доведенная чуть ли не до тошноты возней с бранным тряпьем в этом одежном морге.— Конечно, я тебя понимаю...

И, взглянув при этих словах на мать, которая чуть не валилась с ног, Агнесса подумала: «Если она сейчас заговорит со мной о мальчике, я даже не смогу достойно поддержать беседу».

Но Мари Буссардель говорила лишь об одном Симоне, о выпавших на его долю испытаниях, прошлых и нынешних. Рассказала, при каких обстоятельствах он попал в плен, в сущности, пожертвовал собой, не пожелав покинуть своих людей, хотя у него была легковая машина и он вполне мог бы бросить свою часть по примеру всех прочих. Узнала она об этом не из писем Симона, но со слов одного из его товарищей по лагерю, которого репатриировали, как тяжелораненого, и Мари Буссардель специально ездила с ним повидаться в госпиталь в свободную зону. Ах, кстати, она даст адрес этого офицера Агнессе, чтобы та могла посылать ему посылки. Агнесса обещала, но не так-то легко оказалось остановить поток материнского красноречия. Мать знала мельчайшие подробности о лагере Симона. Лагерь находится в Кольдице, в Саксонии, там, слава богу, не такой влажный климат, как в Любеке, где их сначала содержали. Но, увы, с некоторых пор от Симона приходят очень мрачные письма, очевидно, он пал духом. И она, мать, ничем не может ему помочь! А власти, которые могут, ровно ничего не делают, со вздохом добавила она, потому что единственной темой



ее разговоров были страдания сына, только его одного и видела она среди густого народонаселения лагерей.

— Он в плену вот уже целых двадцать восемь, целых двадцать восемь месяцев, представляешь себе, Агнесса. Скоро будет два с половиной года этого существования, где все организовано для того, чтобы методически, постепенно лишить его активности, инициативы, возможности самому обо всем судить, для того, чтобы обезличить его. Я уже не говорю об ужасных условиях, в которых его насильно держат: подстилка вместо постели, пища, которую собаки не станут есть... да, да, я знаю, что говорю... А холод: ведь в Саксонии ужасно холодно! Варварское отсутствие малейшего комфорта, и это он, он, который так любил удобства и уют, вынужден жить в таких условиях! — заключила она, выразив словами ту самую мысль, которая первой пришла в голову Агнессе, когда новость о том, что Симон в плену, стала ей известна на мысе Байю, и общность мыслей с матерью взволновала Агнессу.

— Отсутствие гигиены, — продолжала мать, — отсутствие ухода во время болезни. После двадцати восьми месяцев лишения любой пустяк может привести к... Ох! — простонала она, приложив руку к сердцу, как будто ее вдруг пронзила боль, и лицо, повернутое к онемевшей Агнессе, осветилось внутренним светом, придавшим чертам ее настоящее обаяние.

— Ох! Если бы мне разрешили заменить его там!

Яростные рыдания судорожно сотрясли ее тело, как приступ кашля, голова бессильно упала на грудь, и она, сморкаясь, произнесла:

— О, если бы это было возможно!.. Я бы все, все вытерпела. Я была бы счастливее всех на свете.

Как только утихла эта жалоба, брошенная в пустоту, мать молча уставилась в угол, потом, вернувшись к действительности, вспомнила о присутствии дочери.

— А знаешь, от чего Симон особенно жестоко страдает? — продолжала она просветленным тоном, в котором звучала непоколебимая уверенность. — От того, что чувствует себя отрезанным от нас. Отрезанным от дела, от авеню Ван-Дейка, от дома, от детей, от всего, что составляет смысл его жизни. Я-то хорошо знаю Симона: прежде всего он живет для других. И вот его пересадили в этот лагерный мир, за тысячи лье от нас! Он в каждом письме пишет: «Что делается в конторе? Что делается на авеню Ван-Дейка, на площади Мальзерб?» Дает нам советы,



указания и в следующем письме справляется, выполнили мы их или нет. Он хочет... хочет уцепиться за что-нибудь. Мы-то здесь считаем себя достойными жалости, а в его глазах мы потерянный рай.

Она с трудом поднялась со стула.

— Ну ладно,— проговорила она.— Давай кончать. Возьмемся сейчас за свитеры. Ничего другого мы, к сожалению, для него сделать не можем.

С помощью Агнессы она закончила уборку скорее, чем обычно. Тем временем вернулась домой Жанна-Симон, и Мари Буссардель предложила посидеть с ней.

— А который час? — вдруг спросила Агнесса.— Уже половина шестого? А вы не знаете, в котором часу закрывают мэрию? Нашу мэрию на Лиссабонской улице. Мне надо навести там справку.

— Все зависит от того, в какой вы обратитесь отдел,— сказала Жанна-Симон и, так как Агнесса не уточнила, в какой именно, добавила:— Мэрию закрывают не раньше шести.

— Разрешите, я побегу?

— Только идите пешком по бульвару Мальзерб. Это скорее, чем на метро. Станция Мальзерб закрыта.

— Спасибо.

Агнесса вернулась домой лишь к обеду. К трапезе сошлись всего трое постоянных обитателей особняка: отец, мать и тетя Эмма.

После обеда они перешли в маленькую гостиную на втором этаже, и Агнесса сразу же, как о само собой разумеющемся, заговорила о необходимости собрать, вернее, учредить семейный совет, воспользовавшись ее кратким пребыванием в Париже. К сожалению, она не может больше задерживаться: ее ждет мыс Байю, да и зачем откладывать до следующего приезда назначение второго опекуна ее сына? Впервые с момента своего появления в родительском особняке Агнесса упомянула о Рено в присутствии отца и матери и теперь ждала, как подействуют на них эти слова. Но трое родственников молча слушали и смотрели на нее скорее выжидательно, чем удивленно; первым нарушил молчание отец Агнессы, подтвердив необходимость назначения второго опекуна и подчеркнув правомочность их теперешнего собрания.

Между четырьмя участниками этой сцены наступила минута, вообще редкая у Буссарделей и почти небывалая в истории их



взаимоотношений с Агнессой, когда никто не пытался ни лицемерить, ни скрывать что-то. Трое родичей Агнессы дали ей понять, что ждали, когда она подымет этот вопрос, а Агнесса, которая славилась среди своих юридическим неведением, дала им понять в свою очередь, что тщательно изучила данный вопрос и знает, чего хочет. Эта предварительная семейная конференция заседала в гостиной, которая в течение полувека считалась бабусиной и где в годы своей юности Агнесса десятки раз представала пред ее очи. Окна были тщательно закрыты портьерами, и, как бы в предвидении близкой зимы, все кресла уже сдвинули полукругом к печушке, которой суждено было еще несколько дней пребывать в бездействии. Агнесса подумала, что их маленькая группка, среди которой она занимала полагающееся ей место, представляет собой последнее семейное каре авеню Ван-Дейка: прочие обитатели особняка или умерли, или переехали, Симон находится в плену, а у нее, в сущности, нет в Париже иного жилья, кроме этого.

Она предложила первым делом наметить шестерых участников семейного совета, без лишних процедур и без лишних споров, из представителей отцовской и материнской линии.

— Мы тебя слушаем,— сказал отец.

Первой Агнесса назвала тетю Эмму, участие которой в совете предполагалось само собой. Потом попросила родителей самим подумать, кто из них двоих войдет в совет, и предложила дядю архивиста, если никто не будет возражать против его кандидатуры. Все вопросы были решены с небывалой легкостью. Мари Буссардель поспешила стушеваться в пользу мужа.

— По-моему, Фердинанд, ты должен войти в совет,— сказала она.— Таким образом наша контора будет представлена в совете официальным лицом, а это много удобнее.

В конце концов список членов совета был принят единогласно в следующем составе: Эмма, биржевой маклер, архивист, Валентин, из кузенов — Гастон как самый старший и Жанна-Поль как особа, компетентная во всех вопросах, поскольку она окончила Школу политических знаний. Тетя Эмма предложила немедленно известить всех кандидатов об их избрании. Телефон заработал. Общее собрание было назначено на завтра на три часа; каждый постарается освободиться к этому времени.

— Ну вот, одно дело сделано,— заключила тетя Эмма, усаживаясь перед холодной печуркой, возле которой участники совещания молча ждали завершения первого его этапа.— Таким



образом, Агнесса, как только захочет, может с миром ехать домой.

Никаких оговорок не было сделано. Ничто не позволяло сомневаться в том, что при таком составе семейного совета будет незамедлительно выбран второй опекун. С минуту участники совещания посидели в гостиной, но, так как разговор не клеился, все разошлись по своим комнатам, причем никто из присутствующих не назвал имени будущего опекуна.

На следующий день совещание началось в еще менее торжественной обстановке, чем накануне. Казалось, что по молчаливому соглашению каждый стремится свести это собрание к обычному семейному разговору. Шестеро Буссарделей, которые, таким образом, встретились в качестве членов семейного совета, настолько прижились на авеню Ван-Дейка, что каждый уселся в свое уже давно облюбованное кресло. Совещание происходило в гостиной, обставленной мебелью в стиле Людовика XV, в нижнем этаже, где кресла заранее были расставлены кружком. Так что не пришлось даже придвигаться друг к другу. Мать Агнессы, по просьбе самой Агнессы, не ушла и села напротив тети Эммы, возле камина, в уголку, который, с общего согласия, числился за ней. Отец Агнессы, тоже по просьбе дочери, вкратце изложил суть дела и тут же предложил спросить сначала мать Рено, кого она сама прочит во вторые опекуны. Затем члены совета сделают свои замечания и будут голосовать. Это предложение одобрили, и Агнесса почувствовала, что взгляды всех присутствующих обратились к ней.

— Я подумала,— начала она,— что лучше всего было бы назначить Симона.

Не воспользовавшись произведенным ее словами эффектом, ибо все удивились и растрогались, Агнесса поспешила добавить:

— Тот факт, что он в плену, не может служить препятствием. Я вчера после обеда справлялась у мирового судьи, того самого, который должен подтвердить ваше решение. Он мне ответил, что это вполне возможно и он лично знает подобные случаи. Симон, второй опекун, назначит на срок своего отсутствия заместителя, *ad hoc*<sup>1</sup>, который и будет его представлять. Но, ведь не всегда же Симон будет отсутствовать,— добавила она, повернувшись к матери.

---

<sup>1</sup> На случай (лат.).



Мари Буссардель плакала. Все единодушно подняли руки. Семейному совету нечего было больше решать. Все уже было решено. Попросили Валентина составить короткий протокол заседания; он же взял на себя переговоры с мировым судьей и все прочие формальности.

— Только давайте, пусть мама сама сообщит об этом Симону,— попросила Агнесса.

Мари Буссардель по своему обыкновению громко, по-мужски высморкалась.

— Симон будет потрясен,— проговорила она.— От радости. Это лучший способ поднять его дух. Он почувствует себя среди своих. Агнесса, я хочу сказать тебе два слова, и притом публично... Прости, но я должна. Так слушай. У нас с тобой могли быть недоразумения, несогласия, но после того, что ты сейчас сделала... Словом, если я когда-либо причинила тебе боль, я перед лицом всей семьи прошу у тебя прощения. Подойди поцелуй меня.

И хотя Агнесса заранее побаивалась этой минуты всеобщего умиления, избежать ее не удалось. Тетя Эмма велела подать портвейн.

— Ты не порицаешь мой выбор, дядя Александр? — спросила Агнесса дядю, отведя его в сторону.

— Только не объясняй мне, почему ты это сделала, это тебя одной касается,— ответил он, еле заметно улыбнувшись.— Возможно, это действительно удачный ход с твоей стороны. Во всяком случае, это вполне *fair play*<sup>1</sup>. Вот-то Луиза ахнет.

— Ты идешь отсюда прямо на улицу Ренкэн?

— Нет, у меня дела в городе. Так что раньше вечера тетя ничего не узнает.

— Тогда я ей сама позвоню.

Когда члены совета разъехались, Агнесса поднялась к себе, сняла трубку, но вместо гудка услышала вдруг голос матери, говорившей с кем-то по телефону.

— Агнесса вела себя очень мило,— говорила Мари Буссардель кому-то находившемуся на противоположном конце провода.— Нет, действительно очень мило, должна это признать. Я, впрочем, публично выразила ей свои чувства, она это вполне заслужила. В конце концов я очень рада: все получилось, как я хотела.

---

<sup>1</sup> Честная игра (англ.).



Агнесса в буквальном смысле слова бояласьдохнуть. Злой демон прежних лет мешал ей положить на место телефонную трубку.

— И значит, все прошло легко? — спросил голос Жанны-Симон.

— Еще как, гораздо легче, чем я думала! Она сама предложила Симона. Я ни слова не сказала, Фердинанд тоже. Так что мой сценарий от начала до конца прошел без нашего участия.

Х



Агнесса решила уехать в ближайшие сутки. Она достаточно хорошо знала себя и понимала, что отныне любой контакт между нею и матерью чреват опасностями. Долго себя сдерживать она не сможет, а ведь ее единственное оружие, да и то слабое, — скрывать, не показывать виду, что она подслушала признание своей давнишней неприятельницы, восторжествовавшей над дочерью. Она даже удивлялась себе, как это ей удалось овладеть собой

у телефона, тихонько повесить трубку, не помчаться тут же к матери. «Старею», — подумала Агнесса.

Только одно в ней оставалось неизменным — наивность. И самоуверенность. Она решила, что делает великодушный жест, а, по словам дяди Александра, возможно, и в самом деле удачный; она-то думала удивить семью, а поступила именно так, как от нее ждали. Если бы хоть на нее оказали давление, внушили бы ей эту мысль! Как бы не так, она сама пошла в расставленные сети, сама сдуру попала в ловушку. И самое идиотское во всей этой истории — что это так на нее похоже!

И как это похоже на ее семью. Ибо за спиной матери она видела всех Буссарделей, сплоченно и дружно участвовавших в маленьком заговоре. Пусть даже молча. Возможно, только одна тетя Эмма составляла исключение. Но как они тонко действовали! И как они ее хорошо знают! Все, начиная с телеграммы, извещавшей о смерти дяди Теодора, нейтральная подпись под телеграммой, любезный прием и непринужденное



гостеприимство, полнейшее забвение прошлого и деликатное умолчание насчет Рено, горе матери перед разбросанными смокингами Симона, горе несомненно искреннее, но проявившееся как раз к месту,— все это без малейшего риска направлялось невидимой, но твердой рукой, дабы в нужный момент выбить у нее оружие. Дядя Теодор скончался весьма кстати. Видя, что он не жилец на этом свете, Буссардели немедленно пустили в ход весь механизм интриг.

Агнесса решила уехать. Она задыхалась под родительским кровом. Она злилась, чувствовала себя уязвленной. Совершить такой промах... Да, именно промах. Потому что ее мать, разрабатывая план назначения Симона опекуном Рено, действовала вовсе не из сентиментальных побуждений, вовсе не для того, чтобы восстановить символическую связь между авеню Ван-Дейка и лагерем: как бы не так! Это значит, что опекунство Симона на руку Буссарделям, а следовательно, угрожает интересам ребенка. Угроза пока что еще неясная, но тем не менее угроза. Ладно, каковы будут последствия, мы еще увидим, но так или иначе Агнесса решила защищать своего сына всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Самое главное сейчас — быть с ним вместе. Надо уезжать, и как можно скорее.

Пришлось отказаться от намерения уехать в тот же вечер. Тетя Эмма, которую Агнессе не хотелось подозревать в причастности к коварным замыслам — скорее уж она бессознательно сыграла на руку матери, что тоже было в характере отношений золовки и невестки, — тетя Эмма, узнав об отъезде, так опечалилась, что трудно было усомниться в искренности ее чувств. Старая девица Буссардель протестовала, уверяла, что при теперешних условиях уезжать вечером в переполненном вагоне — значит простоять всю ночь на ногах в битком набитом коридоре. Агнесса решила уступить доводам тетки, чтобы не настаивать на ее и не оттолкнуть теперь, когда ей больше чем когда-либо требовались союзники во враждебном стане, которые ни о чем бы не догадывались. Надо смирить себя, попрощаться по телефону со всеми родственниками, причем в провожатые Агнесса согласилась взять только безобидного Бернара, он должен был завтра посадить ее в первый утренний поезд; после обеда, на который были приглашены Валентин с женой — что позволило Агнессе не так остро ощущать присутствие матери, — она постаралась как можно раньше подняться к себе в комнату, чтобы уложить вещи.



Метро открывалось по немецкому времени, еще до рассвета. Бернар явился, когда Агнесса завтракала с тетей Эммой в столовой, на том самом месте, где ужинала в первый день приезда. Ее парижское и семейное приключение, полное всевозможных перипетий и длившееся менее недели, завершалось в тех же самых ночных декорациях. Весь особняк еще спал. Пока Бернар, стараясь не шуметь, ходил за ее чемоданом на четвертый этаж, Агнесса, чувствуя на себе печальный взгляд тетки, вдруг вытащила из сумочки фотографии своего сына и протянула ей. Тетя Эмма, накинувшая поверх ночной сорочки еще довоенный капот, на сей раз обошлась без помощи очков, сразу же узнала, кто изображен на снимках, и молча засунула пакетик с карточками за вырез сорочки таким знакомым Агнессе жестом. Агнесса встала с места, надела перчатки. Женщины расцеловались. Тетя Эмма молчала, что служило у нее верным признаком волнения.

Пересекая по-ночному темный двор, Агнесса дважды оборачивалась и просила тетку войти в дом. Но старая девица Буссардель упорно стояла на крыльце, с ручным фонариком в руке, явно рискуя простудиться.

Агнесса прибыла на вокзал слишком рано, состав еще не подали. Когда же поезд наконец подошел к перрону, там в темноте уже столпились сотни пассажиров. Бернар вскочил на подножку еще не остановившегося вагона, и ему удалось занять для Агнессы местечко. Он усадил ее, постоял рядом с ней, но она поспешила отправить его домой. Прошел целый час, громкоговоритель наконец скомандовал: «По местам!» — и это ожидание, под синим огоньком ночника в уголке купе, где ошупью во мраке передвигались пассажиры, было, пожалуй, самым мучительным моментом ее обратного путешествия.

Сумрак начал рассеиваться только над парижскими пригородами, над деревушками. Агнесса удалялась от погруженного во мглу города, направляясь к свету. И постепенно она почти перестала думать о семье, о своей матери, а думала только о сыне и горько упрекала себя. Как это она не предвидела, что Буссардели, которым некогда не удалось обездолить Рено и которые до поры до времени просто его игнорировали, рано или поздно обратят на него свой взгляд. Они и обратили. Но с какой целью? Вот это уже неизвестно: проживем — увидим. Одно лишь ясно: расставленная ловушка не подвела — решетка захлопнулась за этой невинной душой.



Агнесса не могла также отогнать мысль, что в ее отсутствие с Рено что-нибудь случилось. Он мог заболеть гриппом, свалиться со скалы или в воду. Будь это серьезно, смертельно, тогда, конечно, телеграмма бы к ней дошла, ну а если просто бронхит, просто ушиб? Даже Мано не сумела бы ее известить. Что-то ждет ее по приезде? Что бы ни было — это будет ее вина. Зачем она уезжала? Вся ее жизнь — на мысе Байю, в их красном домике, отрезанном от прочего мира. Нет, больше того: вся ее жизнь в его детской, в кроватке, где в этот ранний час спит Рено. Все прочее — иллюзии.

В конце концов она принимала эти угрызения совести, эту тоску как заслуженную кару. Все она брала на себя, согласна была промучиться весь путь, лишь бы дома найти сынишку здоровым и невредимым. Время шло, а голода она не чувствовала. Тетя Эмма дала ей бутерброды, и Агнесса заставила себя поесть, чтобы быть в силах встретить любую трудность, вдруг ей, скажем, придется из Тулона или Гиера идти пешком.

Путешествие шло без всяких помех; Агнесса дивилась, но все же тревожилась: уж слишком это было бы хорошо. В Тулон приехала вечером в половине одиннадцатого по французскому времени, ей посчастливилось нанять газогенераторное такси, доставившее ее в Сален де Гиер. Она отлично знала, что отсюда в такой час ее никто не повезет по морю: но, слава богу, она хоть очутилась на пристани. Ей удалось устроиться на ночлег в семье знакомого рыбака, и, потушив свет, она еще долго глядела в окно на свой невидимый во мраке остров.

Катер ежедневно уходил только в половине девятого утра и прибывал в Пор-Кро через час с лишним; но еще до зари Агнесса отправилась в порт и постучалась к таможенникам. Они были ей хорошо знакомы, она пристала к ним с просьбой, показала им свой аусвейс, являющийся вполне официальным документом, и, наконец, добилась своего: таможенники взяли ее на первый катер, отходивший в шесть часов утра. Во время пути поднялось солнце, катер уходил все дальше в море, и особняк Буссарделей, оккупированный Париж отступили куда-то вдаль, полоненные мраком.

Когда катер обогнул Шато и Агнесса увидела впереди в свете нового встающего дня их маленькую бухточку, она блаженно засмеялась и, желая оправдать свой смех в глазах таможенников, сказала, что очень рада вернуться домой. Она спрыгнула



на берег. Но чета Бегу, уже открывшая булочную, куда она бросилась чуть ли не бегом, ничего не знала о ребенке. Ирма, по их словам, не приходила накануне за покупками.

Агнесса оставила у них свой чемодан. Снова ее охватило тоскливое предчувствие. Она шла в глубь острова, и ей казалось, что она не была здесь долгие месяцы. Но она не упивалась здешним вольным воздухом, одновременно лесным и морским; и даже хорошо известные ей особые вехи, отмечавшие путь для нее одной, повороты проселочной дороги, тропинки, следуя по которым можно выиграть время, словно лишились своей обычной прелести. Наконец, не выдержав, она побежала и только усилием воли заставила себя на тропке, идущей к дому, перейти на шаг.

Заря залила уже полнеба, когда она одолела последний перевал, и мыс Байю, скалы и дом возникли перед ней — все густо-розовое, на крутом берегу бирюзового моря. Оно уходило куда-то в даль, в свободную, беспредельную даль, к югу, и Агнессе захотелось окликнуть свой дом, прокричать всем, что она вернулась.

Она обнаружила Рено еще в постели, он мирно спал в своей детской, заставленной игрушками, заселенной целым народцем плюшевых зверушек. Комнату наполнял мирный полумрак, занавески преграждали доступ утру, разлившемуся за окном. Мать присела на корточки возле постели и, не отрывая глаз, глядела на сына, грудку которого ритмично приподымало дыхание. А снаружи к ней доносились равномерные вздохи моря. Она твердила про себя: «Господи, а вдруг он перестанет дышать, вот так сразу, на моих глазах...» Но два ритмически чередующихся дыхания — ребенка и моря — не прекращались. Рено спал на боку, уткнув лицо в плечо, и его голая ладошка лежала на белом валике подушки, живая, полуоткрытая, как венчик какого-то мясистого растения.

Прошла минута, и искушение разбудить мальчика побороло благоразумие.

— Рено, — шепнула Агнесса.

Он не проснулся. Она повторила: «Рено... Рено...» — с каждым разом повышая голос, но тут же опомнилась, позвала его: «Рокки», и при этом имени он открыл глаза. Он увидел мать, ничуть не изумился ее неожиданному появлению и, вскинув ручки, обнял ее за шею.



Она замерла. Ребенок, тяжелый, разомлевший от сна, снова задремал, уцепившись за мать. В этой позе Ирма, вошедшая в детскую поднять занавески, и застала хозяйку мыса Байю.

Агнесса узнала, что Рокки был очень умненький, что он здоров, что ничего особенного в доме не произошло. Прибежала Викторина и довольно быстро истощила запас своих рассказов, как ни пыталась Агнесса узнать все во всех подробностях.

— А нам-то казалось, что мадам целый месяц как уехала! Ни за что бы ни поверила, что всего неделя прошла. Вот ведь дело-то какое!

Она недоуменно пожала плечами и стала в свою очередь подробно расспрашивать о путешествии, о родственниках мадам и о том, как живут сейчас в Париже.

— У нас еще будет время об этом поговорить,— сказала Агнесса.— Пока я буду принимать душ, вы, Викторина, приготовьте мне полотняное платье: я просто задыхаюсь в черном костюме. Уверена, что в полдень будет жара!

— Температура по сезону! — глубокомысленно заметила Викторина.— Мадам сама знает, какая тут погода в октябре.

Когда Агнесса приняла душ, переделась, подставив голые руки и шею ласковым утренним лучам, она сунула босые ноги в сандалии и вышла поиграть с Рокки на террасу, громко смеясь и вороша его волосенки. Она тщательно изгоняла из памяти последние отголоски своего путешествия и семейных встреч, но вдруг без всякого повода вспомнила тетю Эмму,— возможно, просто поза или лепет ребенка навели ее на эту мысль, но, так или иначе, она не могла забыть ее образ и сразу помрачнела. Она кликнула Ирму, поручила ей присмотреть за ребенком и позвонила Мано, понимая, что иначе ей не избыть тяжелых мыслей.

— Ну как? — раздался в трубке милый грубоватый голос, совсем такой, как десять дней назад.— Не слишком было мучительно?

— Ах, Мано... мне столько вам нужно рассказать,— произнесла Агнесса, сама еще не зная в эту минуту, собирается ли она ограничиться рассказом о своих дорожных злоключениях или ей просто надо поведать подруге все, что ей открылось в Буссарделях, все, что она натерпелась от них, включая последний трюк, который они с ней проделали.— Надеюсь, вы приедете ко мне? Сегодня, хорошо?

— Сегодня, миленький, увы, не выйдет. Не могу отлучиться из дому ни на минуту.



— У вас люди?

— Агнесса, я вам все объясню при встрече. Ну а теперь в двух словах расскажите о вашем путешествии.

Нетерпение Агнессы вдруг исчезло. Откровенный разговор по телефону не очень ее прельщал. Мано обещала приехать при первой же возможности.

— Я не могу ручаться, что приеду в Кань,— сказала Агнесса.— Я так долго не видела мальчика...

— Ну ясно. И потом, повторяю, сегодня я очень занята. Я сама к вам приеду, Агнесса. Без предварительных сговоров, как только сумею.

Все утро Агнесса не могла найти себе дела. Ее работы на мысе Байю, прерванные неделю назад в связи с отъездом, оказались не такими уж срочными. Какая-то непонятная сила побудила ее подняться на второй этаж, в те комнаты, где они жили с Ксавье и которые после его смерти стояли пустыми. Она открыла комнаты, проветрила их, оглядела стены и вдруг решила произвести здесь кое-какие изменения. «Пора перевернуть страницу,— подумалось ей.— Память о Ксавье живет во мне, а не среди этих оштукатуренных стен. Здесь на втором этаже сухо, холодновато. А что, если все переставить по-другому?» Часть мебели, принадлежавшей Ксавье, перенесли в нижний этаж: теперь она стояла в спальне Агнессы и в ее кабинете. А на втором можно будет устроить комнаты для гостей. «Ксавье одобрил бы. Пора, пора перевернуть страницу»,— снова повторила она про себя.

Мысль о будущих переменах в доме и о начинающемся новом периоде жизни отчасти восстановила ее душевное равновесие. Как и всегда, она находила опору в самой себе. После обеда она решила прогуляться и долго бродила в одиночестве по острову, обходя стороной дома, и не стала спускаться в порт. Совсем как в былые девичьи годы. Когда с ней случалось что-нибудь неприятное, когда она разочаровывалась в чем-то или в ком-то или же после очередной семейной сцены, Агнесса не бросалась к подруге излить душу, она выходила из дому, шла куда глаза глядят по парижским улицам, забегала в музеи, облюбовывала себе какой-нибудь ресторанчик и обедала там в одиночестве, шла в театр или в кино, а потом проводила еще полчаса в каком-нибудь дансинге, славившемся хорошим оркестром, и отказывала танцорам. И возвращалась, наконец, в особняк Буссарделей, погруженный в дремоту, ложилась спать просветленная,



примирившаяся с родом человеческим, после доброй порции пребывания наедине с самой собой.

В первый же день после возвращения остров вновь завладел ею, как завладевают человеком чары, как завладевает любовь, в которой начал было сомневаться. С удивительной способностью к обновлению, доставлявшей ей радость, ибо она сама отдавала себе в ней отчет и благодаря этой своей душевной гибкости особенно полно ощущала себя женщиной, она постепенно забывала Париж, родных, а возможно, и войну, с головой окунувшись в свое обычное существование на мысе Байю. Она вновь обретала свою отчизну. И, однако, этот Пор-Кро, скорее уж греческий, чем латинский остров, был отнюдь не похож, даже находился в разладе с ее родной страной. «Именно так! — подумала она, вернувшись домой и вполне искренне забыв свои недавние волнения в оккупированном Париже. — Именно потому, что мыс Байю не та земля, где я родилась, я чувствую себя здесь по-настоящему дома».

Октябрь в Пор-Кро как бы вызывает к жизни второе лето, и все здесь тогда — короткие дни, особая прозрачность и мягкость воздуха — все мило, и трудно поверить, будто еще где-нибудь на земном шаре бывает нечто подобное. Точно так же, как в апреле, когда уже наверняка знаешь, что на мыс Байю пришла весна, внезапно к концу дня повеет холодом из всех углов, так же и в разгар осени упорствует еще жара, хранимая расселинами скал и утесов, даже когда на землю рано спускается темнота. Ночи по-прежнему полны хрустальным лунным сиянием, ярким и чистым одновременно, и в состав его входят все краски: морской волны и морской пены, бурунов, деревьев, двух-трех запоздалых цветков, все оттенки, приглушенные полуночным небом, подернутые ломкой звездной глазурью. Пор-Кро живет своей независимой жизнью, у него свой особый климат, отличный от климата материка, он, Пор-Кро, обращенный на все четыре стороны света, со своими двенадцатью неиссякаемыми источниками, со своими ложбинами, где наливаются соком дикие плоды, созревающие тогда, когда им положено от господ бога. На Гиерских островах все одновременно опережает сезон и отстает от него, да и каждый сезон затягивается сверх сроков. И в эту осень здесь снова, неизвестно откуда и как, появились фазаны. Раньше их тут водилась тьма-тьмуша, и двое-трое старожиллов еще помнили то время, когда остров был настоящим земным раем. Но в последние годы минувшего



века, когда морские офицеры открыли прелести Пор-Кро и стали наезжать сюда охотиться, фазаны почти перевелись. Ушли в глушь, укрылись в каких-то укромных тайниках, отступили в самую глубь лесов, и близился тот день, когда фазаны вообще должны были исчезнуть. Но со времени оккупации; даже с начала войны, еще перед перемирием, остров, брошенный на произвол судьбы, между небом и землей, отрезало от суши и вернуло к первобытному состоянию. Ракитник и асфоделии снова покрыли ковром все пространство между сирийскими соснами, заполонили тропинки. И наконец как-то утром, когда Агнесса шла в направлении Пуант де Галер, она услышала тяжелое хлопанье крыльев и прямо из-под ее ног вылетела самка фазана, на редкость крупная и красивая. Агнесса рассказала об этой встрече, и оказалось, что многим островитянам доводилось видеть фазанов. Откуда они взялись? Чем объяснялось это неожиданное воскресение из мертвых? Викторина утверждала, что фазаны никуда и не девались, а только стали пугливее и попрятались, а теперь не боятся, вот и все. Но Агнессу не удовлетворило это слишком уж прозаическое объяснение.

Очень скоро Агнесса завязала прежние отношения с жителями острова, которых можно было перечесть по пальцам. В их глазах она отнюдь не была богатой бездельницей, проживающей круглый год в своем поместье. Уже давно островитяне приняли Агнессу в свою среду, и она сама с радостью стала островитянкой. Она делила с ними их участь. Они жили здесь в полной зависимости от погоды и ее внезапных скачков, от многодневного мистраля или неожиданно наступавшего вёдра. По острову обычно передвигались только пешком, тропинками или проселочными дорогами, по которым не мог проехать даже велосипед; время поэтому приобретало здесь иную ценность и жизнь шла в ином измерении. Хозяйка мыса Байю, которая, как и все прочие, сама обрабатывала землю, находила удовольствие и своеобразный душевный комфорт в своей принадлежности к миру природы, в этих общих для всех островитян условиях жизни, еще более ограниченных режимом военного времени. В утро приезда ее оглушил и утомил южный говор Викторины и Ирмы; через неделю она уже начала следить за собой, чтобы не перенять от них варский акцент.

На мыс Байю приехала погостить на двое суток Мано. Агнесса рассказала ей о трудностях перехода через демаркационную линию, о своих впечатлениях от оккупированного Парижа.



Посасывая пустой мундштук, Мано внимательно слушала приятельницу, отметив про себя, что та ничего не говорит о Буссарделях, но когда Агнесса сбегала в кладовую и принесла оттуда пачку сигарет, Мано флегматично произнесла:

— Глядите-ка! Значит, пленный лишен ваших забот?

Агнесса промолчала.

— Значит, вы не посылаете ему теперь табак, который удастся достать?

— Курите спокойно, Мано, и не терзайтесь угрызениями совести.

И Агнесса выложила ей все, проговорив чуть ли не до утра. «Я вправе,— думала Агнесса,— вправе выставить перед этой, в сущности, чужой мне женщиной Буссарделей в истинном свете». Хозяйка своих собственных поступков и собственной своей судьбы, порвавшая все духовные узы с родными, Агнесса была также вправе рассказывать о домашних тому, кому ей заблагорассудится; разоблачая их, она словно отмежевывалась от них. И это было освобождением. Рассказывала она с таким жаром, так беспощадно передразнивала свою мать, оплакивающую несчастного пленного, столь благородно просившую у дочери прощения перед лицом всего семейного совета, а за кулисами торжествовавшую свою победу, о чем свидетельствовал телефонный разговор с Жанной-Симон, что Мано несколько раз, не сдержавшись, принималась хохотать. Именно такие вот рассказы укрепляли антибуржуазные позиции бывшей Эгерии Монпарнаса.

— Неужели вам смешно? — спросила наконец Агнесса.

— Нет, конечно, не смешно. Но меня восхищает ваша страстность. Если хотите знать, Агнесса, я полюбила вас, только когда мне стал ясен ваш истинный нрав. Вначале я считала вас особой положительной, внутренне уравновешенной, словом, вполне такой, какой вы кажетесь с вашим правильным лицом и вашей статной длинноногой фигурой. Вот эта чрезмерная уравновешенность, откровенно говоря, меня мало интересует. Самое привлекательное в вас — теперь я хорошо вижу — то, что вы вечно вносите страстность в отношения с людьми. С родными, с друзьями и даже... в ваши отношения с Викторией вы вносите страсть.

— Но ведь тут речь идет не о моей повседневной жизни. Признайтесь же, что в отношениях с моей семьей святая и та теряет хладнокровие. А я не святая.



— Вы дочь вашей матери, миленький. Вот кто вы такая! И засим я отправлюсь спать. Поговорим об этом завтра. Потому что сейчас вам, по-моему, нужно быть на страже своего вертограда.

— Да... одному богу известно, что мне еще готовит долина Монсо!.. Ах, Мано, не совсем еще я покончила с семьей, нет, не совсем.

— Боюсь, что вам никогда не удастся покончить с ней раз и навсегда. Связь на всю жизнь, Агнесса, прочная цепь. В мое время у Фишера про это пели. Вы, конечно, не помните Фишера: певицы выходили размалеванные под чахоточных и с глазами наркоманок: «Я тебя ненавижу, и ты ненавидишь меня, но я знаю теперь, нам с тобой никогда не расстаться: на любое движение твое, на любые слова лишь один есть ответ — отвораченья гримаса!»

Агнесса проводила по лестнице Мано, которая все еще мурлыкала песенку.

— Клянусь вам, если бы не интересы моего сына,— произнесла Агнесса,— я бы уж нашла способ порвать с ними навсегда!

— Вам их будет слишком не доставать! — бросила Мано с порога своей комнаты.

На следующий день их беседа не носила столь напряженного характера. Мано одобрила приятельницу за то, что она вела себя так, будто ничего не подозревает, будто действительно попала на удочку Мари Буссардель, которую наставил Симон или которая просто действовала ради него.

— И я запрещаю вам отдавать мне сигареты, Агнесса. Конечно, я не верну вам остаток вчерашней пачки: это было бы уж чистым героизмом с моей стороны. Но все, что вам удастся раздобыть начиная с сегодняшнего дня, послушайте меня, высылайте брату в лагерь. Моими устами глаголет мудрость.

Уезжая из Пор-Кро, Мано взяла с Агнессы обещание, что та навестит ее до Нового года.

— До первого января? — переспросила Агнесса.— Ну, конечно.

— Потому что рождественские увеселения я впредь организовывать не буду. Это становится слишком сложно, а у меня другие дела есть.



— Я вас понимаю! — отозвалась Агнесса, которая уже давно перестала расспрашивать Мано об ее убеждениях и о некоторых сторонах ее деятельности.

Оставшись одна с сынишкой и двумя женщинами, Агнесса мало-помалу снова замкнулась в обычном кругу повседневных забот. Остров, осажденный волнами, все туже сжимал свое кольцо вокруг хозяйки мыса Байю. И вдруг в ноябре из этого состояния относительного покоя ее вывела новость о высадке союзных войск в Марокко и Алжире. Сидя на террасе, обращенной к югу, Агнесса, не отрываясь, смотрела на Средиземное море и твердила про себя, что прямо напротив нее, на этих далеких берегах союзные знамена уже развеваются на французских землях.

Она плохо представляла себе, что в сущности происходит в неведомых ей краях и городах, но ей казалось, что события разворачиваются совсем рядом, близко от нее, гораздо ближе, чем события в оккупированной зоне, от которых ей удалось улизнуть и к которым она повернулась спиной.

Однако события эти три дня спустя докатились и до нее. Немцы перешли демаркационную линию, потоки оккупационной лавы достигли юга, залили Лазурный берег и остановились только у синего моря. Не участвовавшие уже давно в войнах средиземноморские департаменты пробудились в один прекрасный день от ожогов этой лавы и под ее тяжестью. Жители департамента Вар упорно считали, что их неоккупированный Тулон официально охраняется французской эскадрой, продолжавшей стоять на рейде, и этот чрезвычайный статут казался им вполне справедливым и логически оправданным. Если во Франции хоть один город останется свободным, разве не ясно, что им должен быть Тулон? И они гордились этим.

Но в последних числах октября на рассвете, когда дул легкий мистраль, мощные и сердитые удары гонга дошли до западного побережья Пор-Кро. Жители выскочили из домов и стояли, повернувшись спиной к первым бледным проблескам зари. Они глядели в сторону Тулона. Кое-кто взобрался на скалы. Когда наконец рассвело, островитяне увидели лишь темные клубы дыма, которые висели в воздухе за Жиенским полуостровом и медленно ползли в сторону Пор-Кро. Их безоблачное небо омрачилось.

Целое утро по острову ходили самые противоречивые слухи и предположения.



— Все равно мы ничего не узнаем, пока не заговорит Радио-Соттанс, — заявила Агнесса.

В час передачи люди собрались перед домом Агнессы. Ее приемник считался на острове самым лучшим.

По этому случаю почти все, кто находился в порту, пришли на мыс Байю, а с ними несколько местных жителей. Всего собралось человек тридцать; многие еще не бывавшие ни разу у Агнессы, скромно остановились на террасе, но хозяйка предпочла пригласить всех в дом, чтобы можно было закрыть двери и ставни.

Пришедшие, понизив голос до шепота, входили в комнаты нижнего этажа. В кабинете они столпились полукругом, словно зачарованные тускло светившимся щитком радиоприемника, и весь дом, вдруг онемев, стал слушать репортаж Рене Пэйо. Женщины плакали, кое-кто из стариков последовал их примеру, слушая рассказ о военных кораблях, которые сами взрывали себя один за другим в предрассветном сумраке, прорезаемом яркими вспышками взрывов; а тем временем немцы захватывали арсенал.

Когда передача окончилась, когда был выключен приемник и потух его глазок, все переглянулись, не находя слов. Ночные гости в молчании распрощались с мадам Агнессой и пошли по домам, сторонясь проселочной дороги. Люди разбились на маленькие группки и разбрелись по узким тропкам, точно вдруг чего-то испугавшись.

Два последующих дня все ждали, когда к берегу прибьет мазут. И вот море принесло его на гребнях волн. В порту, в заливчиках, на рыжих, отполированных вековым лобзанием волн утесах появилась черная, ядовитая, цепкая блевотина, и нередко в ней попадалась дохлая рыба, увязшая в мазуте.





ля жителей Пор-Кро, для хозяйки мыса Байю самоубийственное потопление Тулонского флота ознаменовало начало новой эры. Не то чтобы на островитянах так уж сильно отразилась оккупация Лазурного берега. Разместившиеся там немецкие части почти не обращали внимания на местных жителей, и казалось, оккупация здесь преследует свои особые цели. Но изменилась сама атмосфера повседневной жизни — так на сцене меняется освещение, а декорация остается неизменной. Юг зашевелился. Равнодушных становилось все меньше, люди приняли для себя то или иное решение. В этом словоохотливом краю стали реже говорить о событиях, ибо осторожность, которую южане до сих пор считали пригодной для других, теперь понемногу вплелась в будничную основу их жизни. Теперь уже каждый знал, «за кого» его сосед или собеседник, и это определяло отношения между людьми.

В этом новом состоянии духа Агнесса мучилась тем, что ее отделяют от Мано полтора километра, и, не дождавшись условленного срока свидания, отправилась в Кань. Там только она поняла, как тесно ее подруга связана с теми, кто борется против оккупантов. Мано сказала, что приказ о взрыве флота был дан еще в сороковом году и что за несколько часов до роковой ночи его вновь подтвердили; она объяснила также, что оккупация свободной зоны была предусмотрена и подготовлена тогда же, и, хотя немцы отложили ее на два года, они с первых же дней рассчитывали наложить лапу на французский флот. Агнесса не спросила, знала ли об этом Мано с первых же дней, не спросила и о том, откуда она все это узнала. Иной вопрос жег ей губы.

— Вы можете мне не отвечать, Мано, если не сочтете нужным... Но как это вы, вы, которая всегда утверждала, что вам все безразлично, вы, которая твердила, что вы в душе интернационалистка, как вы пришли к этому, я хочу сказать, почувствовали себя патриоткой? Вы сами понимаете, я не в упрек вам говорю.

— Но, миленький, ответить на это проще простого. Все



сделали обстоятельства. Я же вам рассказывала, я хотела сохранить лучшие полотна мужа. А устроить это можно было, лишь доверившись людям, которые были против немцев. А они свели меня с другими, того же толка. Так оно и пошло... И вполне естественно, что меня в свою очередь просили о тех услугах, которые я в силах оказать. Так что теперь — я от вас не скрываюсь — я скомпрометирована и не жалею об этом. Это меня занимает и ограждает от тоски. Ведь вы сами видите, у меня не так-то весело.

Они сидели в мастерской со стеклянной крышей, где было теплее, чем в прочих комнатах; особенно приятно было проводить время здесь поздней осенью или ранней весной. На огромных панелях, где еще на памяти Агнессы висели чудесные картины и откуда в один прекрасный день исчез Сезанн, сейчас уже не осталось ни одного ценного полотна. Мано, проследив взгляд Агнессы, пояснила, что она нарочно размалевала стены, чтобы скрыть следы снятых рам.

— Знаете, то, что я рассказывала вам о своей работе, — продолжала она, — это вообще обычная для всех нас история. Только не воображайте, что перед тем, как приступить к делу, с вас берут торжественную клятву, что вы проходите искуc, а потом ждете посвящения. Боже мой, конечно, нет! Обстоятельства и только обстоятельства. Сначала какое-нибудь пустяковое поручение, потом мы втягиваемся и продолжаем работать. Берешь на себя одно поручение, затем другое. Так вот, говорю вам по секрету, это я два месяца тому назад помогла господам Сиксу-Герцу.

— Как? Вы водитесь с этими людьми? Когда я ехала в Париж, я встретила двух молодых Сиксу-Герцев в поезде между Тулоном и Марселем, они пили шампанское. Вели себя вызывающе до неприличия. Так, что я даже сделала вид, что их не замечаю.

И Агнесса рассказала всю эту сцену.

— О, это вполне в их стиле, — подтвердила Мано. — И все равно нашим милым молодым людям необходимо было смыться. Они пробрались в Испанию, теперь я могу вам это сказать. Через небольшой перевал Валлеспир. Если бы они остались здесь, их при теперешней ситуации, возможно, сослали бы. Такие повсюду будут кривляться, чему вы стали свидетельницей, и рисовать в пути губной помадой букву «V», зная, что впереди их ждет пуля пограничника или коварство проводника, которому ничего не стоит их убить с целью ограбления. Но этого



не случилось, мы их направили к одному надежному человеку в Саре. Их родители — отец и мать — убежали в Италию. По-одиночке, для верности. А бабушка осталась одна в Марселе. Так что придется мне ею заняться.

— И они не увезли старуху с собой?

— Вообразите, не увезли. А я-то считала, что такие семьи сплоченнее, чем все прочие, — грубое заблуждение.

— И я тоже считала, — призналась Агнесса.

— А оказывается, мы ничего о них не знаем. Не будем рассуждать, как расисты, не тот сейчас момент. Примем факт как он есть. Сиксу-Герц удирали из своей виллы в Антибах, каждый как сумел. Красавица Сиксу-Герц — мать ваших двух кривляк — увезла с собой только бриллианты, вынула их из оправы и зашила себе в штанишки. Переходя с помощью моих друзей границу Италии, она, чтобы себя оправдать, сказала: «Поймите, для нас единственное спасение — разбрестись в разные стороны». И это говорит мать семейства, такого ведь нарочно не выдумашь.

Дочь Буссарделей задумалась. И Мано, которая не зря упомянула в свое время о цепи, поняла, что Агнесса Буссардель — последнее мыслящее звено этой цепи, еще связанное с длинной чередой парижских буржуа, — вспомнила свою семью. Но Агнесса резко поднялась со стула, обошла мастерскую, прислонилась к лишившейся картин перегородке и медленно провела рукой по замалеванному пустому пространству.

— Здесь как раз, Мано, висело полотно Вюйара «У открытого окна», — сказала она, обернувшись. — Если я могу когда-нибудь в чем-нибудь вам помочь, рассчитывайте на меня.

— Вот как? Ладно, — сдержанно отозвалась Мано.

Обе женщины переглянулись и поняли друг друга.

— Что ж, разве что для каких-нибудь несложных поручений, — добавила Мано. — Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, не бойтесь.

— Я и не боюсь.

— Вы не бойтесь, но у вас ребенок.

— Конечно... Словом, я вполне на вас полагаюсь.

Они распрощались, и все последующие за этой встречей недели Агнесса не переставала спрашивать себя: уж не вела ли она себя при тогдашнем разговоре слишком опрометчиво, предложив свои услуги. А может быть, просто Мано не очень-то верит в ее способности, ибо Мано не отзывалась. «В ее глазах



я как была, так и осталась буржуазкой, конформисткой,— думала Агнесса,— от этого ярлыка не так-то легко отделаться. Что же в конце концов я могу сделать?»

Но в феврале позвонила Мано и попросила приехать в Кань. «Как только сможете»,— сказала она, и Агнесса, поняв из этих слов, что требуется приехать как можно скорее, чуть вздрогнула от страха, а возможно от легкого тщеславия. Она не стала уточнять по телефону подробности. После оккупации южной зоны не следовало забывать, что телефонные разговоры подслушивают.

Агнесса снова отправилась в Кань. Благодаря этим телефонным разговорам, состоящим из мгновенно разгадываемых полупонамеков, этому постоянному курсированию между Пор-Кро и Кань, которым и ограничивались вылазки Агнессы на материк, между двумя женщинами установилась более тесная связь, и совсем иная, чем просто дружба. В Париже, когда Агнесса была еще совсем молоденькой, она наблюдала, как десятки юношей и девушек из буржуазии, тяготясь своими семьями и своей средой, тянулись к деклассированным элементам, к актерам, к так называемым свободным женщинам или к лагерю левых, восхищаясь ими, шли в их фарватере, подчинялись их влиянию, но не осмеливались им подражать. Так вначале и было у них с Манолей; но со временем расстояние между ними уменьшилось, и подруги чувствовали, как с каждым месяцем растет их близость.

— Так вот в чем дело,— начала Мано, когда они заперлись в ее спальне, где в печурке ярко горели поленья, ибо в февральскую холодную погоду в мастерской сидеть долго было невозможно.

За неимением чая Мано предложила подруге выпить подогретого вина. По дороге с вокзала к старому Кань, где на самом верху стоял дом художника, обе женщины, борясь со злым мистралем, судорожно цеплялись друг за друга и не успели перемолвиться и десятком слов.

— Если вы согласны, Агнесса, мы с вами еще до обеда, как только стемнеет, пойдем в пригород Брегьер. К моим друзьям. На их даче прячется один человек. Дольше там оставаться он не может. Его ищут, и те, кто его ищет, уже обнаружили его в наших местах, по крайней мере мы имеем все основания этого опасаться. Ведь мы рядом с Ниццей, не забывайте. А также рядом с Канном, а там полно евреев. Таким образом,



в нашем секторе создано излишнее оживление. Власти не дремлют. Само собой разумеется, французские. Потому что с тех пор, как немцы вместо себя поставили итальянцев, здесь в оккупационных войсках заметно ослабела дисциплина. Старается как раз вишистская полиция, жандармы. А как у вас в Пор-Кро, очень за вами следят или нет?

— Да нет. У нас тоже итальянцы. Довольно безобидные. У них одно на уме: как бы распродать свой паек и белье, все вплоть до носков. А чего вы ждете от меня в связи с тем человеком, о котором говорили?

— Это смотря по обстоятельствам. Сначала надо побеседовать. Если его удастся переправить на остров, как, по-вашему, сумеет он там прожить незамеченным?

— Очень возможно. Пожалуй, да,— сказала Агнесса и, подумав с минуту, взглянула прямо в лицо Мано: — Вы хотите, чтобы я поселила его у себя?

— Нет, миленький. Вы для этого слишком на виду, да и жители там наперечет, все ходят к вам полечиться или послушать Лондон... Потом на мысе Байю ребенок. Нет. Но в Пор-Кро есть настоящее макй,— добавила она, употребив слово «макй» в том смысле, который в то время и для нее самой еще означал просто непроходимые корсиканские заросли кустарника и ничего больше.

— Верно, тайников там сколько угодно. Есть развалины старых ферм, есть даже гроты, я сама их знаю десятки. Наши итальянцы, а их немного, находятся на вышке при редутной батарее. Поэтому прокормить человека, не привлекая внимания, там, по-моему, вполне осуществимо. Только под открытым небом сейчас не очень-то жарко. Надеюсь, ваш еврей не очень древний?

— Но это не еврей, Агнесса, это цыган.

— Цыган? Но что он мог такого сделать, почему им интересуются?

Мано расхохоталась.

— Нет, в вас силен еще парижский дух. Он рожден цыганом, вот и вся его вина. А разве вы не знаете, что в глазах этих господ цыгане низшая раса? Так же, как и евреи. Ученые мужи вам скажут, что цыганский язык восходит прямым путем к санскриту, то есть стопроцентному арийскому языку. И что существует на земле раса, одна-единственная раса, кровь которой можно без всякого риска переливать любому,— цыгане, так сказать, универсальные доноры. Но полицейские всего мира



третируют их как париев, а нацисты отправляют в свои лагеря смерти. Если вам и после этого требуются уточнения, могу сообщить, что тот, о ком идет речь, всего месяц тому назад расправился с тремя тюремными надзирателями.

— Чтобы не ехать на рейсовом катере, где пассажиров проверяют,— подхватила без передышки Агнесса,— я договарюсь со знакомыми таможенниками, которые выезжают еще до зари. Они на нашей стороне. Я им скажу, что это сельскохозяйственный рабочий, которого я наняла и хочу, мол, уберечь его от угона в Германию на принудительные работы. У него есть, конечно, фальшивые документы?

— Миленький мой,— сказала Мано, высоко подняв стакан с подогретым вином, словно провозглашая тост в честь Агнессы,— вы делаете поразительные успехи.

В полном мраке они устремились навстречу порывам ледяного мистрала. С трудом ориентируясь среди улиц, потом, за чертой города, плутая по дорогам, они вырвались из зоны бешеного ветра и попали в полосу затишья, где даже воздух казался теплее. Мано толкнула калитку какой-то старенькой дачки, ничем с виду не примечательной; почуяв чужих, залаяла собака; обеих женщин ввели в столовую, убранную более чем скромно, где под висячей лампой с бисерными подвесками мальчик готовил уроки, разложив тетради на клеенке, еще хранившей следы недавнего обеда.

— Вот друзья, о которых я вам говорила,— произнесла Мано, и Агнесса заметила, что она не назвала ни ее имени, ни имени хозяев.

— Садитесь, пожалуйста,— предложила женщина, которая ввела их в столовую.

Это была особа средних лет, в клетчатой кофточке, довольно грязный лоскут материи, приколотый булавками, очевидно, заменял ей фартук. На шум, поднятый гостями, вышел старик и пожал Мано руку. Агнесса тоже поздоровалась с ним за руку и улыбнулась ребенку, глядевшему на нее во все глаза.

— И у меня есть хорошенький мальчик,— произнесла она, нарушая воцарившуюся в столовой тишину.— Только он меньше тебя: он еще не ходит в школу.

Но Мано прервала Агнессу:

— Моя приятельница согласна увезти испанца. Нельзя ли ей взглянуть на него? Только поскорее. Мы должны вернуться домой до комендантского часа.



— Адриан,— произнесла женщина,— спустись в погреб и приведи его.

Мальчик выбежал из комнаты.

— Подай, доченька, вина,— сказал старик и, подойдя к окну, заботливо поправил синюю занавеску в заплатах, по всей видимости просто перекрашенную старую простыню, служившую для маскировки.

Потом он встал и запер входную дверь.

Снова воцарилась тишина. Агнесса чувствовала на себе любопытные, но не назойливые взгляды друзей Мано, которых она представляла себе совсем иначе. У дедушки был вид крестьянина, хозяйка напоминала работницу; их южный говор ее порази.

Наконец дверь открылась. Мальчик ввел за руку цыгана, растерянно моргавшего при свете лампы. Перед Агнессой стоял мужчина лет тридцати с небольшим, худощавый, длиннорукий и длинноногий. Из разорванного ворота фуфайки выбивалась густая темная шерсть, доходившая до ключиц и подымавшаяся к кадыку узенькой косицей, которая переходила в щетину давно небритой бороды. Агнесса заметила еще черную, неестественно блестящую шевелюру, и в это остановившееся мгновение первой встречи, когда, кажется, само время замедляет ход, нелепая мысль промелькнула у нее в голове: как, а главное чем, сидя в погребе, он ухитрится помадить волосы? Но когда цыгана усадили за стол, ее поразили беспокойный взгляд, его глаза. Глаза красивого разреза, и на выпуклом синеватом белке непрерывно бежит черный зрачок.

— Объясните ему,— попросила Мано.

И пока старик говорил по-провансальски с внимательно слушавшим его цыганом, она нагнулась к Агнессе:

— Он, кроме своего родного языка, понимает только провансальский. И по-испански он не говорит. Но мы ради удобства выдаем его за испанца. И тип лица у него подходящий, и проще объяснять его незнание французского языка. Так что ваш дорожный спутник будет не из болтливых. Теперь, когда вы его увидели, не отказываетесь от своих обещаний?

— Не отказываюсь.

— Моя приятельница согласна,— обратилась Мано к старiku, который переводил ее слова цыгану.

Тут человек с черной как вороново крыло шевелюрой открыл наконец рот и произнес несколько слов по-провансальски.



— Он говорит, — перевел старик, — что постарается показать свою благодарность красивой женщине. Красивая женщина — это вы. Он просит также довести до вашего сведения, что он был мобилизован во французскую армию и хорошо сражался.

С помощью нескольких рюмок граппа атмосфера разрядилась. Каждому хотелось поскорее рассказать историю цыгана его будущей покровительнице, и каждый вставлял свои замечания, кроме самого цыгана. Его действительно мобилизовали в тридцать девятом, но так и не научили французскому языку: в сущности, он не знал грамоты. В июле сорокового года, счастливо избежав общей участи цыган, которые попали в плен и были затем уничтожены немцами, он отступал вместе с французской армией и, растерявшийся, загнанный, отрезанный от своих близких, не мог наладить с ними связь. Те, кому удалось спастись, где они сейчас? Обладающий, как и большинство людей его племени, редкостным даром ориентировки, он одинешенек пробрался в Прованс, где жили многие его соплеменники. Но люди Виши, выполняя немецкие приказы, продолжали его преследовать, и даже военная форма не спасала его, поскольку ее пришлось сдать. Так он очутился в тюрьме города Драгиньяна вместе с деголлецами-диверсантами, и они-то, устраивая побег, прихватили цыгана и поручили его затем своим связным. А он мучился главным образом от того, что не знал, где находятся его сородичи. Семья его принадлежала к ветви бродячих цыган, ненавидящих цыган оседлых, но и последние остатки оседлых цыган были истреблены и истребляются. Для вящей убедительности, а главное для того, чтобы Агнесса не путалась, если ее будут расспрашивать о ее спутнике, ей предъявили его документ, конечно фальшивый, по которому он числился неким Педро Молина, уроженцем Леона, забытой богом испанской провинции, где говорят не по-кастильски, а на своеобразном диалекте.

У цыгана не оказалось никакого багажа. Ничего, кроме его собственного тела. И еле прикрывавшего это тело тряпья. На следующий день Мано обегала несколько знакомых семей, чтобы собрать цыгану кое-какое имущество хотя бы для виду. Таким образом, история о батраке, якобы нанятом Агнессой, которого она везет с собой, приобретала бóльшую достоверность, чем если бы цыган отправился в путь с пустыми руками или если бы Агнесса купила ему в Гиере принадлежности мужского туалета. К концу дня Мано сама сходила на дачу в Брегьер



за цыганом и сумела устроить всё так ловко, что сдала его на руки Агнессе как раз в тот момент, когда вечерняя автомотриса, отправлявшаяся в Тулон, подкатила к платформе. «Непременно свяжемся по телефону», — сказали они друг другу на прощанье. Они заранее составили подробный маршрут: Агнесса с цыганом должны были провести ночь в Сален де Гиер, чтобы отплыть на катере таможенников сразу после окончания комендантского часа, еще до рассвета. Мрак, наступивший после захода солнца, а также предрассветный мрак и саленские друзья, те самые, которые помогли Агнессе при возвращении из Парижа, содействовали осуществлению ее замыслов.

Высидившись на заре в Пор-Кро, Агнесса сразу же свернула со своим подопечным на проселок. На мысе Байю ей волею-неволей пришлось посвятить в свою тайну Викторину; но лишь одну Викторину: ее муж, боясь угодить на принудительные работы в Германию, поступил в Пескье на солеварню. Обе женщины держали совет, заперев для верности цыгана в амбаре. Не зря Викторина разделяла взгляды своей хозяйки, именно ее трудами был найден подходящий тайник: развалины дома, где не осталось ни стен, ни пола — все бревна растащили для других построек. Но Викторина, уроженка Прованса, отлично помнила, что там остался погреб — наполовину засыпанное землей, укрытое пышной растительностью подземелье, где еще в детстве они играли в «робинзонов». Находился этот тайник к западу от утесов, в той части острова, где почва не обрабатывается и где, главное, не было никаких укреплений. Викторина помнила также, что руины именовались «Инжиром», хотя в те времена, когда она была девчонкой, еще до первой мировой войны, даже следов фигового дерева уже не осталось. Кругом росли только искривленные морским ветром сосны.

Когда на остров спустилась ночь, Викторина увела цыгана, прихватив изрядный запас провизии, два одеяла и пустой тюфяк, который там на месте предполагалось набить сосновыми иглами. Она наотрез отказалась взять мадам в ночную экспедицию, сославшись на Рокки, на необходимую в таких делах осторожность, к тому же она сама еще не уверена, что отыщет тайник. Агнесса ждала ее возвращения на мыс Байю, не зная, куда себя девать, и в глубине души была, пожалуй, даже недовольна, что служанка принимает в этой истории такое активное участие. Ей казалось, что таким образом доброе дело ускользает из ее рук и становится чем-то будничным. Когда наконец часа через



два явилась Викторина и молча кивнула головой, говоря что все, мол, в порядке, так как в комнате находилась Ирма, игравшая с мальчиком, Агнесса увела служанку в свою спальню.

— Вот что, Викторина, завтра же вы покажете мне дорогу и тайник. И отныне я сама буду носить в «Инжир» продукты. Здесь уж привыкли, что я целыми днями прогуливаюсь одна по всему острову, и никто не обратит на меня внимания, а ваши отлучки могут показаться странными. Не говоря уже о том, что я лично взяла на себя ответственность за этого несчастного малого перед людьми, которые мне его поручили. Я желаю сдержать слово и вовсе не намерена подвергать вас ненужному риску.

— Фу! — возразила Викторина. — Да вашему цыгану еды и питья на неделю хватит! Эта порода может воздухом питаться. Если только, конечно, мадам не собирается его откармливать на убой.

Когда в первый раз Агнесса без провожатой отправилась к «Инжиру», цыгана не оказалось на месте. Придерживая обеими руками ветви, которые упрямо старались вырваться на волю, привыкнув в течение долгих лет закрывать живой стеной вход в тайник, Агнесса остановилась перед зияющей черной ямой и негромко несколько раз окликнула цыгана. Никто не ответил ей, только через мгновение до нее дошел запах. Оказалось достаточно всего нескольких дней затворнической и уединенной жизни, чтобы пропитать эту берлогу человеческим духом. Агнесса стояла, не решаясь спуститься по полуобвалившимся ступенькам в погреб, тем более что ей предстояло спуститься туда впервые; она вдыхала идущие из погреба испарения. Она решила, что цыган вышел по нужде или просто чтобы подышать теплым вечерним воздухом, и присела поодаль у подножья сосны, откуда видны были подступы к руинам. Цыган не замедлил появиться, он шел бесшумным шагом, застегивая пояс. Все так же молча Агнесса вручила ему продукты, которые принесла в пляжном мешке, и ушла.

На следующий раз, мешая провансальские слова с французскими, она спросила цыгана, не очень ли ему плохо в его берлоге. Она указала на подземелье, из глубины которого он вышел на ее зов. Цыган посмотрел на нее своим беспокойным взглядом и протянул руку, чтобы помочь спуститься вниз.

Глаза Агнессы не сразу привыкли к полумраку. Наконец она различила свод, сложенный из плотно пригнанных друг



к другу камней, перегородки, тоже каменные, где через равные промежутки были вбиты деревянные крюки. На них цыган развесил свою одежду. Плотный набитый тюфяк лежал прямо на земле. В ногах этого импровизированного ложа валялась недоконченная корзина, которую он, должно быть, перестал плести при появлении гостя. Агнесса сообразила, что в одиночестве цыган должно быть, затосковал без дела, и отметила про себя, что он не боится удаляться от своего тайника на довольно большие расстояния, так как камыша поблизости не росло.

Агнессу удивила теснота погреба, узкого, словно средневековый «каменный мешок», и она подумала, как, должно быть, страдает в заточении этот кочевник. Заметила она также, что кусок утрамбованного земляного пола вокруг тюфяка тщательно подметен. Когда первое ее изумление прошло, она напредила себе самой, что у ее пленника врожденная способность устраивать походное жилье. «Я рассчитывала навести у него порядок,— подумалось ей.— А он обошелся без моих услуг».

Много раз затем она приходила к «Инжиру», смело ныряла под зеленую мантию листвы, которая, шурша, смыкалась за ней. Потом молча усаживалась на нижнюю ступеньку, пока цыган, также молча, вынимал из пляжной сумки продукты и складывал в нее пустые консервные банки, оберточную бумагу, в которой ему приносили мясо и сахар и которая, разлетевшись вокруг, могла бы выдать его присутствие в тайнике. Обычно Агнесса задерживалась немного, ссылаясь на усталость. Цыган сидел молча, подобрав под себя ноги, прислонившись к стене, и все же был совсем близко, так что в зеленоватом свете, пробивавшемся в жерло пещеры, Агнесса замечала, вернее угадывала его беспокойный взгляд. Оцепенение понемногу овладевало Агнессой, и она не сразу стряхивала его с себя. Потом прощалась с цыганом и выходила на свет.

Но как-то под вечер на мыс Байю явилось двое жандармов. — Эй, мадам! К нам гости! — крикнула сообразительная Ирма, заметив их на вершине холма, и сразу же снова начала играть с мальчиком на площадке перед домом, время от времени бросая взгляд в сторону спускавшихся по тропинке визитеров в полицейской форме.

Им навстречу вышла сама мадам Агнесса. Жандармы объяснили цель своего визита. Дело в том, что они разыскивают подозрительных людей, тех, у кого бумаги не в порядке. Гиерская жандармерия отрядила их для этой цели в Пор-Кро.



— И верно, я вас совсем не знаю, впервые вижу у нас на острове,— сказала хозяйка мыса Байю.

Она уже поняла, что жандармы ищут цыгана: они говорили именно о мужчинах, а не вообще о людях, у которых бумаги не в порядке. А ведь и женщин, евреек и англичанок, не успевших выехать, имелось на Лазурном берегу немало, и Виши устраивало на них облавы.

— Позови маму,— обратилась Агнесса к Ирме.— Если только она дома,— добавила она.

Она надеялась, что Викторина поймет и, скрывшись черным ходом, побежит предупредить цыгана об опасности. Но Ирма, недолюбливавшая жандармов, как и все в те времена, ничего не знала о тайнике в «Инжире» и не уловила намека хозяйки, поэтому Викторина не замедлила явиться собственной персоной.

— Вот и все обитатели дома,— сказала Агнесса.— Заходите, мы покажем вам наши документы.

Жандармы хотели было сначала задать интересующие их вопросы, но Агнесса настояла на своем. Скоро стемнеет, и она рассчитывала задержать обоих жандармов у себя как можно дольше, чтобы после заката солнца они, не заглядывая никуда, отправились с мыса Байю прямо в порт. Разложив все имевшиеся у них документы, включая метрику Рокки, рядом с литровой бутылкой вина и двумя стаканами, Агнесса без труда выудила у нежданных гостей важное признание: прежде чем попасть к ней, они опросили кое-кого из жителей Пор-Кро. Но добавили, что им еще придется немало дней повозиться здесь. Ну и велик, оказывается, этот самый Пор-Кро! Посмотреть с материка — так, пустяки. Из этих бесед Агнесса заключила, что, во-первых, у жандармов нет определенных подозрений на ее счет и что, во-вторых, остров они знают плохо.

Исходя из всего этого, Агнесса посетовала на войну, которая никак не кончится, на трудные времена и, заранее извинившись за скудость угощения, велела Викторине поскорее приготовить «тукаю». А пока варилась кукурузная каша по-марсельски, она силком потащила за собой жандармов по всему дому, от чердака до нижнего этажа; подвала у них не было, так как дом был построен на скале. Даже спальню она открыла и ввела туда гостей.

— Да, да, непременно зайдите. Потом сможете с чистой совестью написать, что осмотрели все помещение.



В ту самую минуту, когда они переступили порог спальни, взгляд Агнессы привлекла кобура револьвера, блестящая, тяжелая даже на вид, свисавшая с ремня на правое бедро жандарма. И когда они вдвоем очутились в спальне, Агнесса вдруг вспомнила, что в стенном шкафу за стопками белья спрятан браунинг Ксавье и целая коробка патронов. Но если она и подумала о браунинге, то вовсе не от страха, что во время этого импровизированного обыска могут найти запрещенное в те времена оружие. Просто она вспомнила о револьвере впервые после оккупации и только тогда, когда в ее доме появились прислужники Виши и немцев, разыскивающие спрятанного ею человека.

Тем не менее план ее удался: жандармы выбрались из ее дома только поздно вечером, когда уже совсем стемнело.

— Вы идете в порт? — спросила она. — Викторина, покажите этим господам кратчайшую дорогу, а то ни зги не видно. А заодно загляните в бакалейную лавку и передайте им талоны на шоколад для Рокки. А также для Ирмы. Вчера шоколад еще не распределяли; если бакалейщик получил шоколад сегодня, воспользуйтесь случаем и возьмите его.

Успокоившись на этот счет, — Агнесса знала, что Викторина не отстанет от жандармов и дойдет с ними до порта, — она подождала минут десять, то и дело поглядывая на свои часики, потом, захватив провизии вдвое больше обычного, побежала к «Инжиру».

Цыган сразу понял все. При свете фонарика, который держала Агнесса, он разрушил свое жилье, уничтожил все его следы, и с одним одеялом и мешком провизии он исчез на глазах Агнессы в непроглядно темном море зарослей.

Агнесса указала ему в темноте, как добраться до вершины, откуда был виден весь остров. С минуту она неподвижно стояла на месте, вслушиваясь во мрак, как будто надеялась, что цыган вернется. Но только ветер свистел в соснах да приглушенный гул моря доносился сюда, на этот пригорок. Агнесса направилась домой и возвращалась гораздо медленнее, чем шла сюда. Она шла, прижав к боку пустой чехол, из которого вытряхнула сосновые иголки, запасное одеяло — все, что осталось от цыгана, — и всю эту долгую дорогу бок о бок с ней шагала грусть.

Ночи, сон несли с собой тревогу. Она беспокоилась о своем отшельнике, и ничто не могло ее отвлечь: ни два письма, полученные от родных, где сообщались не особенно утешительные сведения о Симоне, но после своего путешествия в Париж



Агнесса уже не могла не видеть, что судьба военнопленного брата стала ей безразлична; ни стабилизация фронта в Ливии, что передало и подтвердило радио; ни кампания итальянской прессы, требовавшей передачи Италии Ниццы, Корсики и Савойи, хотя эти требования взволновали весь Лазурный берег. Бессонными ночами перед Агнессой возникал образ затравленного человека, таящегося во мраке среди вересковых пустошей, забившегося под уступ скалы, а с зарей занимавшего наблюдательный пост — возможно, им служила вершина дерева, — откуда его беспокойный взгляд следил за всей округой. А она тем временем нежится в кровати, узнает о том, что занялась заря, лишь по мирным розоватым бликам, пробегающим вдоль портьер.

Именно в такие минуты пыталась она представить себе лицо цыгана. Но память подсказывала лишь тонкий силуэт, бесшумную поступь, непостижимо блестящие волосы. Она вспоминала его лицо таким, каким оно было в первую их встречу в Кань, во время их совместного путешествия в Пор-Кро, в первые дни отшельничества, и позже, когда оно заросло бородой и напоминало мрачный и смутный лик, черты которого исчезли из ее памяти.

Когда Агнесса подсчитала, что продукты, которые она вручила цыгану в вечер появления жандармов, должно быть, уже пришли к концу, она ночью вышла из дома с новым запасом провианта. Несколько раз прошла она весь сосновый лес, где они тогда расстались; она бродила, все расширяя круги, в надежде, что он ее ждет и сумеет разглядеть в темноте. Пусть они с трудом понимали друг друга, она чувствовала, знала, что между ними существует взаимное понимание, какая-то внутренняя близость. Свет ущербного месяца еле пробивался сквозь ветви. Агнесса бродила по лесу, не боясь заблудиться, в том состоянии уверенности, которая безошибочно ведет лунатика. Но сосновые иголки, устилавшие землю, потрескивали лишь под ее собственными ногами; три ночи подряд она возвращалась домой, так и не встретив того, ради кого вслепую бродила во мраке. Викторина, струхнувшая после появления в доме синих жандармских мундиров, явно не намеревалась пускаться ночью на поиски. Возвращаясь домой, Агнесса всякий раз заставляла ее бодрствующей на кухне.

— Не встретила, — говорила хозяйка, кладя мешок с провизией на край стола и без сил опускаясь на табурет.



На четвертую ночь перед нею на тропинке внезапно вырос цыган; он стоял прямой, неподвижный, словно эта мгла, ветер, сумеречная луна помогли ему материализоваться.

— Наконец-то, — еле слышно шепнула Агнесса.

Она остановилась. Сердце громко стучало в груди. Призрак сделал шаг вперед. Агнесса увидела возникшее во мраке и в ее памяти почти нечеловеческое лицо, обросшее бородой, казавшееся еще более звериным из-за блеска выпуклых белков и беспокойного взгляда. При его приближении, которое настигло ее словно внезапно вспыхнувший луч, она отступила, поскользнулась на хвое и мягко упала навзничь.

А цыган уже наклонился над ней. Она сопротивлялась, но не борясь, не протестуя всем существом, не возмущаясь. Она почувствовала на своем лбу прерывистое дыхание, потом борода прижалась к ее лицу, вовсе не такая жесткая, какой она казалась ей раньше. Ночной призрак был с ней рядом, что-то шептал, а что — она не понимала. И пока она отталкивала его руки, шарившие по ее одежде, она узнала тот дух, который подымался тогда из логова. И точно такое же оцепенение сковало ее сердце и разум. Она знала, что уступит, она уже мысленно уступила. Но атака была столь недвусмысленна и груба, что застигнутая врасплох Агнесса испустила громкий крик и упругим движением вскочила на ноги.

— Нет, — произнесла она. — Нет, нет, не хочу! — и, поднеся обе руки к лицу, судорожно потерла то место, где щеки покололо бородой.

Стоя во весь рост, она протянула цыгану мешок с провизией, повернулась к нему спиной и убежала. Но он не стал ее преследовать.

После этой сцены Агнесса предпочла меньшее из двух зол и отваживалась ходить на свидание с цыганом только днем. Для этой цели она выбрала полдень, потому что теперь, с приближением лета, полуденное солнце дышало жаром и загоняло людей в дома. Нашелся и естественный тайник между корнями подмытой весенним половодьем сосны, на склоне холма, неподалеку от места их последней встречи. Агнесса оставляла там мешок с едой. Ежедневно в течение недели она ходила проверять тайник и всякий раз обнаруживала, что к мешку никто не притронулся. Но в один прекрасный день мешок оказался пустым, и вместо исчезнувших продуктов в него сложили пустые консервные банки и сальную бумагу; значит, цыган наконец обнаружил



тайник. С тех пор она стала приносить еду через четыре дня на пятый. Ни разу ей не удалось заметить цыгана, а ведь, возможно, что, спрятавшись где-нибудь поблизости, он ее видел: между ними установилось новое молчаливое согласие. А время шло.

Сон вернулся к Агнессе. Но она снова забеспокоилась, узнав, что в порту поселились два полицейских инспектора. Их прислали на смену тем двум жандармам, которых в спешном порядке удалили с Пор-Кро после их розысков, и розысков явно неудачных. Поэтому в дни передачи продуктов цыгану Агнесса действовала особенно осторожно и прибегала к помощи Викторины, которая страховала ее от возможной встречи с инспекторами и первой шла по тропинке с пустыми руками. Теперь уже для этих операций был твердо установлен полдень, когда жители отдыхали по домам и даже неугомонная Ирма дремала в комнате Рокки. Все проходило гладко, но Агнесса не особенно доверяла этой легкости, тем более что инспекторы еще не появлялись на мысе Байю. По-видимому, новые полицейские, более искушенные, а возможно, учтя опыт незадачливых жандармов, решили вести розыски в ином направлении, не начинать их на пустом месте. Однако сразу же пошел слух, что один из вновь прибывших инспекторов не выходит из порта, проверяет как по прибытии, так и при отбытии моторки всех пассажиров, контролирует даже выезды таможенников и, стоит только кому-нибудь из рыбаков подойти к своей лодке, стоящей на причале, чтобы осмотреть ее, как инспектор оказывается тут как тут. А что тем временем делал второй инспектор? Он исчезал по целым дням, хотя никто не видел, чтобы он отплывал на материк. Встревоженная Агнесса то твердила, что вокруг цыгана бесшумно сжимается сеть, упрекала себя, что вовремя не отслала его на материк, обвиняла себя, что своей неосторожностью навлекла опасность на сынишку, то ей казалось, что она преувеличивает угрозу. Ночью, даже после комендантского часа, она вдруг выходила из дома с тщательно завешенными окнами, ибо не время было пренебрегать правилами затемнения, и долго стояла на крыльце, настороженно вслушиваясь в каждый шорох, в бесшумные шаги ночного зверька, в каждый звук, на который раньше, в другие времена, не обратила бы никакого внимания... А когда она слушала передачи из Лондона, то приглушала голос диктора до шепота, так что приходилось прикипать ухом вплотную к приемнику.

Даже в единственном утешении — посоветоваться с Мано — и то ей было отказано, ибо в подобных обстоятельствах нечего



было и думать об откровенном разговоре по телефону, а когда речь заходила о свидании, Мано всякий раз ссыалась на невозможность вырваться из дому.

Так продолжалось вплоть до той ночи, когда Агнесса вдруг услышала, что кто-то скребется в ее окно. Она спала, когда до ее сознания дошел этот звук,— возможно, скреблись уже давно. Стрелки на светящемся циферблате часов показывали начало третьего. Не надев даже шлепанцев, она подбежала к окну, подняла занавеску, откинула кисею от москитов, подождала с минуту и, когда кто-то снова поскреб по ставне, шепнула:

— Кто там?

— Es aï<sup>1</sup>,— ответили из темноты, и она узнала голос цыгана.

— Подождите, я сейчас выйду.

Услышав его голос, Агнесса не сомневалась: лишь какое-нибудь чрезвычайное событие могло побудить цыгана искать с ней встречи в неурочный час и даже рискнуть явиться сюда. Агнесса зажгла свет в спальне, прошла в свой кабинет, но там не включила электричества. Она открыла дверь на террасу, махнула цыгану, чтобы он вошел, и он бесшумно проскользнул в темную комнату.

— Что случилось? — спросила Агнесса.

— Aï rencountra l'inspecteur. L'aï tuga<sup>2</sup>.

— Боже мой!

И прежде чем она решила, что теперь делать, в голове ее пронеслась картина: в перелеске цыган натывается на инспектора и, ловко предупреждая атаку, отстраняется от направленного на него дула, вступает с полицейским в борьбу и убивает его. А возможно, просто душит. И представив себе эту сцену, она вдруг овладела собой.

— Как вы это сделали? Как вы его убили?

Цыган вытащил из кармана какой-то предмет, и на его раскрытой ладони Агнесса увидела длинный нож. «Правильно, что он не выбросил ножа где-нибудь по дороге, у него редкое самообладание...» И тут же у нее в голове мелькнула не так четко сформулированная, как первая, мысль, что, возможно, цыган уже не впервые прибегает к помощи ножа.

Она опустилась на стул, совсем забыв, что ничего не накинула поверх пижамы, заранее переживая свое соучастие

---

<sup>1</sup> Это я (провансальское наречие).

<sup>2</sup> Я встретил инспектора. Я его убил (провансальское наречие).



в преступлении и уже не боясь этого человека, ставшего убийцей. Полоска света, пробивавшаяся из дверей спальни, облегчала их беседу, состоявшую наполовину из жестов. Агнесса стала расспрашивать цыгана. Он нагнулся к ней и, не повышая голоса, рассказал ей все подробности. Из его провансальской речи Агнесса поняла, что событие произошло после полудня, что цыган спрятал труп, дождался, когда скроется луна, и пришел к ней за советом. Ибо теперь необходимо убрать тело.

Агнесса прошла в спальню, чтобы переодеться. Она с умыслом надела брюки, в которых ездила на рыбную ловлю; они не так стесняли движения, как юбка. Прицепила к поясу электрический фонарь и, зарядив револьвер Ксавье, положила его в карман. Затем потушила в комнате свет. Очутившись в непроглядной тьме, она взяла цыгана за руку, чтобы провести его по лестнице из камней, сложенной самою природою, и избежать лишних поворотов извилистой тропинки. Она сама вела его.

В чащобе, уткнувшись лицом в траву, их ждал труп. Агнесса зажгла фонарь, и цыган, схватив тело за ноги, вытащил его на свободное пространство и повернул лицом вверх. Пучок голубоватого света, направляемый пока еще твердой рукой, скользнул по непромокаемому плащу, надетому поверх костюма; фетровая шляпа сбилась на затылок, открыв лицо, невидящие глаза; на лице застыла гримаса беспомощности и последнего усилия, в котором запечатлел его навеки удар ножа, как на моментальной фотографии. Фонарь потух. Вовсе не это выражение мертвого лица потрясло Агнессу, даже не кровавое пятно, выступившее на левом боку и расползшееся по краям дырки на плаще; но при виде этого полицейского в штатском костюме Агнесса при всем своем желании не могла обнаружить тех чувств, которые забурлили в ней три недели назад при виде жандармов в полной форме. Ее цыган и впрямь убил человека, соучастница убийцы — вот кто она теперь.

Тут только она спохватилась, что надо действовать и действовать быстро. Для того чтобы зарыть тело, следует сначала найти на острове укромное место, где имеется достаточно мощный слой почвы, а таких мест здесь мало, и все они возделаны. А там, где они с цыганом находятся сейчас, в этом сосняке, лишь тонкий слой перегноя покрывает скалу, да и то не везде. Нет, единственная стихия, где можно похоронить человека, стихия, которая скроет его навеки, — это вода, море, которое неумолчным шумом напоминало им даже здесь о своем присутствии.



Агнесса подумала о Пуант Русс. На этом мысе, образующем один из многочисленных углов острова, встречаются два течения и, сливаясь в один мощный поток, уходят в открытое море. В лучшие времена рыбаки и туристы на каноэ опасались этой волны среди волн. Если труп с небольшим грузом спустить на воду в нужном месте, его затянет вглубь метров на пятьдесят. А там...

Опершись одной рукой о ствол сосны и прижав другую ко лбу, Агнесса заставила себя рассуждать спокойно, проверять разумом каждое из своих решений. Цыган, несомненно, понимал причины ее молчания. Безмолвный и невидимый, он ждал, и она чувствовала сквозь толщу мрака его близость. Главную трудность составляло расстояние: придется нести труп примерно километра три.

Однако иного выбора не было. Агнесса изложила план своему собеседнику. Но донесет ли он один мертвеца? Он ответил, что донесет. Он поднял труп. Агнесса придерживала неподатливое тело, уже успевшее окоченеть, и в течение нескольких секунд мертвый человек и человек живой простояли лицом к лицу в неподвижном объятии. Потом цыган присел, чтобы взвалить труп себе на плечи. Мертвец пошатнулся, но не уступил. Корпус уже лежал на спине цыгана, но ноги отказывались повиноваться без посторонней помощи. Пока цыган стоял, согнувшись дугой, Агнесса ухватила окоченевшие ноги, налегла на них всей тяжестью, и они образовали прямой угол. Таким образом, несущий мог скрестить поверх них руки и сбалансировать ношу. Агнесса взяла шляпу инспектора и обшарила карманы, чтобы по дороге из них ничего не выпало.

Путь оказался невыносимо трудным. Сначала Агнесса сбилась, но цыган положил свою ношу на землю, остановился, огляделся, и, проследив за направлением его руки, она нашла дорогу. Они обошли с тыла мыс Байю. Агнесса освещала тропинку, и порой она, а не цыган со своей ношей, спотыкалась о камень.

Когда же в скалах путь им преградила каменная осыпь, пришлось переменить тактику. Агнесса взяла труп за ноги, — так впрягаются в тачку, и несла его, шагая впереди цыгана, который держал мертвеца под мышки. Теперь, прежде чем ступить, она ощупывала тропинку ногой, и, когда от неосторожного шага срывался камень, оба садились прямо на землю, тогда страшная ноша оказывалась внизу под Агнессой, и цыган удерживал труп на себе.



Дойдя до берега, где грохотали волны, они сделали передышку. Агнесса решила было, что лучше всего обвязать мертвеца сетями, чтобы не рассыпались камни, которые послужат грузом. У нее дома были сети, но в случае, если обмотанный ими труп выплывет на поверхность, ее опознают. Не решаясь зажигать в открытом месте фонарь, они с цыганом стали на ощупь собирать плоские камни и запихивали их под одежду мертвеца. Туго затянув пояс плаща, они загрузили верхнюю часть тела. И чтобы уравновесить груз, расстегнули брюки полицейского и тоже насовали туда камней.

Затем они оба вошли в воду, и так как Агнесса плавала лучше цыгана, она шагала впереди и тащила мертвеца, пока не почувствовала близость сливавшихся течений. Она предупредила своего спутника об опасности — дальше идти не следует, — и они опустили свою ношу в воду. Затем повернули обратно, выбрались на берег, огляделись, нашли электрический фонарь и свою обувь, лежавшую рядом со шляпой покойника и обнаруженными в его кармане вещами, которые Агнесса решила сжечь дома.

На полдороге, когда они шли уже обратно, Агнесса попросила у цыгана нож. Она снова спустилась к морю, только в другом направлении. Эту бухточку она знала и называла ее про себя «подводная терраса», потому что под водой находилась скала с плоской, как площадка, вершиной, возвышавшаяся над бездонным провалом, уходившим наподобие пещеры под землю. Она дошла по воде до затопленного края выступа и бросила нож в глубину.

Цыган ждал ее у спуска в бухту. Схватив Агнессу за руки, цыган не без труда вытащил ее на берег. Она вымокла, отяжелела, тряслась всем телом, задыхалась, но не издала ни звука. За все это время они обменялись всего двумя-тремя словами. Выбравшись наверх, Агнесса вцепилась в руку цыгана, она просто не могла дальше идти. Еще ничто не предвещало близкого конца ночи, но самое страшное испытание было для них уже позади. Цыган поддерживал Агнессу, которая буквально не держалась на ногах, взял даже ее за талию, но очень осторожно, стараясь не прижимать к себе. Однако она чувствовала идущее от него тепло. Ей пришлось входить в воду второй раз, чтобы забросить нож, и теперь она, прильнув к цыгану, ощущала жар этого могучего тела, полуприкрытого одеждой, уже успевшей просохнуть.



И вдруг колени Агнессы подогнулись, уперлись в траву, с губ ее наконец сорвался стон, и она притянула к себе своего спутника.

Вопреки голосу благоразумия цыган остался на острове. Он мог бы укрыться на соседнем островке Баго, отделенном от Пор-Кро проливом всего в пятьсот метров шириной. Агнесса предложила проплыть с ним вместе это расстояние как-нибудь вечером после захода солнца. Он отрицательно мотнул головой, но не объяснил своего отказа. Она не повторила предложения. Каждую ночь она выбиралась из дому, шагала в неопределенном направлении, потом сворачивала с тропинки в первый попавшийся лесок или углублялась в кустарник, и всегда он отыскивал ее. Ей не приходилось ждать. Всякий раз он оказывался рядом, будто следовал за ней от ее дома или же чуял ее на расстоянии.

Любовные их встречи были безмолвны, осенены крылом опасности. Порой они разжимали объятия, охваченные общей тревогой, вслушиваясь в ночь, и даже в самые сладостные минуты удерживали дыхание. Расставались они так же молча, без слов.

Как-то ночью Агнесса ждала, но он не пришел. И следующую ночь тоже. И еще следующую ночь. Она поняла, что он никогда не вернется к ней, что он покинул остров и ее. Он исчез.

Иногда вечерами он возникал в ее памяти. Тогда Агнесса, не выдержав, выходила из дому, не питая, впрочем, никаких иллюзий. Ноги несли ее в те места, где, как она знала, можно было обнаружить хотя бы напоминание о ее человеке-звере. Но она не сворачивала в сторону бухты, на дне которой покоился нож, и не искала уголки, где проходили их последние встречи. Она шла на ту тропинку и ложилась на ковер сосновой хвои в том самом месте, где когда-то сказала ему «нет».





лло, Мано! Говорит Агнесса!

— Ах, миленький. Рада вас слышать. Что нового в ваших краях? Все идет благополучно?

— Почти.

Последовала краткая пауза. Помимо того, что Мано по нынешним временам привыкла ко всевозможным сюрпризам, она достаточно хорошо изучила нрав своей подруги и сразу обнаружила в этом «почти» что-то необычное.

— Да, да,— продолжала Агнесса.— Я имею в виду трудности с продуктами. Вообразите, у меня нет больше вина, я имею в виду граппа.

По ту сторону провода замолчали. После посещения Брегьера словом «граппа» женщины называли цыгана в письмах и телефонных разговорах, если возникала необходимость срочно передать какие-нибудь важные сообщения о нем. В северной зоне с сорокового года, а позже, когда немцы перешли демаркационную линию, то и по всей Франции из конца в конец люди, переговариваясь по телефону, прибегали к различным словесным уловкам, порой довольно неуклюжим, что не могло обмануть сеть подслушивания, но по крайней мере служило отдушиной жителям оккупированной Франции, страдавшим от своего бессилия и унижения.

— У вас, значит, украли граппа? — переспросила Мано.— Что же, за ним приходили?

— Нет... Оно... Оно просто испарилось, и никаких следов не осталось. Уже десять дней... Сначала я думала...

Обменявшись еще несколькими невинными репликами, приятельницы заговорили о том, что хорошо было бы повидаться, и на сей раз Мано не пришлось долго уламывать. Они условились, что каждая проделает половину пути, встретятся они на следующий день и позавтракают в Сен-Рафаэле, где автомотриса, которой пользовалась Агнесса, пересекала железнодорожную линию, проходящую через Кань.

— Захватим бутерброды,— сказала Мано,— и давайте встретимся на пляже. Если будет тепло, то и выкупаемся.



Купаться им не пришлось. Мистраль, вырвавшийся из долины Аржана, набросился на Сен-Рафаэль, и приятельницы, не торопясь, направились вдоль Корниш д'Ор. Когда они миновали последнюю гостиницу, прохожие вообще перестали попадаться им навстречу. Мано выбрала скамеечку поукромнее на этом пустынном бульваре, где бушевал ветер. Здесь было спокойнее, чем в самом тихом ресторанчике города. Они сели и развернули свои бутерброды.

— Ну? — спросила Мано.

Агнесса изложила ей ход событий. Рассказала о тайнике «Инжир» и появлении жандармов на мысе Байю, о цыгане, укрывшемся в маки на Пор-Кро, об убийстве полицейского, которого они перетащили через весь остров и бросили в воду; рассказала все, за исключением того, что последовало после, хотя именно это ее и мучило. Она замолкла. Мано круто повернулась к ней. Держа в руке недоеденный бутерброд, подставив немолодое раскрашенное лицо южному солнцу и мистралю, Мано глядела на Агнессу так пристально, что та решила — тайна ее разгадана. Но Мано просто с интересом смотрела на эту женщину, на эту дочь потомственных буржуа, которая так спокойно говорит о своем соучастии в убийстве.

— А знаете, вы просто молодец, — произнесла наконец Мано задумчивым тоном, в котором невольно проскользнула нотка удивления. — Буссардели все же произвели на свет нечто стоящее: вас.

Агнесса почувствовала облегчение, услышав похвалу из уст старшей подруги. К законной ее гордости примешивалась теперь радость по поводу того, что она не открыла своей тайны. Это мгновенное искушение объяснялось скорее желанием поразить подругу, нежели потребностью пооткровенничать, ибо тайна эта даже для нее самой была слишком интимной, а главное, по правде говоря, не имела никакой связи с той помощью, которую она оказала преследуемому, повинувшись моральному кодексу, обязательному для обеих женщин. И, как знать, поняла бы Мано при всем своем свободомыслии эту любовь без слов?

— А скажите, миленький, — продолжала Мано, — у вас на острове еще никого не арестовали?

— Нет.

Агнесса объяснила, что тело полицейского еще не обнаружено, но в связи с его исчезновением в Пор-Кро прибыл отряд жандармов. Однако на острове репрессий пока нет.



— Скажите только мне одной,— проговорила Мано.— Положа руку на сердце, вы боитесь?

— Ну конечно же, за цыгана.

— За вашего подопечного? Но он вернулся на материк, бог с вами!

— Вы так думаете?

— Если бы он остался на острове, вы бы его увидели, ведь так?

— Я тоже так подумала, но ведь я могу и ошибиться,— произнесла Агнесса и, поднося ко рту бутерброд, опустила на него глаза.— Для очистки совести я в течение нескольких дней прятала еду между корнями сосен. Но она оставалась нетронутой. Вот я и подумала, что, возможно, он ранен, сорвался с утеса.

Мано пожала плечами.

— Поверьте мне, цыган отнюдь не сумасшедший, чему доказательством рассказанная вами история: он просто скрылся, вот что он сделал. Но не прибег к той сети, что прежде, иначе я бы знала. Возможно, у него другие связи в Пор-Кро. Ну, скажем, через ваших таможенников.

— Я не решалась с ними об этом заговорить.

— Этого только не хватало!.. Что поделаешь,— добавила Мано, стряхивая с юбки крошки, потому что завтрак был уже окончен.— Вплоть до нового распоряжения мы ему ничем помочь не можем. Я сигнализирую о том, что он уже вне нашей сферы.

То, что Мано с такой легкостью сделала свои выводы и поставила таким образом точку на этом приключении, разочаровало Агнессу. Она продолжала настаивать: неужели действительно нельзя даже попытаться помочь цыгану? Услышав отрицательный и категорический ответ приятельницы, Агнесса замолчала, потом спросила, доверят ли ей при первой же возможности еще какое-нибудь небольшое поручение.

— Хладнокровнее, Агнесса, хладнокровнее! Откуда вы знаете, что за вами не следят? За мной-то уже давно установили слежку.

Мано дала понять, что кое-кто в Кань донес на нее как на подозрительную личность. Она добавила, что сейчас самое разумное, что они могут сделать,— это расстаться и вернуться каждая к себе поодиночке. И так как автомотриса Агнессы уходила через полчаса, они решили распрощаться немедленно.



— Возвращайтесь в город одна, будьте пайинькой. А я еще здесь поброжу. Когда вы уедете, я поеду на вокзал и сяду в первый же поезд, идущий в направлении Ниццы.

— Вы хоть позвоните мне сегодня вечером?

— Хорошо, если вы так хотите. Расскажите мне о вашем мальчугане.

Они расцеловались, разошлись в противоположные стороны, и Мано зашагала к Булури. Два или три раза оглядывалась Агнесса на ее уменьшавшийся с каждой минутой силуэт не в силах справиться с какой-то смутной тревогой. По тому, как приняла Мано рассказ о цыгане, по ее хладнокровию и осторожности Агнесса догадалась, что ее подруге грозит куда бóльшая опасность, чем ей самой, и, очутившись на сен-рафаэльском вокзале, она вдруг подумала, что, возможно, видела Мано сегодня в последний раз.

Напрасные страхи. В тот же вечер по телефону они болтали о самых пустяковых вещах. Жизнь шла своим чередом. Рокки, очень гордившийся тем, что собственноручно посеял рядок моркови и что сегодня днем показались первые зеленые ростки, особенно же гордившийся тем, что он таким образом принимал участие в снабжении дома продуктами питания, потребовал, перед тем как отправиться спать, чтобы мама непременно рассказала об этом важнейшем событии маме из Кань.

Положив на рычаг телефонную трубку, Агнесса осталась наедине со своими мыслями. Строй их успел перемениться. Цыган уже начал тревожить ее одиночество. А в последующие ночи смело в нем расположился. Он посещал Агнессу в ее снах, он приходил рано или поздно, почти не претерпев изменений, неизбежных для тех, кто является нам во сне, но она сразу узнавала его по какой-то неуловимой шелковистой звероватости. Он становился неотступным и дарил ей наслаждения, отзвук которых преследовал ее еще при пробуждении. Однако эти воспоминания были свободны от горьковатого привкуса пепла. Агнесса спокойно принимала все это. Она зорко всматривалась в себя и видела себя насквозь. Никогда не забыть ей этого дикаря, который при первой встрече на даче в Брегьере так ее испугал, человека иной породы, иного мира, чьи руки однажды вечером были запятнаны кровью и чьей надежной сообщницей стала она.

Ничто ее не отвлекало, не отгоняло от нее чары. Днем, поглощенная заботами о сыне, играя с ним или просто наблюдая



издали за его играми на площадке или в зарослях вереска, она забывала образ цыгана. Но как только мать оставалась одна, она теряла неуязвимость. Когда наступила жара и вновь вернулась привычка проводить самые знойные часы у себя в спальне, этот второй дневной сон стал для Агнессы как бы продолжением ночного. Как-то раз после завтрака она положила Рокки с собой в постель, но сразу же началось обычное наваждение, и, проснувшись вся в поту, увидев рядом с собой невинное дитя, она отнесла мальчика в его кроватку.

Жандармы явились на мыс Байю допросить хозяйку, как они уже допросили прочих островитян. Но Агнессе показалось, что особых подозрений на ее счет у них нет. Тело инспектора, все его следы исчезли. Так же как и следы цыгана. В тайнике «Инжир», куда она как-то заглянула, равно как и в перелеске и на Пуант Русс, невозможно было обнаружить ни единого признака его присутствия. Только мешок с едой лежал нетронутый под корнями сосны, и Агнесса унесла его домой. Ни таможенники, ни обитатели Пор-Кро не произнесли ни единого слова, даже взглядом не дали ей понять, что цыган переправился морем на материк. Он исчез. Не очень задумываясь и лишь для того, чтобы оправдать в телефонном разговоре слово «граппа», Агнесса сказала тогда «испарился»; и оказалось, она нашла совершенно точный образ. Единственно, где продолжал неизменно пребывать цыган,— это в ее снах.

Прошло уже более десяти месяцев, как Агнесса покинула свою семью и авеню Ван-Дейка перестало вмешиваться в ее существование. Она получала оттуда ни к чему не обязывавшие письма. Назначение Симона опекуном Рокки, акт, которым она думала поразить Буссарделей и отдать им дань уважения и который, как оказалось, они сами весьма ловко подстроили, не вызвал к жизни никаких перемен. Но это затишье не усыпляло подозрений Агнессы. Мало-помалу она забыла Симона, который, несмотря на все лагерные испытания, не отказывался от своих недобрых намерений, грозил ее сыну, но она не забыла матери. В памяти ее жил образ Мари Буссардель, исхудавшей, сжигаемой страстями, засевшей среди решеток парка Монсо, как паук в центре паутины; она отдыхала теперь от своих козней и ждала, когда ее дочь наконец попадет в расставленные сети и увязнет в них.

Чувства Агнессы в отношении семьи сохранялись неизменными вплоть до конца лета, когда произошло чрезвычайное



событие: умер Симон. В письме, адресованном на мыс Байю, тетя Эмма сообщала эту весть: «Деточка, должна объявить тебе скорбную весть: скончался наш бедняжка Симон...» Засим следовали подробности. В течение долгого времени он прихварывал в своем лагере, но болезнь была недостаточно серьезной, чтобы его репатриировали, и вдруг у него сделался абсцесс в легком, унесший его в могилу в несколько дней. Агнесса не испытала глубокого потрясения. Время, потребовавшееся немецким властям для того, чтобы уведомить семью о кончине, тот факт, что брат покоем на лагерном кладбище, а главное, что его тело можно будет перевезти на родину лишь по окончании военных действий,— все мешало этой смерти на далекой чужбине стать животрепещущим событием и придавало ей какую-то официальную отвлеченность. Пока печальное известие из Кольдица не спеша достигло Парижа, а из Парижа пришло в Пор-Кро, к Агнессе, оно несколько поблекло в пути. Первой мыслью Агнессы было, что она избавлена от необходимости ехать в Париж по случаю семейного траура. Обстоятельства, переживания, волнения, связанные в свое время с известием о том, что Симон попал в плен, и даже с извещением о смерти дяди Теодора, не повторились на сей раз.

Другая мысль была о сыне. До чего же она права, постоянно наблюдая за здоровьем Рокки! Ведь легкие слабое место их семьи. Раздумывая о причинах смерти брата, Агнесса гнала прочь само собой пришедшее чувство огромного облегчения. Симон умер, противная сторона лишилась своего лидера. Вторично Агнесса не попадет в ловушку, и Мари Буссардель, которую несомненно сломила смерть сына, Мари Буссардель, лишившаяся отныне Симона, ради кого и через кого она действовала, не подымет меча, выпавшего из бесценной для нее руки сына. Смерть Симона — это гарантия безопасности.

Агнесса не поскупилась на эпистолярное излияние чувств. Она понимала, что там, в Париже, ей не удалось бы разыграть скорбь, равную скорби всей семьи, и в первую очередь — матери, зато она сумела обнаружить, усевшись за письменный стол, достаточно мощные источники взволнованности, которой хватило на несколько писем, ничем не похожих одно на другое и адресованных матери, отцу, вдове, брату покойного и еще одно — тете Эмме. Она достаточно искренне втянулась в игру, ибо отсюда, с мыса Байю, перед ней возникал образ старшего брата дней ее юности, чья враждебность держала ее на чеку уже тогда,



и с которым дело доходило чуть не до драки, а не своего расчетливого противника, сбросившего маску в день смерти Ксавье. И наконец радость при мысли, что над головой ее сына уже не висит дамоклов меч, придала ей красноречия и благодушия.

Ей ответили все, кроме матери, которая извинилась за свое молчание через отца, что, впрочем, Агнесса сочла вполне естественным и в конце концов самым прекрасным выходом для них обеих. Эмма сообщила по секрету, что у Мари Буссардель, «хотя она и моложе на целых тринадцать лет», после страшной новости начались сердечные приступы. Тогда как она, старая ее тетка, которой стукнуло все семьдесят, слава тебе господи, еще жива и здорова, к великому благу домочадцев, о которых ей положено печься. «Ну,—подумала Агнесса,—Рокки теперь может спать спокойно».

Итак, внешнее затишье, которому Агнесса не позволяла себя усыпить, стало после смерти военнопленного Симона подлинным, уже ничем не грозящим затишьем. И затишье это длилось. Память о цыгане, хотя прошло уже полгода, не потускнела. Агнесса, в которой близость этого столь нового для нее существа пробудила полузабытую остроту чувств, с удивлением обнаружила, что, оказывается, существует память плоти и что плоть не столь забывчива, как ум. Но одни лишь ночи, лишь бессонница и сны были отданы во власть воспоминаний; та проницательность, с какой она сама осознавала свое состояние, не приносила умиротворения чувствам, зато удивительным образом просветляла ум.

Теперь она чаще, чем когда-либо, слушала английское радио. Операции союзников в Сицилии и Италии, капитуляция итальянской армии, высадка французских войск на Корсике — словом, все те события, которые всколыхнули Лазурный берег, пожалуй, сильнее, чем всю остальную Францию, повлекли за собой усиление репрессий, но все это не только не вывело Агнессу из состояния неестественной апатии, а, напротив, целиком погрузило в бездеятельность, подобную параличу. Она присутствовала при всех этих страстно чаемых переменах, которые совершались чуть не на ее глазах, но ни в чем не принимала участия. Этот период времени стал для нее глухим интервалом, мертвой полосой бытия, через которую прошел каждый в дни оккупации и которая вклинивалась в повседневный быт человека сначала незаметно, затем завладевала им, не позволяя надеяться на то, что ей придет конец, притупляла ум и сердце своей унылой скукой, и все



это вопреки каждодневным заботам, боязни за других и за себя, вопреки самой надежде. Среди всеобщего ожидания эта пустота жизни отдельного человека превращала само ожидание в бесконечность. В один прекрасный день человек вырывался из этого плена не так под влиянием событий общемирового значения, как из-за своего личного горя, нависшей угрозы, разрушенного очага, смерти близких, застигавшей вас в ту минуту, когда по своей вялости вы меньше всего готовы были защититься от беды и способны были наделать ошибок и промахов. Кончина брата на немецкой земле, казалось, должна была послужить для Агнессы таким толчком к пробуждению. Но нет! И она даже не стыдилась, что этого не произошло. Не она причина того, что семейная неприязнь продолжает жить и даже сплотила против нее большинство ее родичей; не ее вина, что смерть Симона означала для нее лишь то, что на мысе Байю стало одной угрозой меньше. Она говорила это себе и повторяла без цинизма, но и без лицемерия, в силу той же самой честности, которая с сорокового года удерживала ее от патриотической фразеологии и жестов, на что не скупились многие, хотя в конечном счете девяносто девять французов из ста, да и она сама ограничивались тем, что «ждали».

Как-то ноябрьским вечером незадолго до обеда раздался телефонный звонок. Агнесса надеялась услышать голос Мано. Но говорил мужчина и сразу же назвал себя.

— Говорит Казелли. Агентство Казелли в Ле Лаванду, в порту. Я держу также книжный магазин. Вы должны его знать, вы не раз брали у меня книги.

Агнесса действительно помнила книжный магазин. Агентство Казелли помещалось неподалеку от пляжа, в самом крайнем доме на улочке, густо обсаженной деревьями, что шла между рыбачьим портом и главной авеню. Но вот что касается покупки книг, этого она припомнить не могла. У нее в Гиере был свой книготорговец, снабжавший ее литературой.

— Ну конечно же,— ответила она на всякий случай, ибо так же, как и все прочие, при телефонных беседах легко переходила на условный язык.

— Книга, которую вы, мадам, хотели иметь, поступила в продажу. Ее прислали почтой, и я держу ее специально для вас.

Агнесса, которая сняла трубку с мыслью о Мано, решила, что речь идет как раз о ней.



— Очень хорошо, мсье Казелли. Я заеду к вам за книгой. Завтра или послезавтра на велосипеде.

До Ле Лаванду от Ля Полин было всего три остановки, если ехать на автомотрисе, но от Гиера надо было еще добираться до железнодорожной ветки, тогда как от Сален де Гиер по шоссе это составляло не более двадцати километров. Агнесса оставила в Салене на хранение у знакомых рыбаков свой велосипед и, попадая на материк, разъезжала на нем по делам, как, впрочем, поступали в те времена многие, если речь шла не о слишком больших расстояниях. Автобусное сообщение давным-давно отошло в область предания.

Утром следующего дня она была уже в Ле Лаванду. В агентство Казелли попадали через контору, помещавшуюся в ротонде, которая выходила прямо на улочку, а из этой первой комнаты — в смежный с ней магазинчик с двумя витринами, через одну виднелись порт и площадка для игры в шары, через другую — авеню, где сновали прохожие. Здесь продавали книги, а также выдавали их по абонементу на дом, и все это в нарочито модернистской обстановке в подражание книжным магазинам на левом берегу Сены. Приколотые к стенам репродукции Брака и Хуана Миро взирали без малейшей иронии на прилавок, специально отведенный под литературу на провансальском наречии. Среди разложенных там книг на видном месте помещались творения самого господина Казелли, ибо этот книготорговец, он же агент по продаже недвижимого имущества, не желая довольствоваться своей деятельностью на двух поприщах, подвизался еще и в качестве местного литератора. Он писал поэмки и сказки, которые печатал здесь же, в Ле Лаванду, на двух языках — провансальском и французском. Агнесса сразу заметила на выставке его книжицы и тут только припомнила этого варского последователя великого Руманиля, ибо Ксавье был знаком с книготорговцем и тот раза два-три посетил мыс Байю.

Несмотря на свой резкий акцент, господин Казелли оказался на редкость красноречивым. Он усадил посетительницу на стул тут же в магазине и, проверив, хорошо ли заперты двери, приступил к делу.

— Мадам, мы можем беседовать здесь совершенно спокойно, находясь при этом на виду у тех, кто проходит по авеню или же в порту.

Он объяснил, что от Мано ему переслали небольшой ящик, его требуется доставить некоей старой еврейской даме,



укрывающейся в Верхнем Провансе и находящейся сейчас без средств к существованию. Мано, вручая ему этот ящичек, полученный от одного человека, посоветовала господину Казелли в свою очередь обратиться на мыс Байю и даже дала номер телефона.

— Но, мадам, она не ручалась, что вы сможете уехать из дому и выполнить поручение. Решайте сами. Подождите! — воскликнул он, видя, что Агнесса собирается заговорить. — Я хочу вот еще что сказать: ваша подруга не может сама взять на себя эту миссию, она дала мне понять, что за нею следят, и даже этот ящичек я получил не прямо от Мано, а через посредство третьего лица. А я, мадам, — добавил господин Казелли, — я здесь слишком на виду, я не могу отлучиться из города, не привлекая всеобщего внимания, и боюсь испортить все дело. Впрочем, если вы откажетесь, я поеду сам.

— Но я же согласна. Думаю, я даже знаю, о ком идет речь. Вам сообщили имя этой дамы?

— Мадам Сиксу-Герц.

— Ну, конечно! А где я ее отыщу?

— О мадам! В весьма необыкновенной местности. В самом сердце Барони. Вы о такой не слыхали? — с явным удовольствием осведомился господин Казелли. — Это название возникло давно, в эпоху, когда три ленных владения еще не были присоединены к Вьенну, другими словами, восходит к средним векам, и, ей-богу же, край с той поры совсем не изменился. Конечно, это отчасти соответствует тому, как изящно именуют эту местность в путеводителях и на картах — «Лавандовая дорога», но путь, которым вы поедете, скорее всего похож на путь в нездешний мир.

После всех этих объяснений, которые Агнесса, уже поднаторевшая в таких делах, запомнила наизусть, не записав ни слова, господин Казелли снял с полки книгу. Он вручил ее Агнессе, но названия она так и не узнала, ибо поверх переплета была еще черная люстриновая обложка, как это обычно делается в библиотеках. Она почувствовала на ладони вес и тяжесть томика и поняла, что вышеупомянутый плоский ящичек зашит наглухо в люстрин. Вручение книги происходило среди бела дня, и люди, проходившие мимо со стороны авеню или рыбацкого порта, вдоль обеих витрин магазина, могли при желании наблюдать обычную беседу между покупателем и продавцом, не слыша при этом ни слова.



— Мадам, и книга и обложка были мне вручены в этом виде. Полагаю, что там ящичек из-под сигарет, помните, были такие до войны? И что он четырехугольный и металлический. А его вес... да, черт возьми, по его весу вы можете легко догадаться, что именно поручают вам отвезти. А вы так же хорошо, как и я, знаете, что по действующим ныне законам хранение и перевозка золотых монет является тягчайшим преступлением. Но посылка хорошо упакована,— добавил он, потрясая книгой,— никакого звона. Однако книга самая настоящая и издание весьма ценное. Специально выбрана по желанию вашей подруги. Тот, кто вручил мне книгу от ее имени, передал и ее собственные слова: «Скажите молодой даме, что, перечитывая отдельные страницы, я вспоминала о ней и что на полях отметила одно место».

Склонив голову, Агнесса приоткрыла книгу *in octavo*<sup>1</sup>, шрифт которой, несмотря на маскирующую ее обложку, указывал, что томик напечатан в прошлом веке. Вверху случайно открытой страницы она прочла заглавие: «Письма госпожи де Севинье».

Отыскать помеченную страницу Агнесса решила потом, на досуге. Господин Казелли взял книгу, чтобы ее упаковать. Но Агнесса из предосторожности решила положить необернутый томик во внешний кармашек сумки, откуда он небрежно выглядывал. Эта сумочка на длинном ремне сопровождала Агнессу в ее парижском путешествии, на острове она ходила с пляжным мешком. Чтобы сумочка не мешала при езде на велосипеде, она надела ее через плечо.

Прибыв на мыс Байю, она кратко сообщила Викторине, что уезжает на несколько дней, а куда уезжает — не сказала. Посоветовала только во время ее отсутствия не звонить в Кань. В случае крайней необходимости пусть лучше позвонит господину Казелли, владельцу книжного магазина в Ле Лаванду.

Агнесса уехала из дому поутру, тускловатым рассветом, уже предвещавшим зиму, и, боясь, что разбудит Рокки, если зажжет у его изголовья лампочку, так на прощание и не поцеловала сынишку.

Агнесса рассчитывала доехать до Систерона на поезде, сдав в багаж велосипед, а уж оттуда по проселку добраться до отдаленного местечка, где нашла приют старушка. Изучив карту, она установила, что ей предстоит сделать на велосипеде меньше

---

<sup>1</sup> В восьмую часть листа (лат.).



восемидесяти километров, правда по очень извилистой и пересеченной дороге; впрочем, при ее физической выносливости этот переезд не представлял больших трудностей. «Самым мучительным,— думала она,— будет путь по железной дороге, в Марселе, очевидно, очень сложно пересаживаться, поезда переполнены, а в Систероне еще надо будет найти ночлег, чтобы отправиться в дорогу на заре, потому что дни стали уже заметно короче».

Первая часть ее программы прошла как по маслу. Толкотня у касс, на перроне и в поездах была ей уже не в новинку, а документы ее просматривали всего раз и ни о чем не спросили. Так ей и не понадобилось объяснять цель своей поездки в Барони, хотя она заранее выдумала вполне правдоподобный предлог. «Спросят наверняка по пути,— твердила она про себя,— за дорогами установлено строгое наблюдение».

В Систероне ей удалось найти номер в первом же отеле рядом с вокзалом, и на следующее утро, проверив шины, построив чемоданчик с личными своими вещами на багажнике, надев сумку через плечо и укрепив ее с помощью пояса куртки на правом боку, а книгу — главный объект экспедиции — спрятав в карманчик сумки, Агнесса вскочила на велосипед.

Проехав город, обогнув крепостную стену, затем резко свернув влево в направлении долины Бюеша, Агнесса сказала себе, что сейчас вот и началось приключение. Повернувшись спиной к восходящему солнцу, она углубилась в неизвестный край, который уже не был Провансом. Слова господина Казелли звучали в ее ушах, и она ждала, когда же, наконец, появятся «нездешние места», которые он ей посулил. Но, проехав целый час, она не обнаружила ничего «нездешнего» — здесь были все те же зеленые ущелья, долина в виде продолговатого чана, города, где жили самые обыкновенные люди.

И снова все тот же пейзаж. Агнесса катила уже два часа. Она рассчитала, что проехала половину пути, и улыбнулась своей доверчивости: ну как это она не почувствовала в словах провансальского барда из Ле Лаванду обычных южных преувеличений? Имел ли он в виду трудности подъема на некоторых крутых участках, где приходилось слезать с велосипеда, или, быть может, ветер, в котором Агнесса без труда распознала мистраль, яростно ударявший ей то прямо в лицо, то справа, сообразно поворотам дороги? Наконец она довела велосипед до начала длинного крутого склона и, обернувшись на лежавшую позади равнину, вдруг увидела ее всю — унылую, каменистую, голую,



Потом она опять шла пешком, подымалась, достигла ущелья. Путь ей преградила огромная отвесная скала, на самой вершине которой громоздились средневековые развалины.

Агнесса прошла пешком у подножья скалы, села на велосипед и углубилась в Барони.

Книготорговец оказался прав. Перед ней действительно был некий забытый мир, чудом уцелевший от иной эпохи. Изредка попадались вырубленные в скале строения, но беспощадное солнце разъело их, стерло, превратило в нечто бесформенное. Казалось, что это просто случайная игра горных пластов. Давно развалившиеся замки были неотличимы от руиноподобных утесов. Жалкие поселения лепились у подножья гор, словно выводок мокриц; чудилось, что они притаились, прикинулись мертвыми. Чтобы разглядеть эти жилища, надо было подойти к ним вплотную — до того сливались они с черным мергелем, нависавшим над дорогой. Ни занавесок на окнах, ни человеческого лица. Никто не повстречался по дороге. Виноградники исчезли, оливковые деревья остались позади. Погода хмурилась, но ветер гнал тучи, и порой в пробивавшемся сквозь них солнечном луче яростно вспыхивали бурые скалы, и тогда еще мрачнее чернела под ними пустошь. Застывший тысячелетия назад рельеф этих скал и долин давно превратился в какой-то хаос линий. Складки почвы сталкивались друг с другом, шли друг другу наперерез, громоздились друг на друга. Глаз, рассудок не могли вместить это зрелище. Дорога уже не шла плавными зигзагами, она судорожно извивалась, врезывалась в какие-то скважины и в то же время подымалась вверх и вверх, не давая просвета, безнадежно закрывая горизонт. Выйдет ли она хоть где-нибудь на простор или нет? Можно ли при желании вернуться назад и попытаться выбраться на открытое место каким-нибудь другим путем? Ну как тут не вспомнить укрытые от мира неприступные ленивые владения, защищенные самой природой от вражеского вторжения? Не чувствуя ни малейшей физической усталости, Агнесса гнала от себя эти романтические бредни, и тем не менее все здесь вопило о безнадежности и страхе, каре божьей, голоде и чуме; такой пейзаж мог существовать лишь в тысячном году. Ей хотелось выбросить из памяти варварские названия, которые с самого утра мелькали перед ней на указателях, но когда наконец после туннеля, который вился под Скалой Мертвеца, она въехала в другое ущелье и, боясь заблудиться, сверилась с картой, то обнаружила, что вершина, подымавшаяся



по левую ее руку, называется гора Саван. Голова у нее пошла кругом.

Она присела на откос дороги, перевела дух, снова и уже более подробно изучила карту: до цели ее путешествия оставалось еще десять километров, и тут только она поняла свою ошибку. Всему виной был этот господин Казелли, наболтавший ей невесть чего о Верхнем Провансе. Вовсе ей не обязательно было ехать через Барони; деревушка, где жила госпожа Сиксу-Герц, находилась ближе к Ниону, чем к Систерону, и железная дорога, вернее железнодорожная ветка, проложенная по долине Роны, доходила до самого Ниона. Но с фатализмом, неизбежным при таких поездках, Агнесса подумала, что если бы она выбрала другой маршрут, возможно, все не обошлось бы так гладко. На магистральной линии между Марселем и Лионом, где всегда полно пассажиров, должно быть, идет строгая проверка, и, во всяком случае, более строгая, чем на этих дорогах, где она не встретила ни души. И потом, намучившись в Барони, она тем самым дорого заплатила за доброе дело, которое, не потребовав от нее никаких усилий, не было бы с ее стороны заслугой... Просто она вернется через Нион, вот и все. Помимо всех прочих преимуществ, тут имеется еще одно: дважды ее на этом пути не увидят.

Она села на велосипед и тихонько покатила вперед на свободном ходу. Дорога, плавно изгибаясь, спустилась в Долину Тоски.

Агнесса перебралась через реку, и тут ей пришлось преодолевать отрог горной цепи. Очутившись, наконец, в деревушке, состоявшей всего из нескольких домиков, прилепившихся к подножью скалы, — да и то почти все они лежали в руинах, — Агнесса в первую минуту усомнилась — туда ли она попала. Но дорога переходила в улочку, а та упиралась прямо в гору и никуда не вела. Агнесса постучалась в какое-то окошко, и на ее стук оно приоткрылось. Она спросила, где живет мадам Сиссу. Под этой измененной фамилией укрывалась или верила, что укрывалась, та, которую в Париже звали Сиксу-Герц старшая, и вовсе не затем, чтобы оскорбить эту почтенную еврейскую матрону, мать и бабушку многочисленного семейства, но дабы отличать ее от невестки, еще молодой и красивой особы, той самой, которая во время улизнула на Итальянскую Ривьеру.

Агнесса постучалась в калитку указанной ей лачуги. Никто не отозвался. Она снова пошла на разведку. Ей сообщили, что дама, должно быть, находится в саду, и показали, как туда



пройти. Пришлось оставить велосипед, потому что в сад даже не дорожка вела, а просто на каменистой земле был протоптан след. Агнесса шла вдоль склона холма, и с каждым шагом ее охватывало сомнение — какой же здесь может быть сад. Из каменистой почвы скупое вылезала трава, сухая, как лишайник. Порой на жесткой земле след терялся, даже эта примитивная тропка исчезала, и Агнесса десятки раз спотыкалась. Казалось, этот жалкий след, ведущий куда-то вверх и никак не желавший привести к определенной цели, служит естественным продолжением ее путешествия через Барони. Так Агнесса и добрела до конца, не обнаружив ни сада, ни старой еврейской дамы. След исчез среди осыпи глины, излившейся, как сукровица, из горной расселины; тут какая-то древняя крестьянка медленными, как в кошмарном сне, движениями пропалывала участок в несколько квадратных футов, где среди глыб пробивались колоски ржи. Агнесса остановилась. На сей раз она действительно попала в тупик. Дальше идти было некуда.

Вдруг старуха крестьянка, не разгибая спины, подняла голову. Заметив непрошеную гостью, она испуганно отступила на шаг, и только тут Агнесса узнала госпожу Сиксу-Герц старшую, которую она видала в иные времена на светских приемах, на благотворительных базарах и которую обнаружила здесь в качестве огородницы.

— Я мадам Буссардель, — крикнула Агнесса, не двигаясь вперед, и чуть было не добавила: «Не бойтесь меня!»

— Как, как? — тревожно переспросила крестьянка, отступив еще на два шага, словно надеясь найти приют и защиту в складках скалы.

— Мадам Ксавье Буссардель, а девичье мое имя Агнесса Буссардель. Я дочь биржевого маклера. Говорит вам что-нибудь мое имя или нет?

— Но... но...

Старуха твердила эти два слова, как стон, как бессмысленный звук. Признать гостью или хотя бы ее имя — значит выдать себя. Агнесса догадалась об этом, сделала несколько шагов и заговорила, не дожидаясь ответа. Рассказала о своем путешествии, о данном ей поручении, но только когда она вытащила из сумочки книгу и дала пощупать госпоже Сиссу металлический ящичек под люстриновой обложкой, только тогда та успокоилась. Испуганный взгляд смягчился, глаза увлажнились слезами.



— Это мои детки,— бормотала старуха.— Мои дорогие дети... Это сын и невестка прислали мне из Италии помощь. Какие же они добрые!

Даже не подумав поблагодарить посланницу, она умилялась доброте супружеской четы, нашедшей себе приют под более милосердными небесами. Однако она вспомнила об Агнессе, сообразив, что нужно поскорее увести ее из сада.

— Нам нельзя здесь оставаться,— твердила старуха, оглядывая пустырь.— Сюда могут прийти, могут нас услышать: теперь, как вы сами знаете, за всеми следят. Пойдемте ко мне домой. Я только у себя в домике чувствую себя спокойно. Идите за мной, я пойду впереди.

Она поправила платок, повязанный на волосах, и, выхватив из рук гостыи книгу, спрятала ее, черную, под свою черную шаль. Желая ей помочь, Агнесса взяла цапку.

Идя по тропинке вслед за старухой, приспособливая свои шаги к ее неверному шагу, Агнесса расчувствовалась. Впервые в жизни ей довелось беседовать с госпожой Сиксу-Герц старшей, и при каких обстоятельствах! В каком виде предстала перед ней старуха! В эту минуту она вспомнила анекдоты, ходившие по Парижу насчет этой классической еврейской матери. Уверяли, что старуха Сиксу-Герц так и не сумела отделаться от акцента немецких гетто. Ну и тупица! Однако она настолько утратила теперь свой еврейский акцент, что Агнесса удивилась, услышав ее чисто местное произношение, которое не имело ничего общего ни с произношением Верхнего Прованса, ни долины Роны и было типичным для Нижнего Дофине. Агнессе уже приходилось слышать здешний говор во время своего велосипедного путешествия, когда она справлялась у местных жителей о дороге или когда говорила с женщиной, высунувшейся из окошка хижины. С тех пор как Агнесса поселилась в Пор-Кро и разъезжала по всему Лазурному берегу, она в совершенстве научилась отличать марсельский акцент от тулонского, которые в свою очередь оба отличались от гьерского, а гьерский отличался от каньского. И если госпожа Сиксу-Герц, урожденная Герц, смогла за какие-нибудь несколько месяцев перенять акцент Барони, следовательно, она обладала верным слухом и даром произношения, что опровергало ходившую о ней легенду и показывало всю меру парижского злоязычия.

Когда обе женщины уселись в домике у окошка, Агнесса тут только заметила, что к страхам беженки примешивается



какая-то одержимость, самолюбование. Пройдя улочкой прямо к дому, старуха и не подумала закрыть дверь изнутри на засов, да и на дворе еще недостаточно стемнело, чтобы нельзя было разглядеть в окошко, как ни было оно залеплено грязью, хозяйку и гостью.

— Снимите обложку,— посоветовала Агнесса, указывая на книгу, которую старуха по-прежнему прижимала к груди.— У вас есть ножницы, чтобы разрезать люстрин?

— Боже сохрани! Я его распорю: материя еще может пригодиться.

Под распоротым люстрином оказался ящичек на пятьдесят сигарет Кравэн ярко-красного цвета.

— Мне уйти? — осведомилась Агнесса, видя, что хозяйка дома в нерешительности вертит ящичек в руках и, видимо, не собирается открывать его при посторонних.

— Нет, нет. Сидите.

Она поднялась со стула и молча исчезла на антресолях, где, очевидно, помещалась ее спальня. Дверь сама захлопнулась за ней. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, Агнесса осмотрелась. Судя по размерам домика, здесь была всего только одна комната. Помещение показалось ей ужасно убогим и не слишком опрятным. По всей видимости, старуха жила совсем одна и, экономя скудные свои средства и силы, не всякий день занималась уборкой. Посуда была разбросана по всей комнате. Колченогий круглый столик, у которого одна половина была опущена, стоял прислоненный к стене, в виде полумесяца. Кроме него, обстановку составляли кухонный буфетик и два стула. В очаге между двух кирпичей, заменявших подставку для дров, лежал горкой, очевидно, уже давным-давно остывший пепел.

«Однако придется здесь задержаться,— подумала Агнесса.— Не могу же я сразу уехать. Но если я доберусь в Нион к ночи, и то будет хорошо».

Госпожа Сиксу-Герц вернулась в комнату уже без ящичка: видимо, успела запрятать его в тайник. Она явно оживилась, глаза ее заблестели, и разговор стал живее.

— Надеюсь, вы не откажетесь закусить, мадам? Вы ведь прибыли издалека. Чашечку чаю?

— Чай! С огромным удовольствием.

Старуха засуетилась, выбрала из кучи полешек у очага несколько щепочек, положила их между кирпичей и зажгла. Воду она вскипятила прямо в кастрюльке, а потом вылила кипятком



в чайник, где были остатки от предыдущей заварки. Жидкость весьма неопределенного цвета была разлита по чашкам. Госпожа Сиксу-Герц извинилась: сахарина у нее нет.

— По-моему, у меня должно быть с собой немножко сахара,— сказала Агнесса, роясь в сумке.

Она предложила сахар хозяйке. И так как после Систерона она в последний раз ела в полдень, когда поднялась, ведя велосипед, на гору, она вытащила остатки холодной кукурузной каши и отдала хозяйке половину. Это скудное пиршество окончательно подкрепило силы старушки, и она заговорила многословно и подробно. Она славил своего сына и невестку, которые так ее любят. Живут они в Виареджо, где, слава богу, всего вдоволь, и они могут пользоваться привычным комфортом. Не говоря уже о том, что у них в Италии могущественные друзья и что в Италии не так распространены расистские идеи. Ее дорогим деткам ужасно хотелось бы ее туда переправить, да и она сама об этом прямо мечтает, но пока еще это невозможно, их план натолкнулся на неодолимые трудности.

— Однако, мадам, вы сами говорите, что у них там есть рука. И потом я слыхала, что итальянские власти...

— Но они же пытались! Каждый день пытаются! Вы и представить себе не можете, как они там хлопочут! — простонала госпожа Сиксу-Герц, которая в приступе горя отчасти утратила свой местный акцент.— Подождите-ка, вы сейчас сами убедитесь.

Она отошла в угол и принесла целую связку писем и телеграмм, разложенных по числам и месяцам, начавшим прибывать к ней из Италии, когда она жила еще в Марселе не в таких ужасных условиях. И эти бумажки, которые старуха передавала госте со своими комментариями, то и дело смахивая слезу умиления, эти послания, выдвигавшие весьма веские мотивы, призывавшие к терпению и изложенные эзоповским языком, произвели на Агнессу несколько неожиданное впечатление. Несомненно, она судила не очень объективно, слишком уж по-французски, слишком уж по-буссарделевски, ибо в ее семье делались вещи и похуже, зато там хоть не оставляли друг друга в беде; во всяком случае, она догадалась, что чета, наслаждающаяся жизнью в Виареджо, не испытывает ни малейшего желания навязать себе на шею старушку мать. Зачем ей,— писали они,— прерывать свой отдых в столь «благоприятном» климате? Тем паче что живет она в деревенской тиши и вкушает мир и спокойствие. Напротив, очень опасно пускаться в путь, где рискуешь



нарваться на любые неприятности, особенно если путешествуешь одна в такие годы и по нынешним трудным временам... И как лейтмотив и как главный довод, продиктованный осторожностью, из письма в письмо повторялось: благоразумие требует довольствоваться тем, что есть, а пытаться действовать — значит искушать судьбу. Агнесса обнаруживала эти советы в каждом послании, иной раз в совершенно одинаковых выражениях, особенно если между их отправкой проходил значительный промежуток времени.

Поначалу она решила непременно проверить, нельзя ли с помощью связей Мано переправить старуху Сиксу-Герц через итальянскую границу. Но когда она заподозрила истинные намерения сына и невестки, желание это исчезло. Особенно же она боялась открыть глаза старухе, которая, возможно, с умыслом не желала их открывать. Над ними нависал потолок из почерневшей разошедшейся дранки, в грязное окошко виден был кусочек скудной горной природы, под стать скудости этого жилища; Агнесса вернула драгоценные письма всеми брошенной прародительнице, которая доверчиво хвасталась тем, что ее семейство находится в надежном месте. Она все твердила:

— Моя дочь, графиня де Мофрелан, с июня сорокового года живет в Соединенных Штатах; она уехала с мужем и детьми в самом начале исхода: она предвидела поворот событий. Мой старший сын смог вернуться в Португалию, ведь вы знаете, что Сиксу — португальского происхождения. А мой сын, тот, что в Италии, дал мне понять в письме, что его дети поехали к дяде в Каскаэс, где у него поместье. Там живут все их двоюродные сестры и братья. Но ведь вы должны знать мою Гислену и моего Жоффруа?

— Я их встречала в Париже еще до войны. И вообразите, в октябре прошлого года я их видела на Лазурном берегу. В поезде, в вагон-ресторане.

— В октябре? В октябре?.. Ну, конечно же, они еще не переехали тогда в Испанию. Они заезжали в Марсель попрощаться со мной, перед тем как отправиться за Пиренеи: я жила как раз по дороге. Ну как вы их нашли?

— По-моему, они были в превосходной форме.

— Я так рада. Скажу вам откровенно, мадам, это мои самые любимые внуки. Ведь у бабушек тоже бывают свои слабости.

Агнесса, жалея старуху, оттягивала час своего отъезда. Но когда она поднялась, госпожа Сиксу-Герц переполошилась,



ей так радостно было посидеть с человеком их круга! Конечно, она ни в чем не может упрекнуть здешних крестьян, жителей лощины, по крайней мере до сего времени, но ей буквально не с кем словом перекинуться. Дни тянутся бесконечно долго. Единственное развлечение — это слушать радио, которое у нее в спальне, добавила она, указывая на антресоли. Принимает она Швейцарию, слушать Лондон слишком опасно — могут донести. Зато она слушает все передачи Радио-Пари. Даже передачи Жана-Эрольда Паки. Этот Эрольд Паки говорит ужасные вещи, и всякий раз она делается просто больна.

— Но зачем же вы его слушаете? — удивилась Агнесса. — Я слушала один раз, и с меня хватит.

— Ах, это сильнее меня. Я знаю, что он будет говорить про нас всякие гнусности. А каким тоном он говорит о евреях, прямо как сумасшедший. И все-таки это сильнее меня, я просто не могу пропустить ни одной его передачи, слушаю, боюсь слово упустить.

День клонился к вечеру. Сославшись на это, госпожа Сиксу-Герц удержала Агнессу до утра: дороги в плохом состоянии, добраться до Ниона можно только при дневном свете.

— Я, конечно, знаю, что жилье у меня не ахти какое, — произнесла старушка, обводя рукой комнату. — Но неужели вы из-за этого откажетесь от моего гостеприимства? В спальне достаточно места для двоих. Кто знает, деточка, когда нам еще придется свидеться? Надеюсь, вы не обижаетесь, что я называю вас «деточка», но ведь вы дружны с моей внучкой и внуком.

Еще чувствуя на языке отвратительный вкус пошла — Агнесса выпила целые две чашки, не посмев отказать хозяйке, — чуть не засыпая под монотонные сетования старушки, а главное, сморенная усталостью, вдруг давшей себя знать, Агнесса думала о возвращении домой и сердилась на себя за такие мысли. Правда, госпожа Сиксу-Герц отчасти злоупотребляет своим положением, но и впрямь ее одиночество ужасно, а положение ее безвыходно; поэтому грешно упрекать ее в излишней болтливости.

Они продолжали разговор, вернее, продолжала старушка.

— Сегодня вечером останемся без последних известий, — произнесла она, взяв в свои руки руки Агнессы. — Не буду включать радио. Мне и так повезло: наконец-то удалось поговорить с живым человеком.



Спустилась ночь, а она все сидела и болтала, хотя комнату заполнила тьма. Свет она не стала зажигать, экономя электричество.

Наконец она ощупью завесила окошко и включила лампочку, висевшую на конце шнура, который был зацеплен за гвоздь, вбитый в стену с таким расчетом, что красноватый свет падал прямо на стол. Сдвинув стулья, обе женщины уселись под этим жалким огоньком. Становилось холодно. Агнесса подумала о своем доме, о батареях центрального отопления, о богатых запасах дров. «Но не могу же я отвезти эту несчастную старуху на мыс Байю,— твердила она про себя.— Впрочем, она, конечно, откажется, предпочтет скрываться в этой норе».

Когда старушка перестала сетовать на свою жизнь, на трудности и на страхи и когда она от теперешнего времени отступила в прошлое, Агнесса стала слушать внимательнее. Постепенно она узнала много подробностей о семействе Сиксу-Герц. Еще одна династия, но мало похожая на династию Буссарделей. Династия Сиксу-Герц была более недавнего происхождения, и Агнесса удивилась, узнав, что слияние этих двух имен, столь знаменитых в Париже, ставшее классическим синонимом мощи и богатства, возникло лишь после женитьбы одного из Сиксу на сидевшей сейчас перед ней Герц, которой не было еще восьмидесяти лет. Сама Герц было родом из Эльзаса и явно кичилась этим, как будто по нынешним временам это обстоятельство отличало ее от всех прочих ее соплеменников. Она так и заявила, что одни лишь эльзасские и авиньонские евреи могут считаться коренными жителями Франции, и Агнесса порадовалась, что эльзасская еврейка в годину бедствий очутилась в Конта, где к ее родичам относятся благожелательно. Как только госпожа Сиксу-Герц коснулась этого предмета, даже ее манера разговаривать изменилась, она уже не называла больше Агнессу «деточка» и смело выносила суждения насчет различных ветвей евреев. Превыше всех прочих она ставила эльзасских и авиньонских евреев, отдавая им преимущество даже перед евреями португальскими, которые фактически натурализовались, причем натурализация их произошла лишь в шестнадцатом веке. Но все равно, эти португальцы тоже принадлежат к элите, и надо было слышать, каким тоном она говорила о русских и польских евреях, о левантинцах и особенно об этом сброде — североафриканских евреях. Она сама происходила из семьи эльзасских буржуа, которые разбогатели еще два века тому назад, торгуя



лошадьми, а Сиксу — португальские буржуа примерно с того же времени стали судовладельцами, и так от отца к сыну. В конце концов Париж начала Третьей республики соблазнил оба семейства, и когда она, Герц, вышла замуж за одного из Сиксу, то свадьба их стала чрезвычайным событием, ибо в ту пору парижские евреи, выходцы из разных стран, редко вступали в брак между собой. Но от этого союза возник банк Сиксу-Герц; сыновья и внуки унаследовали дело и носят это двойное имя.

Агнесса отлично понимала, что разглагольствования хозяйки дома являются плодом долгих размышлений, выношенных в одиночестве, и что сейчас они безудержно хлынули наружу. Первый же попавшийся слушатель должен был вытерпеть весь этот поток. И, впрочем, было вполне естественно, что та, которая добровольно взялась вручить золотые монеты и сверх того была представительницей крупной парижской буржуазии, известной в мирные времена своими либеральными идеями, внушала доверие старой еврейской даме, лишившейся сейчас всех преимуществ, даваемых ее положением в парижском обществе. Старуха сняла с головы платок и стала похожа на прежнюю госпожу Сиксу-Герц. Она выпрямила согбенный стан и в такт разговора барабанила пальцами по столу, как по клавишам рояля. В пылу увлечения она даже намекнула Агнессе, что не совсем одобряет брак своей дочери с графом де Мофреланом.

— А не угодно ли вам, мадам, закусить? — произнесла наконец госпожа Сиксу-Герц таким тоном, будто находилась в своем особняке на авеню Иена.

Агнесса чувствовала какое-то смутное разочарование. Признаться, от этого дня она ждала большего или, во всяком случае, чего-то иного... «В конце концов, — думала она, — должен же был кто-нибудь взять на себя это поручение. А я сама предложила Мано свои услуги. И вовсе это не так уж сложно!» И в самом деле, ни разу ни по дороге, ни в этой лачуге у нее не возникало ощущения опасности, несмотря на то, что она везла с собой запрещенный груз.

После скудного обеда, который украсила коробка сардин, извлеченная из буфетика, где Агнесса успела заметить довольно солидный запас продуктов, старуха заявила, что ее гостя, видимо, очень устала после путешествия, да и сама она привыкла ложиться рано. Она согласилась взять несколько продовольственных талонов, предложенных Агнессой.



Она ввела свою гостью на антресоли, тесные, как альков. Все свободное пространство занимала железная кровать, слишком узкая для двоих. Постельное белье, очевидно, уже давно не менялось. Старуха взбила матрац, разделась и легла первая. При слабом свете лампочки Агнесса успела разглядеть простыни, и вид их внушил ей желание лечь на пол, подстелив под себя свой плащ. Но не говоря уже о том, что в комнате просто не хватило бы места, ей было неловко предложить это хозяйке. Она сняла только платье и скользнула на сомнительное по чистоте ложе.

Старуха потушила свет, но разговаривать не перестала. Агнесса изредка отвечала ей. Лежа бок о бок в полном мраке в этой затхлой комнатенке, семидесятилетняя хозяйка и ее молодая гостья продолжали обмениваться светскими фразами вроде: «Вообразите себе, мадам... Неужели, мадам? Ну, конечно, мадам...»

На следующее утро Агнесса выбралась из затерянного селения. В Нионе она сняла номер в гостинице, помылась и сменила белье. Уложила аккуратнее свой скромный багаж. Ремень сумочки не так резал плечо. Там не было больше томика «Писем госпожи де Севинье»; хотя оттуда вынули ящичек с золотыми монетами, Агнесса оставила книжку госпоже Сиксус-Герц, которая пожаловалась гостье, что ей нечего читать.

## XIII



отя Агнесса и Мано решили повидаться еще до Нового года, они так и не встретились. Мано передала подруге через господина Казелли, что отныне звонить ей не стоит. Таким образом, Агнесса не могла поделиться с ней новостью, пришедшей в январе с авеню Ван-Дейка: тетю Эмму положили в клинику.

Луиза Жанти в письме к Агнессе сообщила все подробности. Всю жизнь тетя Эмма страдала только печенью, но сейчас в связи со скудным питанием этот недуг затих, поэтому она считала себя чуть ли не двадцатилетней и не щадила сил. Вставала в доме первая, целыми днями рыскала по Парижу и, услышав,



что где-то что-то выдают, добиралась в случае нужды даже до Отейля и до пригородов. Но в один прекрасный день ей пришлось показаться их домашнему врачу — доктору Мезюреру. У нее на ногах открылись язвы на почве тромбофлебита: требовалось немедленно начать лечение. Тетя Эмма отказалась от кареты скорой помощи, которая доставила бы ее в больницу. Она могла еще таскать ноги и не желала давать «этим господам» повод отказать или выдать ей, урожденной Буссардель, специальный аусвейс. Она села в метро и явилась пешком в монастырскую клинику на улице Бизе. Ибо Буссардели — люди, не особенно приверженные религии, — отказывались понимать, как это можно сочетаться браком, сойти в могилу или позволить себя врачевать иначе, чем с помощью церкви.

Агнесса колебалась недолго. С одной только тетей Эммой она переписывалась регулярно. Теперь, когда старая тетка лежит прикованная к больничной койке, — а в ее годы любое осложнение может привести к смертельному исходу, — не в силах она сидеть здесь на мысе Байю и ждать вестей то от одного родственника, то от другого, — словом, от того, кто соблаговолит написать, да еще в нынешние времена, когда почта приходит неаккуратно. Просто она не вынесет тревоги: надо ехать в Париж.

Приняв решение, она тут же кликнула Викторину, чтобы сообщить ей о своих планах, но вдруг остановилась на полуслове. Ей пришла в голову новая мысль: увезти с собой сына. Рокки уже минуло пять лет, ему теперь не страшны дорожная усталость и встреча с Буссарделями. Учреждение семейного совета дает ему права гражданства в их клане, и вполне естественно представить мальчика родным, в первую очередь дедушке, который после смерти Симона в качестве доверенного лица стал вторым опекуном, и особенно тете Эмме, относившейся к Рокки лучше всех прочих. Агнесса не забыла еще прошлогодней сцены с фотографическими карточками; вероятно, старая девица Буссардель перенесет свои чувства на оригинал. Ей уже представлялось, как хорошенький мальчик с букетом цветов входит в больничную палату и как прикованная к постели больная молитвенно складывает руки под благожелательными взглядами монахинь.

Таким образом, решение было принято мгновенно. Чтобы Рокки в Париже не был никому в тягость, она возьмет с собой Ирму, да и ребенку при Ирме легче привыкать к незнакомой обстановке. И они все трое поселятся в гостинице. Она была



уверена, что при минимуме осторожности, дипломатии и при некоторой инициативе удастся повернуть дело в пользу Рокки. Особенно теперь, когда Симон умер. В течение тех пяти минут, пока в голове хозяйки мыса Байю зрели эти планы и она делала эти психологические выкладки, она вновь превратилась в Агнессу Буссардель.

Путешествие оказалось довольно несложным. В Тулоне без особых хлопот Агнесса в тот же вечер достала себе купе в спальном вагоне. А Ирма ехала во втором классе на сидячих местах. Времена переменились. Теперь для перехода из одной зоны в другую не требовалось специального разрешения. Контроль ограничивался проверкой документов в пути и лишь в редких случаях сопровождался досмотром чемоданов. Агнессе очень хотелось отнести эти послабления за счет общего хода мировой войны, а не за счет установленного для всей страны порядка оккупации. Немцы ушли с Корсики, Италия капитулировала и была разрезана фронтом союзников на две части, русские уже перешли Днепр, испанская голубая дивизия убралась с Восточного фронта. Могло ли это не повлиять на поведение немцев в тех местах, где они еще находятся? Под ритмический перестук колес Агнесса перебирала в памяти все эти события и сравнивала свое теперешнее путешествие с прошлогодним. Впервые с начала войны она ехала в спальном вагоне. И купе отапливалось. Мальчик спал внизу. Порой мать наклонялась с верхней полки и при лиловатом свете ночника смогрела на своего спящего сына.

Она предупредила Буссарделей о своем приезде письмом, сама еще не зная, когда ей удастся получить билет; из прибрежных департаментов телеграммы не разрешали отправлять. Так что никто не встретит ее на перроне, и она сможет без помех выполнить свой план — представить мальчика родным. Выйдя из поезда на Лионском вокзале, Агнесса первым делом пустилась на поиски жилья. Когда наконец она нашла подходящую гостиницу, она из своего номера позвонила на авеню Ван-Дейка. Ей ответил старик Эмиль, и по его голосу чувствовалось, что приключилась беда.

— Но господа в клинике.

— В такой ранний час? Ведь еще нет десяти! Тете Эмме стало хуже?

— Увы, у мадемуазель Эммы сегодня ночью был удар.



Агнесса позвонила на улицу Бизе и попросила позвать кого-нибудь из Буссарделей. Прикрыв ладонью трубку, она крикнула Ирме, которая купала Рокки в ванной комнате.

— Сейчас же оба прекратите смеяться! А ты, Ирма, закрой дверь.

К телефону подошел сам биржевой маклер.

— А-а, Агнесса... еще немного и ты бы приехала слишком поздно. Положение очень серьезное. Инсульт.

— Я еду.

— Не надо. К тете Эмме никого не пускают. Мы все сидим в приемной.

— Ну и что же, я хочу быть с вами.

— Нас попросили уехать. Только одна мама останется. Мы возвращаемся на авеню Ван-Дейка.

— Я скоро там буду.

В особняке Буссарделей было полно народу. А ведь те, что ездили к тете Эмме на улицу Бизе, еще не вернулись. Агнесса даже расчувствовалась при виде родственного сборища, полностью отвечавшего традициям клана. Однако ей объяснили причину такого многолюдства, которая была, так сказать, более бытового свойства, но от того не менее волнующая. Несколько месяцев тому назад в особняк явились уполномоченные по реквизиции жилищ, переписали комнаты, и вот за каких-нибудь два часа наиболее близкие Буссардели, собранные, как по сигналу пожарной тревоги, сбежались на авеню Ван-Дейка. Они срочно распределили между собой комнаты, разложили свои вещи, заняли кровати, которые уже давно были приготовлены в верхнем и нижнем этажах и только ждали своего часа. И впервые биржевой маклер — отнюдь себя не насилуя, а, напротив, понимая, что в подобных обстоятельствах не вступить в отношения с оккупантами равносильно отсутствию гражданского мужества, — отправился в помещение комендатуры, ибо в префектуре, куда он обратился сначала, ему сказали, что особняк реквизируют для немцев и здесь ничем помочь ему не могут. Об этом Агнессе не писали, опасаясь, что письма вскрывают и таким образом обнаружится ложь биржевого маклера, заявившего, что в особняке полным-полно жильцов. Но сейчас, включая детей и слуг, в доме проживало более тридцати человек. Квартира, которую занимала семья Поля Буссарделя после того, как оттуда выехали хозяева, была сразу же реквизирована, равно как и двухэтажный особняк Симона, возможно, за неимением лучшего.



Но ничего не поделаешь, пожар он и есть пожар. Цитадель династии Буссарделей, битком набитая народом, держалась.

Наконец возвратились те, кто был у тети Эммы на улице Бизе: сам биржевой маклер, Луиза Жанти, Жанна-Симон и Валентин с женой. Они ждали результатов консилиума, в котором, кроме Мезюрера, участвовали еще два знаменитых специалиста. Прогноз давал кое-какую надежду. Все должно было решиться в ближайшие двое суток. Была парализована частично только одна сторона тела, и врачи главным образом основывали свои надежды на общеизвестной жизнеспособности пациентки.

Из вестибюля, где обитатели особняка встретили прибывших от больной, все отправились через холодную галерею в маленькую отапливаемую гостиную. Здесь поселили двух дочерей Поля, и так как у младшей было хрупкое здоровье, в комнате поставили печурку, которую топили опилками. Вот уже четвертую зиму центральное отопление из-за отсутствия топлива бездействовало. Все столпились вокруг теплой печурки цилиндрической формы, откуда шел кисловатый запах, как всегда, когда топят опилками. Но вскоре гостиная нагрелась без ее помощи,— так много набилось здесь народу.

— А перед ударом тетя Эмма очень мучилась? — спросила Агнесса.

— Да, очень, при каждой перевязке, но хоть бы раз пожаловалась,— ответил биржевой маклер.— Ты же ее знаешь.

— А сейчас она в сознании?

— Мезюрер уверяет, что да. Когда Луиза перед уходом ее поцеловала в лоб, нам показалось, что...

Луиза Жанти отвела Агнессу в уголок.

— Я шепнула Эмме, что ты, детка, приехала. Я уверена, что она поняла.

— А разве, Агнесса, вы не останетесь с нами позавтракать? — спросила Жанна-Поль, видя, что ее кузина надевает перчатки.— А то закусим чем бог послал,— добавила она полюбовавшись ей фразой, которую на разные варианты произносила четвертый год подряд.

— Спасибо, дорогая, но я привезла с собой сынишку и его молоденькую няню. Мы остановились в отеле «Кембридж» на улице Фобур-Сент-Оноре.

Воцарилось недолгое молчание. Буссардели постарались не переглянуться. Но Агнесса, которая произнесла эти слова



самым обычным тоном, заметила, что никто не запротестовал, хотя бы из вежливости, против того, что она не остановилась на авеню Ван-Дейка, впрочем, это ее устраивало.

Тетя Луиза, по-прежнему обитавшая на своей улице Ренкэн, вышла из особняка вместе с Агнессой.

— А я,— заявила она, очутившись во дворе, и кротко улыбнулась,— а я очень хочу видеть твоего сыночка.

Встреча произошла в отеле «Кембридж» перед обедом. Ирма как раз привела мальчика с прогулки по Елисейским полям. Тетя Луиза с восхищением уставилась на ребенка.

— Пять лет? Да ему вполне можно дать шесть, милочка, даже для шести лет он слишком велик. Ну как? — произнесла она, наклонившись к внуку: — Ну, Рено, как тебе понравился Париж?

Он ничего не ответил. Тетя Луиза повторила свой вопрос.

— Меня вовсе не Рено звать,— сказал он наконец.— Почему вы меня так называете?

Агнесса, присутствовавшая при этом первом испытании, поспешно отослала сына поиграть с Ирмой в их комнату. Затем откровенно сказала тетке, почему мальчик зовется и Рено и Рокки, и после этого объяснения стало наглядным, почти физически ощутимым незаконное его происхождение, память о котором еще не изгладилась. Причины старой драмы были живы. Не стало только Ксавье.

— Когда я поведу его на авеню Ван-Дейка,— добавила Агнесса,— он уже успеет привыкнуть к имени Рено.

— Да не огорчайся ты. Очень хорошо, что лишь мы двое были свидетелями этого инцидента.

Но очарование их встречи с глазу на глаз было нарушено. Уже темнело, когда они направились пешком на авеню Ван-Дейка, чтобы застать там Мари Буссардель, которая должна была вернуться из клиники.

— А дядя Александр все так же занят? — спросила Агнесса, проходя мимо Елисейского дворца, пустынного, запертого, упраздненного.

— Все так же,— неопределенно ответила тетя Луиза. И Агнесса яснее, чем прежде, уловила смысл этих «занятий» и этого неопределенного ответа.

Они вышли на улицу Миромениль.

— А знаешь, тетя Луиза, Париж кажется мне совсем другим, чем во время моего первого приезда. Вы-то, конечно, не



можете заметить перемен, ведь вы не выезжали отсюда с той зимы, когда началась оккупация. Но я вот вернулась через полтора года, и многое сразу бросается в глаза. Машин на улицах по-прежнему мало, зато стало гораздо шумнее. Люди тоже стали разговорчивее, ходят более уверенным шагом, не сутулятся. Уверяю тебя, возможно, они и не стали фрондерами, зато выглядят гораздо веселее, чем раньше.

— Ну, если бы мы прошли через улицу Соссэ, ты бы этого не сказала. Оттуда весь народ шарахается. А у меня от этой улицы просто кошмары начинаются. Если бы ты знала, каких только мерзостей не делают в этом квартале,— сказала тетя Луиза, указывая через плечо на ряд домов, за которыми пряталось здание министерства внутренних дел и подсобные учреждения.

На авеню Ван-Дейка им пришлось ждать мать Агнессы, которая все еще не вернулась из клиники. Наконец она явилась, но принесенные ею новости ни в худшую, ни в лучшую сторону не отличались от тех, что сообщили им поутру. Врачи не ручались за жизнь больной. Мари Буссардель попросила, чтобы ее оставили в клинике на ночь, но, хотя на улице Бизе их имя было достаточно хорошо известно, в просьбе ей отказали. Сейчас в Париже из-за реквизиции лечебных учреждений больные хлынули в частные клиники, из которых, впрочем, большинство тоже подверглось реквизиции, и в клинике на улице Бизе не хватало палат, поэтому Эмму Буссардель согласились принять в хирургическое отделение всего лишь на пять дней для непосредственного лечения язв. Из-за инсульта пришлось временно ее оставить в клинике.

Слушая рассказы матери, Агнесса не нашла в ней тех перемен, которых страшилась заранее. После смерти обожаемого сына Мари Буссардель не похудела. Возможно, что еще в те времена, когда он был жив и находился в плену, она уже достигла положенного ей предела истощения. Если и произошли с ней какие-то перемены, то в первую очередь выразились они в неожиданном спокойствии. Потух мрачный огонек, горевший в глазах, увереннее, без дрожи, стал звучать голос. Исчезли все признаки сжиравшей ее лихорадки, равно как и вечных страхов. Казалось, отныне она застыла на определенном градусе горя. Она даже не вздыхала теперь так тяжело. Но время от времени она, выпрямив стан, делала глубокий вдох, словно надеялась поддержать жизненные силы, и лишь этот жест



свидетельствовал о том, что еще не окончательно сломлены в ней внутренние пружины.

Явившись домой, она подставила Агнессе щеку для поцелуя, равнодушно чмокнула ее в ответ, не прерывая своего тревожного рассказа о состоянии тети Эммы. А когда прозвучал колокол, сзывающий обитателей особняка к обеду, мать хоть и заметила, что Агнесса встала со стула, чтобы распрощаться с родными, но не сказала ни слова.

— Мама, ты пойдешь завтра утром на улицу Бизе? — спросила Агнесса.

— Ну, конечно.

— Разрешите мне пойти с тобой. Если я буду мешать, я сразу уйду. Только поцелую тетю Эмму и отправлюсь домой.

— Смотри приходи пораньше. Я выхожу из дома без четверти восемь.

По немецкому времени было еще совсем темно, когда Агнесса в половине восьмого звонила у подъезда особняка Буссарделей. Ей открыла няня кого-то из живших здесь теперь детишек. Старик Эмиль еще не спускался вниз.

— Не надо никого беспокоить. Я подожду.

Агнесса прошла в маленькую комнатку рядом с вестибюлем, где, как она надеялась, будет теплее. С давних времен эта комната служила гардеробной, своего рода залом ожидания, тут стоял столик с письменными принадлежностями и помещался телефон. Агнесса зажгла электричество и села. Над собой, вокруг себя она ощущала громаду особняка, погруженного в тяжелый сон. Должно быть, встали только дети, сейчас они умываются, причесываются, и появятся они в вестибюле, скудно освещенном голубым фонарем, не раньше, чем через четверть часа; надев ранцы разойдутся, кто в лицей Карно, кто в лицей Мольера. Ибо теперь девочек не отдавали в лицей Жюль-Ферри по той причине, что на площади Клиши всегда было полно немцев: девочки учились в лицее Мольера на улице Ранела и добирались туда с площади Перейра.

Внезапно в еще по-ночному густой тишине раздался звонок: телефон. Аппарат был рядом, и Агнесса сняла трубку. Звонили с улицы Бизе. «Боже мой,— вдруг осенило ее,— если звонят в такую рань, значит, тетя Эмма умерла. Или умирает. И мне сейчас об этом сообщат».

— Говорит мадам Ксавье Буссардель. Я племянница мадемуазель Эммы. Что случилось?



— Ничего худого, мадам. Напротив. Я звоню вам из палаты больной по ее просьбе. Ей немного лучше, и она первым делом подумала о своих родных.

— О, спасибо вам, сестра, большое спасибо! Скажите ей, что мы все ее целуем.

— Подождите-ка! Мадемуазель Буссардель хочет передать вам через меня одну вещь. Она напоминает вам, что сегодня понедельник, день стирки, и что надо собрать все грязное белье. Она очень беспокоится, что без нее об этом забудут.

Агнесса помчалась наверх, в спальню матери, и от комнаты к комнате, от этажа к этажу весть, что тетя Эмма пришла в себя, наполнила радостью весь старый особняк.

Старейшая представительница семейства Буссарделей воцарилась в своей спальне на авеню Ван-Дейка через неделю. Последствия инсульта постепенно исчезли. Можно было надеяться, что через два-три месяца тетя Эмма станет такой же, какой она была до удара. Когда речь ее полностью восстановилась, Агнесса предложила привести сынишку. Врачи усадили тетю Эмму в кресло, велели держать больную ногу на скамеечке и посоветовали родным всячески ее развлекать. Так что первое появление Рокки в сердце вражеской цитадели было вполне оправдано.

Тем временем Агнесса исподволь приучила сына к его второму имени — Рено. Возясь с мальчиком, она теперь не называла его Рокки, Ирма тоже включилась в игру и звала его только Рено, и ребенок воспринял это как один из очередных сюрпризов Парижа, где на каждом шагу его подстерегали неожиданности и открытия.

— Ту даму, которая будет звать тебя Рено, — сказала сыну Агнесса, — ты называй «бабушка». А всех других просто «тетями».

Тетя Эмма очень расчувствовалась, услышав, что ее называют бабушкой, ибо так к ней еще никто не обращался. В первое же свое посещение Агнесса, окинув взглядом мальчика, присевшего у кресла на ковре, и тетю Эмму, с восхищением наблюдавшую за ним, поняла, что партия выиграна. Старая девица Буссардель потребовала, чтобы к ней в спальню принесли игрушки двух младших детей Жанны и Симона, но когда сами дети, шести и девяти лет от роду, явились, чтобы рассмотреть получше незнакомого двоюродного брата, который пользовался такими привилегиями и которого им навязали, тетя Эмма



выставила их из комнаты. Трое ребят разом — это слишком утомительно. Только Агнесса и Рено остались в ее спальне, сынишка возился с новыми игрушками, а его мать украдкой улыбалась всякий раз, когда кто-нибудь из ее невесток или кузин под предлогом навестить тетю являлся в спальню посмотреть на это проклятое, но восстановленное в своих правах дитя.

Агнесса решила не злоупотреблять первым своим успехом и привела на авеню Ван-Дейка сынишку только после повторных требований тети Эммы. Вновь назначенный опекун свел знакомство со своим подопечным; отец Агнессы напоминал служащего частной фирмы, состарившегося в трудах на ее благо и ставшего теперь главным доверенным лицом. Не скрывая недоверия, Агнесса наблюдала его первое знакомство с новым внуком, но сей почтенный старец и во время свидания и после него воздержался от высказываний и советов по поводу воспитания Рено, равно как и насчет его будущего. Семейная группа, каждый представитель которой уже повидал мальчика, также не стремилась воспользоваться своими правами участников совета. Что касается Мари Буссардель, избегавшей оставаться наедине с этим своим внуком, то ведь она вообще сторонилась всех обитателей особняка, встречалась с ними только во время обеда, делая исключение лишь для Жильберты и Манюэля — детей Симона от первого брака. Теперь, когда здоровье золовки не требовало ее постоянных забот, она проводила целые дни в спальне одна, с глазу на глаз со своим горем, и окружающие уважали ее боль.

Агнесса начала подумывать о возвращении. Она не стремилась продлить свое пребывание в Париже по множеству причин, главной из которых была суровая парижская зима, плохо отапливаемый номер гостиницы, что могло неблагоприятно отразиться на здоровье пятилетнего мальчугана, родившегося и выросшего под солнцем юга. Те немногие дела, которые Агнессе предстояло сделать в Париже, были уже сделаны, она повидалась со своим поверенным и также кое с кем из друзей.

Агнесса решила посетить Мофреланов и сообщить им новости о госпоже Сиксу-Герц, матери молодой графини де Мофрелан, уехавшей в Америку вместе с мужем. Родная мать этого Мофрелана жила на Лилльской улице в маленьком старинном особняке, втиснутом среди вполне современных зданий. Жилище это было бы очаровательным, если бы можно было никогда не открывать ставень. Маленький двор, расположенный позади



особняка и усаженный скучнейшими олеандрами, заменял садик, а фасад внушительным своим подъездом выходил на мощный двор семиэтажного дома, и из кухонь всех семи этажей можно было наблюдать жизнь четы Мофреланов. Покидая особняк, надо было пройти под аркой этого семиэтажного гиганта на удивительно неживую улицу, где сразу прямо перед вами возникало стоявшее тылом к прохожим гибридное здание отель д'Орсэ с бесчисленным множеством окон, а внизу под ними находились никогда не закрывающиеся отдушины метро, откуда вырывался гул и дыхание подземной станции. Подходя впервые к особняку Мофреланов, занимавших в Париже весьма видное положение, Агнесса удивилась, что представители столь громкого имени ютятся в столь невзрачном месте, и с невольной гордостью подумала о своем родном доме, правда изуродованном монументальной безвкусицей Второй империи, но зато прекрасно расположенном, открытом солнцу, в зелени и не сдавленном соседними помещениями.

Однако внутри особняк был полон самых восхитительных вещей. Госпожа де Мофрелан приняла гостью в будуаре, обтянутом бледно-розовым шелком, который, бесспорно, появился здесь раньше, чем сад превратился в дворик, и прежде, чем выросла напротив жилая семиэтажная казарма, и этому шелку особняк Буссарделей со всеми своими обивками и шпалерами мог только позавидовать. Но люстра из горного хрусталя потускнела от пыли, сиденья кресел в стиле Людовика XV были продавлены, а присутствие трех собачек пекинской породы, жавшихся к железной печурке, объясняло происхождение блеклых разводов на ковре, похожих на географическую карту.

— Вы, конечно, знакомы с нашим другом Муромским, — обратилась госпожа де Мофрелан к Агнессе, указывая ей на мужчину, поднявшегося с кресла.

Агнесса не была с ним знакома, но, как и весь Париж, знала о старой связи маркизы с этим посредственным скрипачом, который раз в год давал в Гаво концерт. Сама госпожа де Мофрелан была маленького роста, тоненькая, с заметными следами былой красоты. Улыбаясь, она показывала желтые длинные, но еще целые зубы и, казалось, процеживала сквозь них любезные слова, чтобы окружающие могли их лучше оценить. Однако за этими изысканными манерами, за этой чисто французской учтивостью проглядывало что-то не соответствующее всему облику графини. «Уж не течет ли и в ее жилах еврейская кровь?» — по-



думала Агнесса. И она вспомнила одного их клиента, тоже аристократа по рождению, чьи слова охотно повторял дядя Теодор: «Не будь у нас бабушек евреек, мы бы все давным-давно разорились».

Слуга принес мускат, и этот обычай напомнил Агнессе особняк Буссарделей. Впрочем, это светское угощение — стакан вина среди бела дня — было принято теперь почти повсюду; с тех пор как чай и портвейн стали редкостью, любое вино считалось отныне чуть ли не роскошью. Госпожа де Мофрелан живо заинтересовалась рассказом Агнессы, но ахала и охала только тогда, когда речь шла о трудностях велосипедного пути через Барони, и молчала, когда разговор заходил о мытарствах старой еврейской дамы, приютившейся в жалкой лачуге. Со стороны этой второй прародительницы было высказано больше любезностей в адрес Агнессы, нежели сожаления, а главное, сочувствия по поводу положения госпожи Сиксу-Герц. Возможно, Агнесса настаивала бы, потребовала бы, чтобы несчастную старушку наконец переправили в Италию, не будь здесь в будуаре чужого человека, которого хозяйка дома, видимо, нарочно попросила не оставлять ее наедине с гостьей.

— В конце концов, — сказала госпожа де Мофрелан, — я очень рада услышать от вас подтверждение того, что дети мадам Сиксу-Герц, перебравшись в Италию, не забывают мать. Конечно, если мы сможем, то при малейшей okazji... Но, судя по вашим словам, средства у нее есть.

— Мадам, ваша сватья просила меня лично рассказать вам о ее жизни, если я попаду в Париж. А если мне удастся к ней съездить, я расскажу ей, как вы живете.

— О я... вы сами видите, как я живу: неврит меня по-прежнему мучит, — сказала госпожа де Мофрелан, указывая на свою левую руку, обернутую куском меха.

— Значит, я расскажу ей о том, какие испытания выпали на вашу долю.

И Агнесса поднялась с кресла.

— Вот, вот, непременно расскажите. Я вам буду бесконечно признательна. Что поделаешь? — продолжала госпожа де Мофрелан, провожая свою гостью. — Можно не бояться ни за себя лично, ни за свое имущество и все-таки жалеть тех, кто находится в менее благоприятных условиях. Не знаю, как там у вас на юге, — добавила она с легкой улыбкой, — но тут у нас в Париже у каждого есть свой еврей.



Когда они вышли в переднюю, входная дверь распахнулась. Госпожа де Мофрелан представила Агнессе свою старшую внучку, которая звалась Сибиллой и прикатила к бабке на велосипеде.

— Каким это счастливым ветром тебя занесло?

— Срочная нужда, необходимость! Подумай только, мне нигде не соглашаются сшить узкие брючки за неделю, если я не принесу своего материала. Поэтому я приехала узнать, не может ли дедушка дать мне свои панталоны, а их по мне переделают.

— Об этом потрудись сама с ним поговорить: он на втором этаже.

— Только запомни, мне непременно нужен или габардин, или твид.

— Если не ошибаюсь, вы собираетесь ехать кататься на лыжах? — спросила Агнесса.

— Никуда я не поеду, если у меня не будет узких брючек. Мне говорили, что в Межеве только их и носят.

Агнесса пожелала внучке графини де Мофрелан успеха в ее хлопотах и распрощалась с хозяйкой дома.

А через день она получила от Викторины письмо, где среди незначительных и будничных новостей о мысе Байю имелись следующие строчки: «Довожу до сведения мадам, что на наших трех островах теперь введено чрезвычайное положение. И жителей не выпускают, и к нам с континента запрещено въезжать, если только не за продовольствием. Когда мадам будет ехать обратно, придется брать специальное разрешение. Говорят, на нас наложили такой запрет потому, что в Пасс де Грот выловили труп убитого человека. Вообще много что говорят».

Сидя в номере парижской гостиницы и читая письмо, Агнесса вдруг разом вспомнила все: как они несли убитого инспектора, крошечную мглу, Пуант Русс и ледяную воду, где каждый шаг грозил гибелью и куда ей пришлось войти дважды, и то, как на вершине холма ее охватила слабость... горячее, сухое тело цыгана. И их безмолвные ночи. Она обрадовалась, что сын с Ирмой вышли погулять, так глубоко и противоречиво было охватившее ее волнение. Растерянность наступила позже. Что ей делать? До сих пор на авеню Ван-Дейка она не поднимала речи о своем отъезде. Следовательно, она вполне может задержаться, пробыть в Париже еще несколько недель, если, конечно, переехать в менее дорогую гостиницу. Но единственно, что важно сейчас, — это интересы ее сына. Совершенно незачем держать



его в Париже. С другой стороны, при создавшемся положении, о котором писала ей Викторина и писала, без сомнения, намеками, боясь, что письмо на почте вскроют, возвращаться сейчас с сыном в Пор-Кро — это значит сунуться волку в пасть. Теперь, когда труп обнаружили, Агнесса опасалась, как бы какой-нибудь ею самой незамеченный след не привел на мыс Байю вопреки всем принятым мерам предосторожности.

Она решила было сбегать на улицу Ренкэн и спросить совета у дяди Александра, у единственно близкого человека, которому она могла довериться. Но при мысли о том, что надо будет рассказать дяде все подробности, кроме тех, о которых придется умолчать, Агнесса заколебалась. Хотя ей были известны умонастроения архивиста и хотя она догадывалась о его деятельности, история ее подопечного, неграмотного цыгана, пожалуй, покажется этому коренному парижанину какой-то сказкой. Да и сама Агнесса все больше и больше привыкала к мысли, что с ней произошло нечто таинственное, почти фантастическое. И в самом деле, думая обо всем этом нынешним утром и постепенно набираясь обычного спокойствия, она почувствовала, что этот эпизод ее жизни, как бы он ни жег ее до сих пор, все же отступил в ее собственных глазах далеко-далеко в прошлое. Она подсчитала, сколько с тех пор прошло времени: апрель, май, июнь... десять месяцев — лето, осень, зима, почти целый год.

К тете Эмме она пошла только на следующий день и ничего не сказала ей ни о своем отъезде из Парижа, ни о том, что остается в Париже. Агнесса знала за собой свойство увлекаться, действовать под влиянием минуты; поэтому в серьезных вопросах она не доверяла себе и предпочитала ждать, когда решение само созреет в ее мозгу.

Надеялась она также получить весточку от Мано, прямо от нее или через вторые руки. Не могла же ее подруга не знать, какие репрессии обрушились на Пор-Кро и почему они обрушились. Агнесса не написала ей письма, но в мыслях постоянно обращалась к Мано, взывала о помощи и ждала указаний из Кань. Но тщетно.

На той же неделе, когда она пришла на авеню Ван-Дейка, старик Эмиль, который, видимо, подстерегал Агнессу за стеклянной дверью парадного крыльца, сразу же увел ее в маленькую гардеробную. И закрыл за собой дверь.

— Вам звонили. Какой-то господин звонил. Он спросил



мадам Буссардель. Я ему говорю: которую? А он тогда сказал: мадам Агнессу из Пор-Кро. Но так как он себя не назвал, сослался на то, что его имя вам все равно ничего не скажет, я тоже не сообщил ему, в какой гостинице вы остановились. В наше время даже по телефону такие странные вещи происходят... Взять хоть привратника из дома номер три, так ему каждую ночь в два часа звонят и угрожают разными страстями.

— Хорошо, Эмиль... А этот господин будет звонить еще раз?

— Сказал, что позвонит сегодня в семь часов.

— Прекрасно. Постарайся быть здесь и сам сними трубку. А потом позовешь меня. Только будь добренький, никому ничего не говори.

Под началом восьмидесятилетнего Эмиля, который уже давно волочил левую ногу, перебивало в особняке на авеню Ван-Дейка не одно поколение слуг. А главное, на его глазах родилась Агнесса, ее братья и ее кузены; он не обращался к ним, как принято, в третьем лице и, стоя выше всех семейных дразг, был поверенным многих тайн молодежи.

Когда незнакомец наконец позвонил, Агнесса заперлась в гардеробной.

— Мадам Агнесса Буссардель?

— Это я. Вы хотите мне что-нибудь передать?

— Да. Вы одни?

— Как сказать... Дайте-ка мне номер вашего телефона. Я выйду и позвоню вам из кафе.

— Это невозможно, я говорю из автомата. И очень тороплюсь.

— Хорошо. Тогда подождите минуточку... Эмиль,— крикнула Агнесса, приоткрыв дверь.— На площадке второго этажа у вас по-прежнему есть переключатель? Пойди, отключи его. Так, чтобы никто не мог слышать наш разговор или позвонить по телефону.

Она прикрыла дверь, взяла трубку, подождала, когда щелкнет переключатель.

— Теперь все в порядке. Слушаю вас.

— Я вам звоню по поручению из Ле Лаванду. Ваша подруга из Кань получила повестку. И пошла по вызову. С тех пор ее больше не видели.

Агнесса еле удержалась, чтобы не крикнуть. А ее собеседник повесил трубку.



Через пятнадцать минут она уже была на улице Ренкэн. Дядя Александр как раз вернулся домой обедать. Луиза, заметив неестественную бледность племянницы, оставила их наедине. Когда Агнесса вкратце рассказала ему всю эту историю, о которой старик архивист ничего не знал и поэтому мог судить обо всем, происшедшем здраво и объективно, он заявил, что, по всей вероятности, существует непосредственная связь между обнаружением трупа инспектора и арестом Мано. К сожалению, правдоподобно предположить, что полиция связала убийство инспектора с подругой Агнессы и цыганом, которого разыскивали в Кань и в Пор-Кро, но который успел скрыться. Тот факт, что Агнессе звонили по поручению господина Казелли, который связан с той же группой, служит лишним подтверждением этого. Под конец дядя Александр высказался вполне категорически: Агнессе сейчас незачем ехать на юг.

— Устройся в Париже. Где угодно. Оставайся в гостинице, попроси, чтобы тебя с сыном и нянькой приютили на авеню Ван-Дейка, поищи себе квартиру с мебелью или без таковой; найти в конце концов можно. Мы охотно поселили бы тебя у нас, но это решение не из лучших. Тем более что у тети на четвертом этаже снимают квартиру оголтелые коллаборационисты. Обе дочери и сынок состоят в организации дарнановской молодежи. Разгуливают в голубых рубашках и вечно ищут повода для ссоры. Нет ничего хуже этих квартирных диктаторов. Итак, поселись где-нибудь, ничем не занимайся, растворишься в среде парижской буржуазии, води светский образ жизни. Возможно, мои слова тебя покоробят, но зато совет я тебе даю правильный. Что, не убедил? — осведомился он, взглянув на Агнессу, которая сидела напротив него, потупив взор, с застывшим лицом.

— Что? Нет, почему же? Но я думаю о своей бедняжке подруге. Что они с ней сделают, боже милостивый? Знаешь, ведь она... она уже совсем не молодая.

Александр Жанти, меньше всего склонный к платоническим утешениям, ограничился тем, что сжал своими ладонями руку Агнессы и уверил ее: уж, во всяком случае, Мано сейчас, когда они о ней говорят, благословляет небеса, что Агнессы нет на Лазурном берегу.

И действительно, в Париже сдавались внаем квартиры. На воротах были наклеены соответствующие объявления. Немецкая и французская администрация льстилась только на просторные помещения, расположенные в фешенебельных кварталах. Да и то



в последнее время случаи реквизиции становились все реже. Что касается квартир средних размеров, то больше половины их перешло в руки властей полтора года назад, в момент массового угона тридцати тысяч парижских евреев, и эти частные дома вполне удовлетворяли потребность оккупантов в жилье. Агнесса нашла то, что искала, на площади Брезиль, на пересечении авеню Ваграм и Виллье. По фасаду дома шли высокие коринфские колонны с канелюрами, что облагораживало постройку, а площадь с перекрестками служила ей живописным фоном, создавая целый ансамбль, возникший еще во времена Османа.

Вот здесь-то она и приглядела четырехкомнатную квартиру в нижнем этаже, очень солнечную и казавшуюся еще светлее из-за садика, который выходил на площадь. Мальчик мог играть в садике один, без присмотра, в те часы, когда он не гулял в парке Монсо. Ибо он тоже будет ходить в парк Монсо, привяжется к нему, как и все маленькие Буссардели, которые были до него и будут после него. Решетка Шартрской ротонды находилась в двух шагах от площади Брезиль, если идти по улице Прони. Естественно поэтому, что Агнесса начала поиски жилья в своем родном квартале, и то, что ей посчастливилось найти такую квартиру с исключительным правом пользования садиком, показалось ей добрым предзнаменованием.

Да и вообще в новом помещении многое было исполнено для Агнессы особого смысла, или ей так просто казалось. Из садика железная калитка вела на авеню Ваграм, таким образом, можно было не проходить под аркой ворот, мимо сторожки привратника. Осмотрев свои владения, Агнесса попросила ключ от калитки, и так как замок не работал, она решила еще до переезда заняться им, починить и смазать. Когда наконец благодаря ее усилиям калитка открылась, прочертив борозду по песку запущенного сада, Агнесса внезапно замерла на месте, даже не глянула на авеню Ваграм, и в памяти ее пронеслась ночная сцена, незабываемая сцена уже шестилетней давности: погруженный в сон особняк Буссарделей, тишина и фонари на авеню Ван-Дейка, тень женщины, которая скользит по саду, осторожно открывает калитку, почти такую же, как эта, подзывает кого-то движением руки, безмолвно руководит похищением умирающего юноши.

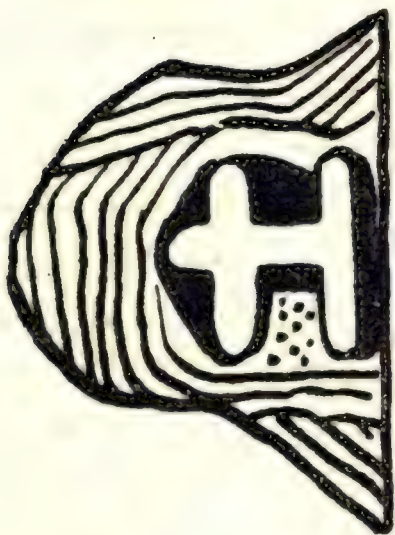
Теперь она готова была пойти на любые жертвы, лишь бы снять эту квартирку на площади Брезиль. Впрочем, жертв не потребовалось. Из-за частых налетов союзной авиации на



Париж и на северо-западную его окраину Семнадцатого округа сторонились. Сидя у управляющего домом и проверяя пункт за пунктом договор найма, содержащий двадцать параграфов, составленных по всей форме, как в старину, Агнесса сделала еще одно открытие. Она стала квартиранткой некоей госпожи Перейра, баронессы Нефвилль, урожденной Перейра. Имя это она слышала с самого детства, оно было связано с благосостоянием Буссарделей и с легендой о его возникновении. Это с банкирами Перейра во время Второй империи близнецы Буссардели — два прадеда Агнессы — совершили выгодную операцию по обмену земель вокруг парка Монсо, которые были неудачно поделены между этими двумя процветающими фамилиями.

Агнесса подумала, что, заключая договор с одной из Перейра, она восстанавливает традицию, и, поставив свою подпись на гербовой бумаге, улыбнулась чуть насмешливо, но не без удовлетворения.

## XIV



Начался парижский период ее существования. Живя в гостинице ото дня ко дню, как бог на душу положит, Агнесса чувствовала себя словно на бивуаке. А теперь приходилось налаживать жизнь.

Две заботы не оставляли ее. Первая и самая главная, самая неотвязная — это здоровье сына; другая, более животрепещущая, касалась их устройства в Париже. Рено — теперь уже сама Агнесса называла сынишку только этим именем, чтобы приучить к нему и тем самым избежать недоразумений, — Рено с радостью принял весть, что они остаются в Париже. Дай ему волю, он целыми днями катался бы в метро, так это занятие ему полюбилось, правда его не пускали туда в часы пик. Но мать отсылала его каждый день после завтрака с Ирмой в парк Монсо или в Булонский лес, если только была хорошая погода. По утрам она усаживала его за книгу и занималась с ним, как и прежде, сама — ведь



в Пор-Кро не было школы; ей не хотелось сейчас посылать его в школу, где пришлось бы сидеть несколько часов, согнувшись над партой, среди чужих ребят, что, несомненно, усложнило бы процесс приобщения к Парижу. Агнесса опасалась за своего дикаренка с мыса Байю, опасалась последствий, которые может повлечь за собой столь резкая перемена в образе жизни, особенно если их пребывание в столице затянется.

Ей хотелось посоветоваться с каким-нибудь сведущим в этих вопросах человеком, и она вспомнила о докторе Роже Освальде, который в трагические дни гибели Ксавье показал себя таким знающим и таким отзывчивым. Но найти его не удалось, и не без труда Агнесса установила, что он вынужден был скрыться вследствие расовых преследований. Ее поразила эта весть, и одновременно она сама удивилась своему недомыслию: как это она не догадалась раньше, что фамилия Освальд, звучащая как эльзасская, вполне может быть еврейской фамилией? Правда, фамилию эту она узнала в мирные времена, и именно по тому, как далеки теперь были друг от друга эти две эпохи, эти два умонастроения, Агнесса воочию убедилась, до какой степени уродства дошла их жизнь. В конце концов, по рекомендации дядя Александра она обратилась к врачу, тот осмотрел мальчика, нашел, что он в хорошем состоянии, и надавал кучу банальнейших советов, которые немного успокоили Агнессу.

Что касается помещения на площади Брезиль, то оно не потребовало особых хлопот. Пока она жила еще в гостинице «Кембридж», пока маляры ремонтировали снятую ею квартиру, а водопроводчик занимался санитарным узлом, Агнесса бегала по обойным и антикварным магазинам. В антикварных магазинах имелось все что угодно и по достаточно сходным ценам, если, конечно, не гнаться за особыми раритетами. Оккупация перевернула все понятия даже в таких, казалось бы, далеких от войны областях. Занавески, купленные по случаю, которые затем приходилось отдавать в чистку или в окраску, все-таки имели преимущество перед новыми, так как новые приобретались по промтоварным талонам и были, как правило, из эрзацев. Агнесса никогда не выходила из дома с пустыми руками, а обязательно брала с собой полный комплект ремней и оберточной бумаги и спокойно возвращалась обратно на метро с рулоном мебельной ткани, с парой стульев, поставленных друг на друга и перевязанных веревкой, или со стопкой тарелок



старинного английского фарфора, обнаруженных в свалке среди безвкуснейших сокровищ у торговца на улице Паради и обошедшихся ей по десять франков за штуку. Она всегда любила рыться в антикварных лавках, умела обставить квартиру, украсить ее, но до сих пор ей еще ни разу не приходилось применять на практике свои таланты. Впрочем, сейчас она действовала поспешно, чтобы скорее распрощаться с дорогой гостиницей, а главное, чтобы скорее переехать и почувствовать себя дома.

Наконец трое беженцев из Пор-Кро поселились на площади Брезиль. Агнесса нашла приходящую кухарку, так как единственная комната для прислуги была занята Ирмой. Ирма — хотя она еще не успела привыкнуть к Парижу — ходила рано утром за молоком для Рено и вообще удивительно легко справлялась с нелегким делом добывания съестных припасов. Хозяйка помогала Ирме, а ей самой помогала семейная организация Буссарделей, получавших богатые посылки из своих двух поместий. Иногда прибывали посылки от Викторины. Тем не менее Агнесса ощущала всю дороговизну жизни, росшую из месяца в месяц с головокружительной быстротой. А тут еще соблазны черного рынка, перед которыми Агнесса не могла устоять, ибо по состоянию здоровья мальчику требовался такой же режим, как на мысе Байю. Она поняла, что жила на острове в основном своим натуральным хозяйством. В столице же перед ней встали финансовые проблемы. У Агнессы было состояние, заключавшееся в недвижимом имуществе, которое досталось ей от деда. При теперешней разрухе недвижимость приносила пустяки и была лишь обузой, а обстоятельства пребывания в Париже даже не позволили Агнессе воспользоваться правом на одну из собственных своих квартир.

Вновь она почувствовала всю тяжесть порабощения оккупированной столицы, что все-таки не так ощущал Лазурный берег; и то, что она сама теперь страдает от этого гнета, давало ей некоторое удовлетворение. Она вскоре переняла все парижские привычки. При любой встрече после первых же вежливых слов она сразу догадывалась, с кем имеет дело, и в соответствии с этим или следила за своими словами, или говорила свободно. Уже через несколько дней она изучила вдоль и поперек весь свой дом и знала, на какие он делится слои: на втором этаже — умеренные коллаборационисты; на третьем — коллаборационисты процветающие, глава дома служил в канцелярии отеля



«Мажестик»; вполне приличные люди — на четвертом, единственной неприятной их особенностью была вечная беготня и возня ребятишек, отдававшиеся по всему дому. О жиличке с пятого, и последнего, этажа — ибо старый дом имел всего пять этажей — передавали друг другу на ушко, что внук этой пожилой и в высшей степени благовоспитанной дамы служит в армии Леклерка. Жила она одна, и хотя родные предлагали ей ночевать у них в те ночи, когда бомбят Париж, тем более что ее квартира помещалась под самой крышей, старушка никуда не уходила и укрывалась под аркой ворот, видимо ей слишком претило спускаться в подвал, где жильцы дома щелкали от страха зубами. Когда Агнесса поселилась в квартире нижнего этажа, она предложила пожилой даме свое гостеприимство в эти тревожные ночи. Хладнокровно взвесив все за и против, она предпочла избавить сынишку от внезапных побудок и сидения в сыром подвале, когда начинали выть сирены, извещающая о тревоге, которая нередко оказывалась ложной.

Агнесса познала все: и эпидемию лженовостей, и различные психозы, порожденные в умах людей оккупацией, длившейся уже сорок пять месяцев, и затворничество, и унижение, и страх. Она подметила поголовно у всех парижан нелепую манюю числить покойниками людей, выехавших из столицы. В один прекрасный день вдруг распространился слух, что тот или иной человек, проживающий в Лондоне или в Нью-Йорке, погиб. Вам не удалось бы добиться подробностей, вы ни за что бы не сумели обнаружить того, кто первым пустил такой слух, но каждый клялся вам в этом, из кожи лез вон, лишь бы убедить, что вышеупомянутый персонаж действительно только что скончался. Его убивали на расстоянии, с общего согласия, как бы карая за то, что он не мучится теми муками, от которых страдают жители оккупированной столицы.

Впрочем, вокруг Агнессы люди говорили о событиях так, как будто исход мировой войны решался не на многочисленных фронтах, не в Лондоне, а в Париже, точнее, в салонах Абеца. Так же поступала в свое время Тельма Леон-Мартен, считавшая, что судьбы мира решаются в вишистском «Отель дю Парк». И Агнессе тогда еще доводилось слышать, как жители Лиона, Марселя, Тулона группируют события войны вокруг своего родного города, на все смотрят со своей колокольни.

То обстоятельство, что точно так же мыслил и Париж, разочаровало Агнессу. Сейчас, в сорок четвертом году, парижане,



как показалось ей, пробудились от своей угрюмой и чисто стадной пассивности, пригибавшей их к земле при предыдущем посещении Агнессой столицы, но себялюбивой одержимости у них было по-прежнему хоть отбавляй. И если походка у них стала тверже, то они все еще ходили по кругу, который сами же вокруг себя очертили. И волей-неволей пришлось втянуться в этот хоровод. Ее пребывание в Париже отмечалось лишь самыми незначительными вехами, замкнулось в кольцо все одних и тех же будничных дел. Она сознавала это и мучилась. Но возможно, думала она, ей просто не достает вольного воздуха и неоглядного морского простора. А возможно, семья снова засасывала ее в свое лоно.

Агнесса усердно слушала английское радио, затем снимала телефонную трубку и передавала родным услышанные новости. Только не чете Жанти, которые сами слушали лондонские передачи, не отходили от приемника и избегали, насколько возможно, телефонных разговоров. Таким образом, Агнессе приходилось довольствоваться теми из Буссарделей, кто был ей ближе, и в первую очередь это были ее брат Валентин, ее племянник Бернар, и она повторяла им услышанные новости с обычными для того времени оговорками, что еще подчеркивало радость таких сообщений:

— Знаешь, мне сказали... я-то, конечно, заметь, ничуть не верю. Но, говорят, что русские перешли чехословацкую и румынскую границу. Да, в районе Серета. Посмотри на карту, Валентин, и ты увидишь, правдоподобно ли это!

Как-то поздним вечером, когда Агнесса кипятила в кухне воду, чтобы заварить для Рено обычное утреннее питье, она вдруг отчетливо услышала за стеной лондонскую передачу... Звуки шли из соседнего дома. Агнесса задрожала. Но эти люди, видимо, просто не отдают себе отчета, что приемник орет! Хорошо еще, что это я услышала! Необходимо их предупредить, пусть будут поосторожнее. Вот бы слышали коллаборационисты с верхнего этажа.

Но Агнесса не знала, кто живет рядом. Привратница соседнего дома тоже считалась прихлебательницей немцев, так как держала на черном рынке лавочку; поэтому спросить у нее нельзя. Агнесса поручила смышленной Ирме, которая сверх того вдруг превратилась в страстную поклонницу де Голля, разузнать, кто живет в первом этаже соседнего дома. Ирма вернулась из разведки, фыркая в кулак.



— Эге! — произнесла она с южным акцентом, от которого никак не могла отделаться. — Есть там одна! Шлюха там живет. Говорят, артистка, имеет ночной пропуск, чтобы шляться по ночам. А ловит лондонские передачи немецкий офицер, который с ней спит. Вот-го потеха, мадам! А вы еще хотели предостеречь этого типа!

Ирма, корчась от смеха, побежала в садик, где играл Рено. Ну и повеселилась тетя Эмма, когда Агнесса рассказала ей эту историю, подтрунивая над собственной своей наивностью и благими порывами. Визиты к тете Эмме, которая поправлялась и вскоре предполагала начать выходить, в какой-то мере упрочили отношения Агнессы с Буссарделями. У нее создалось впечатление, что после смерти Симона многое в семье переменилось. Тело военнопленного будет выдано не скоро, да и то еще не наверняка, но призрак его уже водворился на авеню Ван-Дейка. Вопреки тому, что особняк Буссарделей был набит сейчас народом, вопреки присутствию целой оравы ребятишек, чью веселость и жизнерадостность никто не собирался сдерживать, призрак старшего сына, скончавшегося на немецкой земле, бродил по дому. Он возникал всякий раз, когда появлялась мать, сама ставшая призраком. И проходя по коридорам, занимая свое кресло в семейном кругу, тень Симона укрощала злопамятство, ограждала старый особняк от ненависти и злобы, поселившихся здесь с незапамятных времен.

И еще раз сердце Агнессы открылось для семьи. Но чувствуя возврат этого тепла в отношении родных, она не обманывалась в его причинах. Агнесса понимала, что в эти дни неуверенности, бедствий и уныния она вновь как бы присягала Буссарделям, как некоему раз и навсегда установленному порядку, как своего рода бессменному гарнизону, который победоносно противостоял и не таким еще атакам и впредь будет им противостоять. Ей нужна была эта поддержка. Она возвращалась к родным корням, на родную почву. И если классическая фраза о том, что почва не лжет, казалась ей в достаточной мере пустозвонной и, во всяком случае, не вполне применимой к ее семье, где ей столько лгали, она тем не менее знала, что в силу той же необходимости и в силу логики самой природы она воссоединяется с теми, кто близок ей по крови.

В сущности, семья была самой великой ее страстью. В этом ритмически сменяющемся притяжении и отталкивании, в этом чередовании тоски по своим, созревавшей в течение года-двух



и вновь разрешавшейся пребыванием под одной крышей, которое неотвратно приводило к пресыщению и к новому отталкиванию,— во всем этом Агнесса распознавала историю болезни, ее инкубационный период, кризисы, выздоровление и возврат недуга: историю самой любви.

Вторым ее прибежищем был Париж. Но Буссардели так давно пустили корни в парижскую почву, высосав оттуда богатство, мощь, мудрость, что в глазах Агнессы Париж и ее семья стали нерасторжимы. Теперь пробудилась в ней прежняя радость — бродить по городу, и скоро эти прогулки стали потребностью. Когда радио приносило малоутешительные вести, в дни поражения союзников под Кассино, на утро после передачи Би-би-си о массовых убийствах в Аске, или когда неведение о судьбе Мано гнало от Агнессы сон, или просто в часы сомнений, через которые проходили даже самые сильные, в минуту морального удушья, Агнесса, отведя сына на авеню Ван-Дейка или послав его играть в садик,— словом, убедившись, что ему не угрожает опасность, надевала пару самых крепких туфель и отправлялась в путь. Отправлялась пешком, пренебрегая в такие дни велосипедом, который ей прислали из Пор-Кро. Обычно она шла к Сене, ибо тут пролежала естественная артерия города. А также и потому, что на набережных реже попадались немцы. Бродила она целыми часами. Иногда останавливалась и звонила из автомата домой узнать, все ли благополучно с Рено. Он сам отвечал по телефону, рассказывал, в какую игру играет, спрашивал:

— А где ты, мамми?

— В Париже.

— А что ты делаешь в Париже?

— Хожу по делам.

И шла дальше. Она подымалась вверх по Сене до Ситэ, обходила два древних островка, вновь чувствуя свою близость с Парижем, Парижем, выстоявшим во всех войнах. Парапеты Сены, дома, согбенные под грузом столетий, старинные дворцы видели, как шагает женщина, набираясь силы и мужества от соприкосновения с камнями столицы, подобно некоему парижскому Антею.

Как-то вечером, возвращаясь после многочасовой ходьбы и вступив уже на авеню Ван-Дейка, где Рено провел целый день, Агнесса заметила тетю Эмму, стоявшую у калитки и явно ее поджидавшую. Был апрель, дни становились длиннее, и старая девица Буссардель нередко выходила вечером постоять



у решетки в меховой шубе и в теплой косынке на голове. Агнесса бросилась к ней.

— Ты меня ждешь, тетя Эмма? Что случилось? Что-нибудь с мальчиком?

— Спокойно, кисанька, Рено играет с кузенами. И ровно ничего не произошло. Но я давным-давно не высовывала носу из дома, вот я и хочу узнать новости.

Тетя Эмма и в самом деле считала, что новости сами носят-ся по улицам. До болезни, очутившись в метро или на перекрестке и заметив группу людей, она приближалась к ним и без всякого стеснения слушала их разговоры, если чувствовала, что беседующие чем-то взволнованы, и ждала каких-нибудь сногсшибательных откровений. Из своей спальни, выходявшей окнами в парк, она видела лишь играющих детей, парочки, которые любезничали, сдвинув железные стулья, зрелище это ей давным-давно опостылело. Даже из окон, идущих по южному фасаду, она обнаруживала лишь авеню Ван-Дейка — этот тупик, находившийся в частном владении, где ровно ничего не происходило, если не считать тошнотворного кружения немецкого часового перед домом номер шесть. Поэтому теперь она выбрала себе в качестве наблюдательного пункта калитку, выводящую на улицу Курсель, прямо напротив авеню Гоша, где начиналась шумная уличная жизнь. И здесь, скрестив руки на груди, запрятав кисти под мышки, совсем как привратница у подъезда, она ждала событий. Подобно всем Буссарделям, она не желала верить, что в Париже может произойти нечто важное не у них под носом, а где-нибудь еще.

— Ну и что? — спросила Агнесса, как только первый испуг прошел; эта встреча на подступах к авеню Ван-Дейка была словно тайно назначенное свидание тетки и племянницы. — Ну и что? Узнала что-нибудь?

— Конечно, нет. Сегодня ничего не узнала.

Агнесса вошла в калитку, взяла тетку под руку, и обе направились к дому. Они нашли Рено, увлеченного игрой с двоюродными братьями в большой галерее, которую отдали в полное распоряжение детворы. Иной раз в дождливую погоду Агнессе случалось подмечать, как маленькие Буссардели, игравшие в галерее, что-то быстро прятали при ее приближении под кресла и принимали самый невинный вид. Агнесса никогда не задавала им на сей счет никаких вопросов, и в результате племянники и племянницы сами неожиданно объяснили ей в чем дело.



— Ты понимаешь, тетя Агнесса, когда открывается дверь, можно всего ждать,— сказала ей младшая дочка Валентина.— Особенно в теперешнее время.

Выросшие при оккупации, не знающие, что такое свобода мирного времени, о которой им говорили, как о чудесной сказке, дети в своих играх изображали в простоте души тревоги и страхи взрослых.

Оглядев своих соучастников, девчушка состроила таинственную мину и добавила:

— Тебе можно сказать. Мы читаем вслух «Бекассина».

И сделала паузу, чтобы дать Агнессе время оценить всю важность этого сообщения. Ходил слух, что отдельные выпуски «Бекассина» запрещены немцами, и на самом деле они были изъяты из продажи. В число их попали номера, выходившие еще во времена первой мировой войны: «Бекассин у союзников», «Бекассин во время войны», «Мобилизованный Бекассин», «Бекассин у турок». Оккупационные власти убедились, что немцы и на картинках, и в подписях к ним представлены в карикатурном виде. В частности, там описывались подвиги дога, огромного чудо-пса с квадратной мордой, «прославившегося своим нюхом и своей ненавистью к бошам», хотя кличка у него была чисто немецкая — Гинденбург. Эти выпуски, ставшие с сорокового года прямой крамолой, окончательно исчезли: частично их уничтожили сами владельцы, частично «Бекассин» ушел в подполье. Но так как одновременно с развитием событий взгляды Буссарделей претерпевали серьезные изменения, пламя Сопротивления, воплощавшееся в тете Эмме, перекинулось в конце концов на молодые буссарделевские побегы, и ребятишки развлекались втихомолку чтением антинемецкого «Бекассина». Младшая дочка Валентина, у которого были все четыре выпуска, безбоязненно пускала их по рукам среди своих маленьких подружек по лицею Атмер.

Весна тянулась для Агнессы удивительно медленно. На стенах станций метро, на оградах авеню, на киосках — повсюду лез в глаза пропагандистский немецкий плакат, изображавший карту Италии, по которой ползет улитка — символ продвижения союзных войск,— и эта картинка, попадавшаяся на каждом шагу, стала для Агнессы как бы воплощением ее мук. Тетя Эмма, окончательно оправившаяся после болезни, снова приняла на себя хлопотливую роль хозяйки густонаселенного дома, и Агнесса все реже и реже приходила навещать ее на авеню



Ван-Дейка. Теперь она окончательно обосновалась на площади Брезиль.

— Поверь мне,— жаловалась Агнесса Луизе Жанти,— на мысе Байю у меня всегда находилось дело. Не знаю, как это получалось, но каждый вечер я сама дивилась, что день так быстро пролетел. И никогда я там не скучала.

— Ах, детка, конечно, огромная разница заниматься квартирой всего в четыре комнаты или управлять целым имением...

— Не в этом дело, тетя Луиза.

— А что тебе советует дядя?

— Оставаться в Париже. В прошлом месяце, после того как бомбили Сент-Шапель и я впервые увела малыша в подвал, я снова спросила дядю Александра, не лучше ли мне вернуться на юг, но он снова сказал: нет. Впрочем, теперь бомбят также Марсель и Ниццу.

— Не сиди дома, встречайся с людьми, ходи в театр.

— В театрах полно немцев. Вот я пошла на «Атласный башмачок», а передо мной сидел немец, и я вынуждена была любоваться его затылком. Нет, лучше я запишу в клуб «Рэсинг» себя и Рено; Жильберта и Манюэль будут моими поручителями. Близок июнь, и в хорошую погоду я буду сажать Рено на багажник, и мы будем ездить с ним в бассейн. Пусть там тоже немцы, зато хоть без формы.

— А вот я не вижу немцев,— возразила тетя Луиза.— В буквальном смысле слова не вижу — просто приучила себя их не видеть.

— Да, но я так не могу, я уверена, что они выслали мою самую близкую подругу.

— Замолчи! — вдруг крикнула тетя Луиза, прижав руку к груди и испуганно поглядывая на дверь, ведущую в кабинет мужа.— Умоляю тебя, никогда не говори в нашем доме о высылке.

В бассейне «Рэсинг» Агнесе приходилось встречать немецких офицеров, кстати сказать, выглядевших в своих купальных трусиках уже далеко не юными и порядком потрепанными, будто их вытащили на свет божий из резервов ландштурма — вообще в последнее время в Париже стали гораздо реже попадаться великолепные, словно с картинки экземпляры арийцев. Встретила она там также Сибиллу де Мофрелан. Эта юная особа, восемнадцати лет от роду, явно была заводилой одной из группок молодежи, главенствовавшей в клубе. Агнесса обнаружила



здесь те же самые манеры, смех, умение привлечь к себе мужские взгляды — все то, что по наивности души считала отошедшим в область преданий и на чем, к великому ее удивлению, никак не отразились события последних лет. Она старалась держаться в стороне от этой компании и отвергала все попытки сближения, ссылаясь на то, что ей все время приходится наблюдать за сынишкой, плававшим в детском отделении бассейна.

Рено действительно с превеликой охотой барахтался в воде, но иногда, не сказав никому ни слова, вылезал на барьер, садился рядом с матерью и, наклонив головенку, тоскливо водил ладонью по белым изразцам. Она сама в эти минуты особенно ярко вспоминала песчаный пляж Пор-Ман, разноцветную гальку, с грохотом перекатывающуюся по дну, слюдяные блики волн, и, глядя на утратившее прежний загар тельце сына, невольно сравнивала его с тем крохотным, совсем голеньким божком в ореоле лучей, в блестках засохшей соли.

— Мы отправляемся всей компанией к Румпелю есть ромовые бабы! — заявила ей как-то Сибилла. — Только там они совсем такие, как до войны. Пойдемте с нами. Захватите вашего сына, он не будет на вас в претензии.

Агнесса отвергла приглашение, но, не имея возможности в этот раз сослаться на сына, сказала, что, по ее наблюдениям, на улице Риволи в чайном салоне Румпельмайера за всеми столиками полно немцев.

— Ну и что? Неужели вы из-за этого лишитесь аппетита? Ох, Агнесса, нельзя ли без комплексов!

При этих словах Агнесса помрачнела, а ее собеседница, усмехнувшись, добавила, что все это просто преувеличение. «Возможно, я действительно преувеличиваю, — подумала Агнесса, оставшись в одиночестве. — Но если я не могу иначе?»

Она вошла в воду, где барахтался мальчик. Жильберта и Манюэль, которых познакомила с Сибиллой де Мофрелан сама Агнесса, позволили себя увлечь своей новой приятельнице, соблазнившись ромовыми бабами довоенного качества.

Но вот как-то утром, когда Агнесса еще лежала в постели после ночи, похожей на все остальные ее ночи, наступавшие для нее лишь после половины второго, так как до часу она обычно слушала радио, в спальню без стука ворвалась Ирма:

— Мадам, мадам! Сегодня утром они высадились!

— Что? От кого ты это узнала?



Остатки сна мигом улетучились. Агнесса поднялась, села.

— В очереди у молочной. Но я-то, слава богу, не такая уж дура! Получила справки из самых верных источников: у кухарки со второго этажа, которая работает у коллаборационистов. Ее хозяину звонили из канцелярии «Мажестика» в восемь часов утра! Ох, мадам, подумайте только, конец им!

— Открой скорее ставни. Поставь пластинку, любую, какая попадется. Утром всего бывают помехи, и намучаюсь же я! Но с улицы могут услышать.

В ночной сорочке, как была, она уселась у приемника. Швейцарская станция безмолвствовала. Английское радио будто взбесилось, из-за помех ничего нельзя было разобрать. Ради такого исключительного случая Агнесса позвонила на улицу Ренкэн: дома была только тетя Луиза, которая кратко, в завуалированной форме сообщила ей о происшедшем.

— Сегодня не выходи с малышом на улицу, слышишь, я запрещаю! — сказала Агнесса Ирме, накидывая халатик.

Она боялась, что на улицах могут быть волнения, беспорядки, патрули. Выйдя в садик, она через прутья решетки поглядела на площадь. Ничего. Прохожие шли по своим делам. Ни одного военного.

После полудня весь Париж узнал о событиях, поверил в них, о них заговорил. Но до половины первого ночи более точных сведений не поступило. Наконец, в ночных передачах, которые не так забивали, как дневные, были сообщены факты, подтверждавшие успех рискованной операции.

Союзники высадились в двухстах пятидесяти километрах от Парижа, и для Агнессы, для всех парижан рухнула стена мрака. Июньское солнце, стоявшее над городом, стало иным, дни мерились теперь иной меркой. Агнесса бросила ходить в бассейн, сидела с сыном дома на площади Брезиль, ожидая услышать еще какие-то новости. Часы тянулись бесконечно долго, вечер медлил: по немецкому времени день начинал меркнуть лишь в десять часов. Затем наступала ночь, а ночью передачи Соттанс и Би-би-си. Но иной раз эти долгожданные вести не приходили до самой зари, и только совсем под утро можно было добиться успеха: до того старательно немцы забивали передачи. Когда сообщение кончалось, а Агнессе удавалось расслышать меньше половины, она успокаивала себя: «Через час будет лучше слышно!» — и ложилась на кушетку так, чтобы приемник был поблизости. Она дремала, вдруг просыпалась, пугалась,



что назначенный час прошел: но будильничек, стоявший на приемнике, рассеивал ее страхи. Бывало, что в дверь потихонечку стучались и в спальню бесшумно проскальзывала Ирма; она спускалась из своей комнаты на пятом этаже, запахнув старенький халатик, под которым четко вырисовывались ее молодые груди, и обе женщины, вслушиваясь в тишину, окутывавшую дом и город, терпеливо ждали, поглядывая на будильник, включали радио и подсаживались ближе к приемнику. В ночные часы не так яростно забивали передачу, вернее глушили главным образом зашифрованные послания, словесные иероглифы, звучащие в ту пору отвлеченно и даже не очень серьезно, и лишь впоследствии стало известно, что именно от них зависел успех высадки союзников на побережье. Агнесса и Ирма, прижавшись друг к другу, со страстью слушали эти ребусы и узнавали, что маленькие лошадки дважды приходили к финишу, что рояль стоит посреди гостиной, что Мельпомена душиется фиалкой. Обе пытались схватить смысл этих очевидных бессмыслиц, каждая предлагала свое толкование: пойдем завтра после дневных передач. А завтра они точно так же пытались применить ночные иносказания к реальным фактам: англичане заняли Байе, американцы — Карантан.

— Боже мой, у нас даже флага нет, что же мы вывесим в окне! — как-то утром воскликнула Агнесса.

Ей уже виделись союзники в Париже. Ведь четыре года назад немцам потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться из Шалон-сюр-Марн до Лиона, всего один день, чтобы продвинуться от Ренна до Бреста, то есть точно такое же расстояние, как от места высадки союзников до Парижа.

На следующий день она отправилась к одному мастеру у Фландрского моста, который вел дела с Буссарделями в течение полувека.

— Мне нужен деревянный шест. Подлиннее. Три-четыре метра.

Она решила не сообщать хозяину, зачем ей понадобился такой шест. Но, добавила она, шест ей нужен к вечеру, вопрос лишь в том, как и на чем его доставить. Большинство рабочих было угнано на принудительные работы в Германию, и предприятие медленно хирело: людей нет, последний оставшийся в их распоряжении газогенераторный грузовичок прячут от немцев и не используют для перевозок. Агнесса решила принять меры предосторожности: позвонила тете Луизе, попросила ее



прийти на площадь Брезиль посидеть с ребенком, а к ней прислать Ирму.

Через час обе уже выходили из мастерской. Древко привязали к рулю велосипеда, который вела Агнесса, а Ирма помогала, поддерживая шест за противоположный конец, и следила, чтобы при поворотах он не цеплялся за углы. Так они гуськом и двинулись в обратный путь. По кольцу Внешних бульваров кортеж пересек Париж, уже давно ничему не удивлявшийся Париж, и только изредка Агнесса останавливалась передохнуть.

— Ну, слава богу, обошлось что-то даже слишком легко! — сказала запыхавшаяся Агнесса, когда шест внесли через сад в квартиру и он, освобожденный от веревок, улегся на ковре гостиной.

— Но он ужасно длинный, — удивилась тетя Луиза.

— Вот именно, мне нужен не просто флаг, а великолепный флаг. И я уже рассчитала его размеры — белое полотнище я сделаю из одинарной простыни, причем резать ее не собираюсь.

Женщины, не мешкая, взялись за шитье. Штора для затемнения, правда, слишком темного оттенка — да ничего не поделаешь! — пошла на синюю полосу. Тетя Луиза сбегала домой и принесла старую занавеску из красного кумача, предназначенную для крайней полосы. Когда работа была окончена, цвета подобраны в соответствующем порядке и прикреплены к древку, женщины залюбовались лежавшим по диагонали на ковре знаменем, весьма внушительным, но еще неживым, еще не развернутым во всю свою ширь.

Не сейчас еще его вынесут в сад, еще не скоро забьется оно на ветру. Еще долго придется перешагивать через знамя, проходя по гостиной, где из-за него сдвинули в сторону всю мебель. Вновь началось ожидание. Наступление в Нормандии шло своим чередом, разворачивалось этап за этапом: подготовка, отвлекающие маневры, прорыв, окружение, преследование. На карте, висевшей в спальне Агнессы, крошечные флажки отмечали географические пункты уже совсем недалеко от Парижа, и названия их вызывали в памяти очаровательные кукольные королевства, дворянские усадьбы, виллы, безоблачно счастливые каникулы.

А в Париже перестало действовать метро, все чаще выключали электричество, газа и вовсе не было. Снабжение продуктами, и без того шедшее с перебоями, совсем расстроилось. На



авеню Ван-Дейка, на улице Ренкэн, на площади Брезиль женщины ушли с головой в хозяйственные заботы. Они пустили в ход последние свои резервы: продовольственные, отопительные и осветительные. Сидели вечерами в темноте, делили свечу на сантиметровые кусочки, а карбид — на граммы для ацетиленовых ламп. Готовили пищу в печках, топившихся опилками или чурками, и готовили там, где стояли эти печки. У Буссарделей стряпали в большой гостиной, прямо напротив супружеского ложа Поля и Жанны-Поль так, что ночами они задыхались от жары, которая скапливалась под потолком после готовки на тридцать человек, не могли уснуть и, только потушив свет и приоткрыв окна, немного приходили в себя; уже через неделю густой запах репы и вареной капусты пропитал все драпировки и ковры.

— Вот увидите, от наших обюссонов еще год спустя будет разить капустным супом! — предсказывала тетя Эмма. — Ну и ладно! Слава богу, есть из чего суп варить!

Тетя не забывала, что ее бодрость духа вошла в семейные легенды, и когда стало известно, что похоронные бюро объявили забастовку, она наотрез отказалась, в отличие от прочих, признать это нелепым, а заявила, что должны же быть у гробовщиков для этого достаточно веские основания.

— Ну так вот, — говорила тетя Эмма, — если у меня будет второй удар, и я не выкручусь — решено: вы похороните меня в саду под японской сливой. И я не буду на вас в претензии.

А там и почтальоны перестали доставлять на дом почту. «Лишь бы телефон действовал! — восклицали парижане. — Если не будет телефона — всему конец!» Они соглашались есть кое-как, бродить в потемках, по четыре раза в день проделывать пешком с десятков километров, но перестать разговаривать они не желали. Однако по милости судьбы, а, может быть, в согласии с чьей-то неведомой волей парижанам оставили их телефон: линия загадочным образом функционировала, и функционировала без перебоев.

Когда в свою очередь забастовала полиция, паникеры предсказывали начало эпохи грабежей, краж со взломом, безнаказанный разгул преступлений. Но нет. Город, предоставленный самому себе, вел себя мудро и ждал. И даже, когда начался исход немцев, на перекрестках улиц, где отсутствовали полицейские, не образовывалось пробок.

Правда и то, что беглецы дружно держались одного направления. Как-то утром Агнесса добралась на велосипеде



до площади Мадлен, где помещался магазин, торговавший в мирное время экзотическими фруктами и овощами и где сейчас продавали сушеную морковь, но на площади Сент-Огюстен вынуждена была остановиться — по асфальту катил сплошной поток машин. Автомобили всех марок и видов, мотоциклы с колясками неслись попеременно по западным кварталам через улицу Ля Боэси и выбирались на улицу Пепиньер, чтобы оттуда двинуться к границе. Не зная, как прорваться через этот водоворот, Агнесса пересекла бульвар Османа, ведя велосипед за руль, и решила дожидаться конца событий на террасе ближайшего кафе.

Расположившись здесь, как в партере театра, она, впрочем не одна она, могла наблюдать со своего места за непрекращавшимся на улице беспорядочным бегством мотоциклов, грузовиков, битком набитых немецкими офицерами и солдатами, походными сундучками, ящиками и мебелью, французами в гражданской одежде, в мягких фетровых шляпах, и при них иной раз сверх комплекта зрители замечали женщину, судорожно прижимавшую к груди шляпную картонку.

— Это же чудесно, кисанька, — заявила вечером тетя Эмма, которая хорошо знала свой Париж. — Я вполне представляю себе эту картину. Они пробирались к заставе Пантэн прямо по улице Лафайета и по авеню Жана Жореса, которое, заметь, в мое время называлось Немецкой улицей.

На следующее утро Агнесса проснулась раньше обычного, позвонила Ирме, которая, сгорая от нетерпения не меньше хозяйки, уже давно покинула свою мансарду.

— Ну-ка, Ирма, открой окна в сад и скажи, видно ли их на улице?

— Кого их? Бошей? Видно, мадам. Не так, чтобы уж очень много, не так чтобы часто, а все-таки проходят.

Так длилось несколько дней, в течение которых ход жизни все больше и больше замедлялся. В их квартале люди почти перестали выходить на улицу. Повсюду разъезжали машины, как утверждали, из префектуры, и громкоговорители, установленные на крышах, советовали парижанам сидеть у себя. Чета привратников дома, где проживала Агнесса, устроилась во дворе и в этом укрытии резалась с утра до ночи в белот со своими единомышленниками из жильцов. Коллаборационист со второго этажа, бросив на произвол судьбы семью, куда-то исчез, хотя никто не видел, как он уезжал.



Агнесса строго-настрого запретила сыну хотя бы на шаг удаляться от садика, но сама, возвращаясь с авеню Ван-Дейка, куда бегала навестить тетю Эмму, не удержалась и, хотя небо по-грозовому хмурилось, пошла поглядеть на Елисейские поля. Перед ней была пустыня. Этот центр немецких развлечений, квартал, облюбованный немцами для трудов и забав, нацистский город в самом сердце французского города, продержавшийся целых четыре года, весь проспект от Обелиска до Триумфальной арки, лежал под низко нависшими небесами, безлюдный, притихший: ни пешеходов, ни машин; и лишь по тротуару лениво перепархивали гонимые теплым ветерком огромные куски грязной бумаги, оберточной и газетной. Металлические шторы были спущены, за закрытыми ставнями притаился страх или угроза. Здесь царила тишина, было пустынно, как перед рассветом. Никогда еще Агнесса не видела этих улиц и авеню, по которым она возвращалась сейчас к себе домой, такими вымершими. Это была уже не оккупация, а некий промежуточный этап, провал во времени, синкопа. Говорили, что в центре города началось восстание, что там воздвигли баррикады; а здесь Агнесса не видела ничего, не слышала ничего, кроме перестука собственных шагов по асфальту и эха шагов, отскакивавшего от стен безмолвных зданий. По рассказам немногих парижан, остававшихся в ту пору в Париже, она представляла себе, какими должны были быть дни двенадцатого и тринадцатого июня сорокового года — тот промежуток между бегством жителей и появлением немцев в покинутой столице; проходя сейчас по тем же самым парижским кварталам, она всем своим существом ощущала атмосферу открытого города, затаившего дыхание.

Уже подойдя к воротам, она вдруг решила, что овощная лавка на улице Жоффруа, к которой они были прикреплены, возможно, открыта и что при таком безлюдии ей удастся купить что-нибудь без очереди. Она повернула обратно и на углу улицы Ампер и бульвара Мальзерб, как раз на самом перекрестке увидела священника в сутане, с непокрытой головой; вооружившись метелочкой и совком, он, согнувшись, сметал что-то с мостовой. Агнесса обратилась с вопросом к двум прохожим. Они объяснили: немецкий танк, стоявший на бульваре Курсель и обращенный к улице, регулярно, через каждые десять минут, бил по лежавшему поперек площади Ваграм дереву, где, по предположению немцев, могли укрываться бойцы французской



армии Сопротивления. Какой-то прохожий попал под обстрел, и священник не обнаружил после него ничего, или, вернее, почти ничего. Агнесса приблизилась и увидела, что вся мостовая точно усыпана черными конфетти: клочками одежды испарившегося мертвеца.

Двадцать четвертого августа, после полудня, Ирма, которая жила в непрестанном волнении, вернулась с разведки на соседних улицах и заявила, что «они» в Версале.

— В Версале? Странно...— удивилась Агнесса, решив, что речь идет об американцах.— Вчера радио передавало, что они в Сансе и Фонтенбло.

И она направилась к карте, висевшей в спальне.

— Мне-то, мадам, никогда не верит... А мне клялись, что они в Версале!

— Дай-ка мне справочник Боттэна,— приказала истая дочь Буссарделей.

Найдя в справочнике Версаль, она стала искать хоть какое-нибудь знакомое имя, пусть даже полужнакомое. Она сказала номер телефона, назвала себя, извинилась, сославшись на обстоятельства, и стала расспрашивать.

— У нас, мадам? — ответили ей...— Нет. Еще ничего нет. Но нам говорили о Кламаре.

О Кламаре? Она повесила трубку. Скорее телефонную книжку! Она позвонила в мэрию. Подождала: никто не ответил. В жандармерии то же самое. «Очевидно, в Кламаре идут бои»,— подумала она. Просматривая список абонентов, она наткнулась на телефон богадельни. Набрала номер. Тут ей ответили.

— Да, да! Они здесь, они на дороге. Их даже отсюда слышно.

— Кого? Американцев?

— Да нет же, французов. Армия Леклерка. Эх, если бы не дежурство, я бы, уж поверьте, тоже был там.

Агнесса расцеловала Ирму.

— Они в Кламаре!

— А это ближе Версаля?

— Еще бы! Но только не вздумай безумствовать здесь, в нашем квартале. Они еще не в Париже. Займись ребенком.

В порыве признательности Агнесса вызвала Версаль и сообщила, что «они» в Кламаре. Затем повесила трубку и позвонила на улицу Ренкэн.



— Тетя Луиза, армия Леклерка в Кламаре! Это мне известно из самых достоверных источников. Они проходят по шоссе.

— Ой, детка, у меня прямо голова кругом идет. Если бы ты знала, что у нас дома делается!

— Боже мой! Что у вас такое случилось?

— Не у нас. Но сейчас только что арестовали семью с третьего этажа. Коллаборационистов.

— Ну и что?

— Обрили обеих дочек. Прямо на улице. На моих глазах: я стояла у окошка. Обрили наголо. Это было ужасно.

— О, тетя Луиза, самое главное, что они в Кламаре!

Кончив разговор, Агнесса позвонила на авеню Ван-Дейка. Трубку сняли не сразу, к телефону подошел Валентин.

— Валентин, французская армия проходит через Кламар. Это из официальных источников. Скажи об этом нашим.

— Нашим? Они в подвале.

— Сегодня? Что это вас вдруг разобрало?

— А то, что в конце авеню Гоша стоит немецкий танк.

— Подумаешь! Я тебе говорю, а ты...

— Покорно благодарю. Когда башня танка поворачивается, наш особняк попадает прямо под прицел.

— Ладно! Иди в подвал. Только скажи нашим, что они в Кламаре.

Агнесса никак не могла хранить эту весть про себя и решила поделиться ею еще с кем-нибудь. Она пыталась припомнить кого-нибудь из своих знакомых, кому можно позвонить немедленно, и не нашла никого более подходящего, чем госпожа де Мофрелан.

— Маркиза больна, у нее неврит,— сказал слуга.— Она не подходит к телефону. Она просит ее извинить.

— А мадемуазель Сибиллы у вас случайно нет?

— Мадемуазель Сибилла здесь завтракала, но сейчас она уехала на велосипеде в бассейн.

— А! Хорошо. В таком случае передайте от моего имени мадам де Мофрелан, что армия Леклерка подходит к Парижу с юго-запада. Я хочу ей сообщить: они уже в Кламаре.

Агнесса решила прекратить телефонные звонки. Но часов в шесть она вдруг заметила в чердачном окошке стоявшего напротив дома маленький сине-бело-красный флажок.



— Ирма! Люди уже вывешивают в окнах флаги. Давай скорее водрузим наше знамя!

Длинный шест с обмотанными вокруг него цветными полотнищами наконец-то увидел свет. Уже давно было устроено специальное приспособление за неимением настоящего флагштока: целая система из толстой металлической проволоки, привязанной к ставне окна гостиной. Десять минут ушло на поднятие стяга, и трехцветная волна медленно скатилась вниз, потом ее надуло ветерком, веявшим с авеню Виллье. Рокки захлопал в ладоши. Агнесса открыла калитку и перешла на противоположный тротуар, чтобы со стороны полюбоваться творением своих рук. Вернувшись в садик, она застала Ирму, отбивавшейся от четы привратников, которые умоляли ее о чем-то с бледными от испуга лицами.

— Мадам, снимите флаг, вас честью просят. Нас жильцы послали.

— Им не нравится мой флаг? Так вот, плевать я на них хотела. Ирма, поди посмотри, кто звонит.

Звонили бойцы Сопротивления — трое подростков с карабинами наперевес, с засученными рукавами и повязкой на голой руке.

— Снимите! — приказал командир. — Слишком рано. Из-за вас будут стрелять по дому.

— Но уже час назад они были в Кламаре. Армия Леклерка. Я туда звонила и сама слышала шум. Сейчас они должны быть уже в Париже.

С помощью привратника молодые люди стащили знамя.

Часов в десять, когда все уже погрузилось во мрак, радио объявило, что одно из соединений Леклерка расположилось на площади Отель де Вилль.

— Нет, не могу сидеть дома, — сказала Агнесса. — Ирма, ляг на мою постель и оставь дверь в комнату Рокки открытой.

— А куда вы идете?

— На площадь Отель де Вилль. Хочу их видеть, этого нельзя пропустить. Дай мой плащ. Пойду переулками, чтобы меня не задержали по дороге. Когда я вернусь, знаешь, что будет? Мы с тобой вдвоем выпьем за их здоровье по стакану шампанского. Бутылку я припрятала.

После полуночи она возвратилась домой, разбитая усталостью, и тяжело рухнула на стул.



— Ну как? — спросила Ирма все тем же возбужденным тоном. — Скорее, рассказывайте! Что вы видели?

— Ничего. По правде говоря, ничего не видела. Меня к ним просто не подпустили. До улицы Сен-Мартен я легко добралась, но там оказалась баррикада, и притом самая настоящая, с вооруженными людьми. Издали я различила свет, силуэты при свете автомобильных фар. Тут человек, который меня остановил, сказал: «Вы же их видите; вон эти тени — это они и есть». — «Правда? Можете мне в этом поклясться?» — «Клянусь, а теперь возвращайтесь-ка домой...» Но, знаешь, — добавила Агнесса, — если говорить по правде, ничего я не видела.

На следующий день с первыми лучами солнца флаг уже развевался на ветру. Прочно врытое в землю древко, наклоненное под нужным углом, его сшитое из занавесок полотнище царило над всем садиком. Ирма выскользнула за калитку; побежала сначала направо, потом налево и вернулась, еле переводя дух.

— Мадам, от площади Ваграм до площади Терн только его и видно!

Агнесса еще в халатике, еще не выходявшая из своей тесной спальни, подняла голову и посмотрела на трехцветное чудо, надутое ветром, как парус. Врытый в землю флаг доходил до окон второго этажа и поистине украшал весь фасад. Жильцы с верхнего этажа уже не протестовали.

Ирма вновь куда-то убежала и принесла из своей комнаты огромный портрет генерала де Голля. Еще при немцах она приобрела его у какого-то деголлевца, который воспроизводил эти портреты с фотографии и продавал их под носом у властей по тридцать пять франков за штуку. Бесстрашная Ирма повесила это священное изображение над своей постелью. А теперь она потребовала, чтобы Агнесса приколотла его к их флагу.

— Ну, подумай сама, — убеждала ее Агнесса. — Во-первых, весь эффект пропадет. А во-вторых, твой портрет разорвется при любом порыве ветра, — добавила она, щадя чувства Ирмы.

Ирма надулась было, но, услышав грохот броневика, проходившего по авеню Виллье в направлении к Шампере, выскочила со своим портретом в руках за калитку и встала на углу площади. Вскоре показалась вторая машина, набитая солдатами в форме защитного цвета, еще издали известив жителей о своем приближении страшным лязгом и грохотом. Ирма выпрямилась,



смеясь так заразительно, что даже зубы ее заблестели на солнце, и подняла на вытянутых руках пресловутый портрет. Солдаты в ответ отдали честь, кое-кто поднял два пальца в виде буквы V, и все утро, проезжая мимо выстроившихся на тротуаре зевак, освободители салютовали Ирме из Пор-Кро и генералу де Голлю.

## XV



осле капитуляции немцев в Париже, после триумфальной прогулки генерала де Голля от площади Этуаль до Собора Парижской богоматери, после прохождения американских войск через Елисейские поля Агнесса стала свидетельницей возвращения людей, бежавших от войны, но одетых в военную форму.

Светская жизнь, которая в течение четырех лет оккупации процветала только в кружках коллаборационистов, варившихся в собственном соку, вдруг в несколько дней пышно развернулась, но состав участников не очень изменился. Наиболее скомпрометированные лица проворнее прочих обнаружили в своем сердце патриотические чувства, которые им, по их уверениям, приходилось подавлять. Они, оказывается, только делали вид, что симпатизируют немцам для того, чтобы добиться от них смягчения жестоких репрессий, помилования и некоторых сведений, полезных для деголлевцев. Каждый из таких «патриотов» говорил о своей «сети», о кличке, которую он носил в подполье; но если какой-нибудь простак начинал задавать коварные вопросы, а недоверчивые слушатели требовали уточнений, болтун, а чаще всего болтуня, вдруг умолкали: тише, ради бога тише, военные действия еще не окончены и еще много-многого нельзя сказать. В общем количество тех, кто вдруг заявил о своем принадлежности к Сопротивлению, значительно превысило число подлинных его борцов, которых имелось по спискам триста тысяч человек, что составляло семь десятых процента всего населения Франции, насчитывавшего сорок два миллиона человек.

Из комодов и гардеробов вдруг вытащили запрятанные после поражения мундиры, какие носили в период между двумя



войнами, и военная форма вновь появилась в квартирах, но красовалась теперь не на плечах хозяина, а на спинках стульев в передней — к сведению визитеров. Почти таким же быстрым темпом, в каком производились в те дни аресты, шли операции «самоочищения» — либо посредством личных жертв, либо через третьих лиц. Отцы посылали своих сыновей в отряды добровольцев, и тогда все семейство, обеленное и успокоившееся, с гордостью укрывалось за щитом с изображением карты Франции, начертанной золотом по синему фону. Дамы, отказываясь от развлечений, надевали форму Красного Креста или нестроевых войск. К такого рода маскараду, придававшему женскому облику нечто мужественное, особенно охотно прибегала та самая орава амазонок, которые еще недавно группировались вокруг какой-нибудь герцогини, актрисы или дочери министра и, представляя при оккупации сливки общества, держали в своих руках доходные места, всяческие блага и милости.

В освобожденной столице живо расплодились бывшие «неоки». Эти парижане, пробывшие в изгнании четыре года, упорно остававшиеся в южной зоне, несмотря на упразднение демаркационной линии, с гордостью заявляли о твердом своем решении не видеть ни одного немца, хотя тогда немцами кишела вся Франция. Начиная с сентября, подхваченные внезапным порывом, рассчитывая на триумфальное возвращение, «неоки» стали постепенно, этапами, продвигаться к Парижу, подобно Наполеону, возвращавшемуся с острова Эльбы.

Но и военизированное кокетство и запоздалая храбрость бледнели перед нашествием беглецов в мундирах, возвращавшихся с отдаленных рубежей, на которые они отступили. Они прибывали в самолетах и, можно сказать, пачками низвергались с небес в центр Парижа. Просачивание произошло в мгновение ока. Это была шестая колонна. Роскошный отель близ площади Этуаль, так же как знаменитый ресторан — услада многих поколений, так же как некий салон на Ля Мюэт или в Фобур-Сен-Жермен, только что очищенные от немецких зеленых мундиров, вдруг увидели в рамке входных дверей дельцов, адвокатов, сочинителей драм или киносценариев, попрошайек и холуев, которые, удрав из Франции задолго до всякой опасности с чадами и домочадцами, целых четыре года укрывались в канцеляриях — кто в Алжире, кто в Лондоне или в Нью-Йорке — и вдруг возвратились в военной форме цвета хаки с нашивками или без нашивок, но уж непременно со всякими значками.



и ленточками, с высоко поднятой головой, пронзительным и прямо-таки инквизиторским взором, с карманами, набитыми рассыпным кофе в зернах (из офицерской столовой), который они раздавали полными пригоршнями встречным и поперечным, а вдобавок — и квадратики жевательной резины, удостоверившись предварительно в гражданских чувствах людей, ими облагодетельствованных. Их чествовали — и, конечно, куда больше, чем офицеров и солдат Второй бронетанковой дивизии, которые, пройдя через Париж и соединившись с Седьмой американской армией, сражались тогда в Бургундии.

И вот, узнав, что Жоффруа Сиксу-Герц прибыл из Лондона в военном мундире, да еще облеченный какой-то миссией, госпожа де Мофрелан почувствовала срочную необходимость укрепить узы родства с этим семейством; она устроила на Лилльской улице прием в честь юного героя; Агнесса была приглашена вместе со своими племянниками Жильбертой и Манюэлем. Она задержалась в Париже из любви к своему городу, а также в силу необходимости. За последние полгода, прожитые ею в столице, и особенно за недели высадки и Освобождения, она опять привязалась к Парижу. В сердце своем она переживала и все бедствия Парижа, и тоску ожидания, и бурный взрыв восторга освобожденного города, она так боялась, что немцы разрушат Париж, и теперь не могла расстаться с ним. Прошло шесть месяцев, только шесть месяцев, но их оказалось достаточно для того, чтобы Агнесса вновь корнями вросла в почву родного города. Скромные насаждения, которые она сделала собственными руками, желая украсить свой парижский садик и позабавить сына, отнюдь не были просто жестом.

Да если б она и хотела возвратиться на мыс Байю, туда еще было невозможно пробраться. Дивизия Леклерка вступила в Париж через восемь дней после высадки в Провансе, за два дня до освобождения Тулона; освобождение Иль-де-Франса и долины Роны происходило одновременно. Но все плато Лангра еще оставалось в руках немцев. Нечего было и думать добраться до Лазурного берега прямым сообщением по железной дороге. Агнесса совсем не хотела, без крайней на то необходимости, подвергать сына мукам путешествия кружными путями через провинции, еще не пришедшие в себя после своего пробуждения.

Когда Агнесса в сопровождении племянника и племянницы поднималась по ступеням крыльца Мофреланов на глазах у обитателей соседнего дома, которые выглядывали из окон,



как из театральных лож, рассматривая прибывающих, она услышала нараставший гул великосветского сборища. Но, пройдя через вестибюль в большой зал, она не могла определить, что за прием там происходит. Открывшаяся ее глазам суতোлка была ни на что не похожа, и только чрезмерное обилие представителей прессы напоминало ей так называемые cocktails-parties, которые устраивались в Нью-Йорке или в Сан-Франциско во времена ее пребывания в Америке — шумные сборища, куда каждый мог привести с собой кого угодно и чувствовал себя как дома, даже не зная, где он в гостях. В глаза бросались опереточные, старомодные мундиры, затмевавшие штатские пиджаки; среди строго военных одеяний попадались весьма странные наряды: плотно облегающий джемпер, подвернутый над брюками для верховой езды, узкая юбка и стянутая кожаным поясом рубашка цвета хаки; пестрые сборные костюмы, словно на незадачливых статистах, дополнялись беретами, пилотками, которые не снимали с головы даже мужчины, доказывая тем самым свою причастность к подпольной деятельности.

— Ну, детки,— сказала Агнесса своим спутникам, остановившимся в нерешительности перед всем этим столпотворением,— вы можете делать, что вам угодно. А я только поздороваюсь с госпожой де Мофрелан и улизну.

— Да что ты, тетя Агнесса! — сказала Жильберта.— Останься. Ты только погляди, до чего забавно!

Протиснувшись сквозь толпу, Агнесса добралась до хозяйки дома, но потеряла по дороге своих племянников.

— А-а, вот она! — воскликнула госпожа де Мофрелан и, к великому удивлению Агнессы, расцеловала ее.— Муромский, найдите моего внучатого племянника и приведите его сюда. Я хочу, чтобы он познакомился с мадам Буссардель.

«Внучатого племянника? Кто же это? — подумала Агнесса.— Ах да! Это племянник ее снохи, теперь она так его называет».

Вскоре к ним подошел сам Жоффруа, словно сошедший с обложки американских журналов, в военной форме, обтягивавшей его фигуру, как трико акробата. Этот воин, чарующий полукабийской, полуголливудской красотой и самоуверенным холодным взглядом серых глаз, весьма отдаленно напоминал того светского ветрогона, которого Агнесса встретила однажды в поезде на Лазурном берегу в сорок первом году. Она поняла, что в промежутке между двумя этими этапами силою обстоятельств из прежнего Сиксу-Герц вылупился нынешний. Но она



заметила также, что при этом превращении он не заслужил ни единой нашивки и на груди у него с левой стороны пестреют лишь какие-то значки, жетоны и висюльки.

— Я знаю, как много вы сделали для моей бабушки,— сказал он, целуя руку Агнессы.— Это благородно! Да, да, очень благородно!

— Она и ко мне была поразительно добра,— подхватила госпожа де Мофрелан, обняв «внучатого племянника» за талию.— Она приехала сообщить мне утешительные вести о моей бедненькой подруге. Ах, дорогой мой мальчик, мы действительно поддерживали друг друга в черную годину. Постойте, да ведь именно мадам Буссардель сообщила мне о вступлении Леклерка в Париж.

— Есть ли у вас вести о вашей бабушке? — спросила Агнесса у юного Жоффруа.— Вероятно, ту местность освободили в начале месяца.

— Ну, конечно, благодарю вас за внимание. Она скоро двинется в путь.

Агнесса обернулась: к ней подошла Жильберта и дернула ее за локоть, очарованная душкой военным. Ей представили Жоффруа. Но тотчас ее оттеснили почитатели, плотным кругом обступившие юношу. Какая-то женщина, захлебываясь от восторга, спрашивала, правда ли, что при высадке французских войск в Северной Африке он выступал вместо генерала Жиро.

— Как? И это уже известно в Париже? — воскликнул он, смеясь.— Ну, разумеется, это я и был. Сам Жиро спал как убитый в каземате Гибралтарской крепости, а я произносил его речь у микрофона Алжирской радиостанции.

Раздался хор восклицаний. Агнесса видела, как ее племянница, работая локтями, пролезла в первый ряд, оспаривая место у задавшей столь интересный вопрос нескладной долговязой особы, разыгрывавшей девочку: взбитые надо лбом кудряшки, коротенькая клетчатая юбочка с бретельками и скромная белая блузка: к концу оккупации в моду вошла простота туалетов.

— Но, право, это не единственный случай,— жеманничал Жоффруа.— Когда Эйзенхауэр должен был выступить на французском языке, говорил не он, а полковник Холмс, у него, надо сказать, настоящее американское произношение — даже лучше, чем у самого Эйзенхауэра. Словом, такая же история, как с речью Жиро: у меня очень фоногеничный голос.



— Ах, повторите хоть кусочек его речи! — суюкала долго-вязая особа со взбитыми кудряшками. — Ну, как вы ее читали перед микрофоном? Ну, пожалуйста, пожалуйста! Просим.

— Т-шш! — зашикали друг на друга слушатели. — Тише! Тише! — А тем временем импровизатор начал:

— У микрофона генерал Жиро...

«Как же это? Как же это?» — думала Агнесса. Она подсчитала, что во время высадки французских войск в Северной Африке Жоффруа не было и двадцати лет. А через год старуха Сиксу-Герц рассказывала ей в Барони, что ее внук уже несколько месяцев живет спокойно у родственников в Каскаэсе, купается в море.

Когда краснобай закончил свой номер, ему зааплодировали, кричали браво, уверяли, что у него настоящий талант имитатора и в каком-нибудь ночном кабаре он имел бы бешеный успех.

— А теперь изобразите маршала Петэна! — закричал какой-то любитель.

— О-о! — скромно отнекивался Жоффруа. — Маршала изобразить чрезвычайно легко. Это всякий может.

Слушатели настаивали.

— Фра-ан-цу-у-зы! — заблеял наследник Сиксу-Герцев.

— Ах, проказник! Должна признаться, что это забавно, — воскликнула госпожа де Мофрелан. — Ведь забавно, верно, Агнесса? Как он ловко подметил черточку старческого слабоумия... Правду говорят, что для солдата нет ничего святого.

— Манюэль, — сказала Агнесса, разыскав племянника в соседней гостиной. — Я отдала долг вежливости и теперь удираю. Сестра остается на твоём попечении. Приведи ее домой.

— Не беспокойся за нас, — ответил Манюэль. — В наши годы можно обойтись без няньки.

— Любезен как всегда! Ну что ж, нянька покидает вас без малейших угрызений совести.

— Агнесса! Агнесса! — воскликнула Сибилла Мофрелан, схватив ее за рукав. — Вы уже уходите?

— Да, моя дорогая. Но оставляю вам своего племянника и племянницу. А я не могу. Право, не в силах. Такое множество народу. Я еще не гожусь для светской жизни. Совсем отвыкла.

— Да вы хоть видели моего двоюродного брата Жоффруа?

— Ну, конечно. Он даже сказал мне несколько любезных слов.



— И будьте уверены, что сделал это не просто из вежливости. Он навел справки. Он наводит справки о всех наших знакомых. Вы же понимаете, после своих героических поступков он не желает пожимать руку кому попало. То есть людям, которые дурно вели себя во время оккупации.

— Вот как? А кто же ему дает справки?

— Я, бабушка, все кто угодно. Он спросил у меня: «Скажи, только без дураков, как там эти Буссардели? Якшались с немцами?»

Агнесса даже вздрогнула:

— Он так спросил про нас?

— Да. Я ему ответила: «Ну, о них никто слова дурного не скажет, ручаюсь тебе».

— Как мне благодарить вас, Сибилла? Вы слишком добры.

— Ничуть. Я просто справедлива. Я не забыла, чем вы рисковали ради его бабушки.

— Ну, теперь моя очередь вернуть вам такой же любезный упрек, какой вы мне когда-то сделали, и я скажу: «Сибилла, вы преувеличиваете».

Агнесса сбежала с праздника. Племянница ее и в самом деле могла обойтись без опекуни. Ей, правда, только что исполнилось восемнадцать лет, но у нее уже были все основания считать себя взрослой особой: ей формально предоставили право распоряжаться своим состоянием. И, несомненно, Манюэль, который был на год моложе сестры, тоже получит это право, достигнув восемнадцати лет. Жильберта и Манюэль были детьми Симона от первого брака и после смерти отца, погибшего в плену, остались круглыми сиротами. Не потому ли из всех детей семейства Буссарделей в них меньше всего проявлялось буссарделевских черт? Они держали себя более свободно, чаще вращались в свете, чем их многочисленные кузены и кузины, больше встречались с мальчиками и девочками иного общественного круга, имели на все свои собственные взгляды, притом далеко не всегда наивные. Так, например, они, несмотря на юный свой возраст, весьма заботились о своих материальных интересах (в этом они еще немного походили на остальных членов семейства), но говорили, что времена недвижимого имущества уже миновали, оно уже не приносит больших прибылей, опутано всякими ограничениями, мораторием, шкалой налогов,— словом, становится все менее и менее доходным. Поступление крупных сумм в установленные сроки платежей



отошло в прошлое, и бывшим владельцам участков следует немедленно заменить свое недвижимое имущество движимым. Подобные теории, основанные на весьма незначительном опыте, вызвали в семье негодование, особенно у старейших ее членов, которые еще помнили, какие сказочные прибыли приносили земельные участки. Нападать на догмат святости недвижимого имущества — значило ниспровергать основу основ династии Буссарделей. Только мачеха, состоявшая опекуницей двух еретиков, да их бабушка с отцовской стороны прислушивались к ним, но терпимость Жанны, второй жены Симона, можно было объяснить нежеланием портить отношения с падчерицей и пасынком, а Мари Буссардель была ослеплена своей страстной нежностью к внукам, на которых она перенесла всю свою любовь к погибшему сыну. Валентин, являвшийся вторым опекуном, не разделял этих новых взглядов и не желал давать свое согласие на продажу недвижимого имущества, унаследованного племянниками, как то предлагали его мать и невестка. Он предпочел избавиться от ответственности и настоял на досрочном предоставлении им прав юридической дееспособности, что позволяло им поступать как угодно.

Первое немаловажное следствие этого совсем недавнего освобождения Жильберты от опеки выразилось, однако, не в продаже земельных владений. Через несколько месяцев бойкая девица стала героиней события, о котором Агнесса узнала, уже будучи на мысе Байю — она наконец возвратилась на остров, заперев свою квартиру на площади Брезиль, ибо решила сохранить ее за собой на случай приездов в Париж. Наконец-то она могла вновь любоваться летом, осенью и зимой своим красным домиком в сиянье южного солнца, амфитеатром скал и морскими просторами. На мысе ничего не изменилось. Не изменилось ничего ни в Кань, ни в Ле Лаванду. О судьбе ее подруги не было никаких вестей. Мано со дня ареста исчезла бесследно, а освобождения заключенных из концентрационных лагерей, находившихся на территории Германии, нужно было ожидать еще долгие месяцы.

Прошла зима, вернулась весенняя пора, и в конце апреля Агнесса узнала, что Жильберта Буссардель выходит замуж за Жоффруа Сиксу-Герц.

«Ты, конечно, понимаешь, что этот брак нас очень огорчил, — писала тетя Эмма, сообщая Агнессе новость. — Твоя бабушка, которая была святой женщиной, твой бедный дед,



которого я обожала, и все наши предки, начиная от братьев-близнецов, родившихся во время оккупации 1815 года, заключали прекрасные брачные союзы, и теперь, думается мне, кости их переворачиваются в могилах на кладбище Пер-Лашез. Ах, как времена переменялись, как вращается колесо судьбы! Но ничего не поделаешь, надо смириться. Свадьбу откладывать нельзя. Впрочем, это не тема для письма. Кажется, ты познакомилась в прошлом году друг с другом этих ветренников? (О, я тебя за это не упрекаю — такова воля рока!) И вот теперь будь добра пожаловать к нам на авеню Ван-Дейка: в субботу на следующей неделе я даю вечер в честь их помолвки. Придется и это вытерпеть!»

Причины внезапной свадьбы проступали слишком ясно сквозь эпистолярные обиняки целомудренной тети Эммы. Агнесса и не подумала уклониться от церемонии. Приключение ее племянницы имело некоторые сходные черты с ее собственным браком, и Агнесса не считала возможным изображать негодование. Очень мало ее волновало и вторжение в семейный круг Буссарделей юноши еврейского происхождения, но она без труда представляла себе ярость всего клана. Агнесса жалела лишь о том, что Жильберта влюбилась именно в этого еврея. Так или иначе, она поехала, оставив ребенка на попечение двух женщин. Тетя Эмма встретила племянницу на вокзале.

— Ах, я так хотела поговорить с тобой наедине! — заявила она без всяких предисловий. — Я нарочно отказалась от провожатых, чтобы высказать тебе все, что накипело. А то дома я проповедую стойкость в беде: заварил кашу — не жалей масла. И стараюсь сама подавать пример. Но, если уж говорить по душам, да еще с тобой, кисанька... Зайдем на минутку в буфет. Носильщик! Идите за нами.

Агнесса попыталась ее успокоить, урезонить и даже лукаво пожурила за то, что, оказывается, у тети Эммы есть предрассудки, довольно близко напоминающие расистские, тогда как сами Буссардели едва избежали преследований со стороны немецких фашистов. Упрек, по-видимому, задел тетю Эмму за живое, она сделала большие глаза.

— Ах, да что ж это! Как не стыдно меня так расстраивать! Этого только не хватало! Как будто у меня никогда не было твердых убеждений. Нет, нет! — лепетала она, махая руками. — Нет! Обращаться с ними, как с ровней, помогать им,



когда их преследуют, разумеется, водить с ними знакомство, поскольку это необходимо и в деловых отношениях и в обществе... даже аплодировать им, когда они выступают на подмостках, как виртуозы-музыканты или замечательные актеры,— ну, в общем, не давать им почувствовать, что мы с ними разной породы,— согласна, пусть будет так!.. Но вступать с ними в брак — нет, нет! — воскликнула старая девица и, придвинувшись на диванчике к Агнессе, добавила дрожащим голосом:— Ведь я родословную Буссарделей наизусть знаю, вплоть до наших предков из Турени и из Савойи, еще тех времен, когда Савойя не принадлежала Франции, да, да, могу тебя заверить. Ну так вот, нигде, никогда — ни единого, ни единого! Вот какова была наша буржуазия.

На следующий день в старинном особняке состоялся прием. Ни в атмосфере этого семейного празднества, ни в выражении лиц Буссарделей, их родственников и свойственников ничто не указывало на глубокое смятение всего клана. Такова была их выдержка. И их умение скрывать свои истинные чувства, которое они часто проявляли безо всякой нужды, сейчас пошло им на пользу и даже походило на твердость характера.

В самом деле, неловко себя чувствовали не они, а лагерь Сиксу-Герцев. Агнесса из деликатности поговорила с госпожой Сикс-Герц лишь минут пять, не желая смущать старуху воспоминаниями о пережитых ею унижениях, когда ей приходилось играть в Барони роль нищей крестьянки. Но со времени Освобождения все это семейство вновь собралось в столице, за исключением тех его членов, которые были высланы и, как стало достоверно известно родным, погибли в газовых камерах — о них вообще не упоминалось. Остальные же, возвратившись из Италии, из Португалии, из Англии или из Америки, объединились вокруг почтенной матроны, которая обрела прежний свой облик и, утратив вдруг акцент жителей Нижнего Дофине, опять заговорила, как все Герцы. Сейчас они окружили ее в большой гостиной на авеню Ван-Дейка, и даже тут, в доме Буссарделей, с которыми готовились породниться, держались немножко в стороне.

— Ну, скажу тебе, и раздражают они меня! — призналась тетя Эмма, отводя Агнессу в угол.— Знаешь, кого они мне напоминают? У нашего меховщика я много лет имела дело со старшей продавщицей, и вот в один прекрасный день она



принялась мне жаловаться, что ее дочь выходит замуж за католика! Я наконец не выдержала и сказала: «Мадам Лион, не горюйте, среди католиков попадаются очень порядочные люди,—потом поглядела на нее и говорю:—Впрочем, и среди евреев тоже, по крайней мере я так слышала».

— Тетя Эмма! Тетя Эмма! — ужаснулась Агнесса.— Ты нынче судья немилостивый.

— Верно! — откровенно призналась старуха.— Но ты не беспокойся, я не скажу ничего неприятного этим Сиксу-Герцам. Ведь я двоюродная бабка Жильберты и хозяйка дома. Ну-ка, пойдем займемся немножко господами де Мофрелан. Ведь рикшетом мы породнились и с аристократами. Право же, нынче вечером у нас очень смешанное общество.

Мофреланы знали обычаи всех кругов общества и, не испытывая ни малейшей неловкости ни в одном из них, с полнейшей непринужденностью вербовали себе пополнение в лагере буржуазии. Агнесса впервые увидела господина де Мофрелан. Оказалось, что он вовсе не такое уж смиренное, незаметное существо, как то можно было подумать, судя по повадкам его супруги; он говорил громким, зычным голосом. Будь Агнесса более осведомлена о сплетнях, ходивших в этих кругах, она, конечно, знала бы, что у этого бодрого, полнокровного старика есть связь с дамой зрелого возраста, носительницей столь же громкого имени, как и он сам, и это ни для кого не секрет.

Тетушка Эмма усадила господина де Мофрелан на диван около себя и заговорила с ним о бракосочетании одного из Суланжей, состоявшемся в церкви Сен-Пьер-де-Шайо, где она видела Мофрелана среди приглашенных. Для большинства светских людей освобождение Парижа вновь открыло врата в мир удовольствий и пышных празднеств, как будто война кончилась в тот самый час, когда Шолтиц капитулировал на Монпарнаэском вокзале.

— Ах, и вы там были, мадемуазель?

— А почему же мне не быть? — ответила Эмма.— Суланжи — люди очень приятные. Но я была на свадьбе не в качестве родственницы,—мы просто соседи по имениям. Замок Суланжей находится очень близко от нашего Гранси.

— У вас тоже есть в этих краях клочок земли?

— Да, есть. Усадьба с большим домом, но мы никогда не называли его замком. А какая ужасная давка была на свадьбе! Право, меня едва не сбили с ног. Хорошо, что я дама солидная,



Я давно заметила, что на аристократических свадьбах надо пускать в ход кулаки.

— Пока я еще ни разу не получал тумачков в церкви,— возразил господин Мофрелан, и на губах его заиграла улыбка.

— Вы просто их не замечали, потому что привыкли. Но сравните-ка со свадьбами буржуазии! Не могу понять, откуда у вас такие манеры. Я не слышала, чтобы ваши короли в Версале когда-нибудь толкались.

— Но ведь в те времена толпа расступалась перед нами, мадемуазель. Теперь этого не бывает. И нашему брату приходится защищаться.

— Ах, вот почему вы нападаете.

Агнесса тщетно пыталась прервать этот разговор. Господин де Мофрелан, не признававший вздорной болтовни, поглядывал на свою бойкую собеседницу веселым оком.

— Кажется, вы задираете меня, мадемуазель. Предупреждаю, что я любитель поединков, но женщинам довольно опасно бросать мне вызов: я еще не растерял силы.

— Ах, дорогой мой! — отпарировала Эмма, возбужденная этим турниром и чувствовавшая себя с Мофреланом куда свободнее, чем с господами Сиксу-Герц.— Даже сорок лет назад вам пришлось бы оставить всякую надежду покорить меня. Вы, конечно, недурны собой, но, увы, не мой идеал.

— Ого! Так вы мне сказали бы: «Убирайтесь ко всем чертям»?

— Нет, просто: «На все четыре стороны»,— ответила старая девица, быстро оправившись.

— Так, стало быть, грубость моих слов вас возмущает?

— Возмущает? Нисколько. У меня были старшие братья, я и не такое еще слышала,— заявила тетя Эмма, на сей раз покривив душой.— Но, право, дорогой мой, я никак в толк не возьму, по какой причине аристократы употребляют неприличные выражения.

— По привычке. Так изъяснялись еще при дворе в великий век Людовика Четырнадцатого. Вы, наверно, слышали, что некая принцесса, особа весьма тучная, которая не могла собственными силами взобраться в карету, сказала своему выездному лакею: «Подтолкни меня, дурень, под задницу».

— Прошу прощения,— заметила тетя Эмма с кроткой улыбкой,— ведь эта принцесса говорила в данном случае со своим слугой.



— Туширован! — подал реплику господин де Мофрелан и расхохотался.

— Подождите, — продолжала старая девица, — я вам тоже расскажу анекдот, и мы будем квиты. Я его слышала еще в пансионе и с тех пор не забыла. Ваша история с каретой напомнила мне его. Когда Людовик Четырнадцатый выезжал на прогулку, он, желая оказать кому-нибудь из приближенных честь, усаживал его с собой в карету на переднее сиденье; ошастливленный, если, конечно, это был мужчина, а не дама, делал всяческие курбеты, не решаясь усесться в карету первым. Своими ужимками эти господа старались показать свою учтивость, а короля это выводило из терпения. Однажды он, вздумав поехать осмотреть свой парк, указал Ленотру на открытую дверцу кареты, и Ленотр тотчас без всяких кривляний взобрался на сиденье. Тогда король, стоявший возле кареты, повернулся к придворным и сказал: «Господа, вот поистине воспитанный человек!» И тут нет ничего удивительного, — заключила тетя Эмма, — ведь Ленотр был простолюдин.

Старик Мофрелан громко расхохотался.

— Черт побери, мадемуазель. Вас нелегко одолеть, последнее слово за вами. Скажу по чести, вы меня совсем покорили.

— Но я вовсе того не жажду, — шутливо ответила тетя Эмма.

Извинившись перед Мофреланом, она встала, сказав, что нужно подумать и о других гостях. Агнесса последовала ее примеру.

— Ну вот, хоть душу отвела, — сказала тетя Эмма, отходя бодрым шагом.

Престарелая хозяйка дома потратила в ту ночь много сил и старалась, скрепя сердце, проявлять радушие, заставляя и весь отряд Буссарделей весело улыбаться. Ведь хуже всего было бы показать, что столь почтенное семейство лишь поневоле соглашается на этот брак.

Как только последние гости уехали, представление окончилось и тетя Эмма перестала притворяться; лицо у нее осунулось, выразило глубокое огорчение и усталость; прежде чем отправиться к себе, на площадь Брезиль, Агнессе пришлось помочь старухе лечь в постель. На следующее утро телефонный звонок принес ей печальную весть: горничная тети Эммы, удивляясь, что хозяйка не зовет ее, вошла в спальню и обнаружила, что старуха лежит без сознания. С ней случился второй



удар. Врачи признали положение тяжелым, опасаясь, однако, не за жизнь больной, а за ее рассудок.

Через несколько дней тетя Эмма уже издавала нечленораздельное бурчание, но ничего не слышала, ничего и никого не узнавала. Все родственники, сменяясь, сидели у ее изголовья, каждый брал ее за руку, заговаривал с ней сладким голосом: «Это я, тетя Эмма, ты меня узнаешь?» — и затем уверял всех, что тетушка его узнала. То же сделала и Агнесса, но ничего не добилась от больной. В неясном, почти утробном урчании, вырывавшемся у старухи, которую освободили от вставной челюсти, Агнесса пыталась различить какие-нибудь осмысленные слова, но уловила только бессвязное бормотание: «За работу! За работу!» — шамкала тетя Эмма и, прочистив горло, без конца повторяла: «За работу! За работу!»

— Что это она все твердит: «За работу»? — спросила Агнесса у Луизы Жанتي, присоединившись к ней в галерее, где та плакала, сидя в обществе Жанны-Поль.

— Мне кажется, я догадываюсь, почему, детка, — ответила Луиза, прикладывая к глазам скомканный платочек.

— Да тут ничего загадочного нет! — воскликнула Жанна, вмешиваясь по своему обыкновению в качестве всезнайки, которой все ясно и понятно. — Мол, хочешь не хочешь, а такие вопросы встают перед всеми нами, и каждому приходится задуматься над своим положением. Я первая поняла, к чему идет дело, но надо мной смеялись, называли прорицательницей.

— Странно, — сказала Агнесса, не видя, какое отношение может иметь призыв тети Эммы: «За работу» — к каким-то новым вопросам, о которых говорит ее кузина.

Уж не имела ли Жанна-Поль в виду последствия немецкой капитуляции в Берлине, совершившейся несколько дней назад, или же домашние осложнения, которые вызвали болезнь Эммы.

— Ах, оставьте, Агнесса, неужели вы не знаете, что власти совершенно сознательно принесли в жертву интересы людей, владеющих в Париже домами и земельными участками? Ведь это и вас касается, милая. Медленно, но очень умело законодательство разрушает основу нашего богатства — ценность недвижимого имущества. Повышение квартирной платы отстало от того уровня, которого достигли нынче другие показатели экономической жизни. Правительство не принимает во внимание расходы домовладельцев, неизбежно связанные



с эксплуатацией принадлежащей им собственности,— заявила Жанна-Поль с присущей ей четкостью и выразительностью, благодаря которым она считалась одной из самых блестящих студенток Школы политических знаний и которые с тех пор развила в себе, пользуясь авторитетом супруги и матери.— Насколько мне известно, у вас ведь тоже есть недвижимое имущество. Неужели вы предоставляете своему управляющему полную свободу действий?

— Признаться, из-за всех этих событий...

— О, в таком случае вас ждут сюрпризы, и пренеприятные! Попробуйте-ка продать принадлежащий вам дом или хотя бы квартиру, вы поймете, какая это мука. Ведь своих квартирантов вы не можете выставить за дверь, следовательно, вы уже не хозяйка в собственном доме. А цену, по которой вы могли бы его продать, теперешние законы сбивают до невероятности. В итоге с доходными домами больше хлопот и расходов, чем доходов. Что касается земельных участков, то, если они находятся на окраине города — говорю с полным знанием дела,— муниципалитет отчуждает их у собственников просто по смехотворной цене. Словом, все пошло шиворот-навыворот: раньше земельные участки обогащали владельцев, а теперь разоряют.

Наконец Агнесса поняла. Уже несколько месяцев эти вопросы служили постоянной темой разговоров между членами семейства, прежде совершенно неуязвимо для подрывных идей Жильберты и Манюэля. И вот тетя Эмма, у которой еще оставалась крупница сознания, а быть может, просто отблеск ставшей неотвязною мысли, тетя Эмма заклинала теперь Буссарделей работать,— а ведь долгие годы их земельные владения работали на них.

Когда Жанна-Поль уехала, тетя Луиза, оставшись наедине с Агнессой, доверительно сообщила ей еще некоторые неприятные сведения. Беда не в том только, что обесценивалась земельная собственность! Уже давно и фирма, и классическая упряжка братьев Буссарделей жила только на ренту своей былой славы. Пришла в упадок контора! А новый век шел вперед. Два маклера — отец Агнессы и покойный дядя Теодор, преемником которого стал его родной сын Гастон,— пренебрегали личными связями с финансистами, дававшими поручения их конторе. И мало-помалу эта клиентура, так долго вызывавшая зависть у их братьев, отдалась и перешла в другие конторы. Многие годы господу Буссардель целиком полагались на своих доверенных



лиц, а сами обленились, растеряли прежнюю энергию, цеплялись за устарелые методы. Нужно наверстывать упущенное. Но не поздно ли? Смогут ли они подняться? Откровенно об этом в семье Буссарделей не говорили — во всяком случае, при Луизе Жанти и ее муже, архивисте, которые в этом кругу по-прежнему слыли бунтарями, ибо откололись от потомственной маклерско-нотариальной и банкирской гвардии. Но супруги Жанти знали об истинном положении дел из слухов, ходивших по Парижу, из обрывков разговоров на авеню Ван-Дейка, догадывались по тем многозначительным взглядам, которыми обменивались при них Буссардели, считавшие себя непроницаемыми.

— Вот оно как! — сказала в заключение тетя Луиза. — И когда мы убедились, что всех Буссарделей томят тяжелые заботы, то и я, и твой дядя порадовались своему скромному положению. А им нельзя по-старому. Надо все менять... Ну как? Понимаешь теперь, почему бедняжка Эмма все время твердит: «За работу!»

Луиза и Агнесса беседовали стоя и не решались сесть, словно из уважения к тете Эмме, простертой в соседней комнате на одре болезни. Прислонившись к оконной раме, Агнесса обводила взглядом парадный двор, старые каретные сараи, построенные еще во времена конных экипажей, флигель привратника, являвший собою достойное дополнение к пышному особняку. И размышляя об откровениях тети Луизы относительно семейных владений Буссарделей и маклерской конторы, размышляя о болезни тети Эммы, об эксцентричном и внезапном замужестве Жильберты, о переворотах в жизни семейства, неизбежных с наступлением новой эпохи, Агнесса при этом осмотре старого дома вдруг поняла, что на сей раз здание дало трещину.





Было решено, что бракосочетание Жильберты Буссардель и Жоффруа Сиксу-Герц состоится через три недели после официальной помолвки. Болезнь тети Эммы не могла отодвинуть этой слишком близкой даты, и не без оснований. Старая дева все больше впадала в детство, но основания эти, вызывавшие необходимость скорой свадьбы и скрытые в юном теле Жильберты, становились все более очевидными. Агнессе очень хотелось поскорее вернуться на мыс Байю, к своему сыну, но она решила остаться в Париже до свадьбы — из уважения к воле тети Эммы, хотя бедняжка теперь уже неспособна была оценить эту преданность. Доктора утверждали, что в таком состоянии больная может протянуть многие годы, но к ней уже не вернутся ни ясность сознания, ни свобода движений.

На площадь Брезиль пришло письмо от господина Казелли, в котором он сообщал Агнессе, что Мано погибла в Равенсбрюке. В Ниццу только что возвратилась женщина, находившаяся в том же концентрационном лагере. Она разыскивает Агнессу, чтобы лично рассказать ей об умершей Мано, своем друге, не решаясь сделать это в письменном виде и доверить письмо почте; не пожелала она также рассказать что-либо по телефону господину Казелли, которого она, впрочем, лично не знает. Она обратилась к нему, согласно воле Мано, как к посреднику, через которого можно разыскать Агнессу.

Прочтя письмо, Агнесса тотчас сообщила на авеню Ван-Дейка, что не может присутствовать на свадьбе. В тот же вечер, объяснив матери причину отъезда, она выехала на юг.

— Раз ты это считаешь своим долгом, отправляйся, — твердила Мари Буссардель, не глядя на дочь.

Агнесса уже не удивлялась этому странному, уклончивому взгляду, который подметила у матери еще в первый свой приезд.

Тогда она спрашивала себя, уж не потому ли мать не хочет смотреть на нее, что сердится на появление в доме маленького Рено. Но, поразмыслив хорошенько, решила, что эта странная манера отводить взгляд в сторону при разговоре,



очевидно, объясняется полным равнодушием матери ко всему на свете после смерти Симона. Так или иначе, но Агнесса ясно чувствовала, что родственные связи между нею и обитателями особняка Буссарделей, восстановленные стараниями тети Эммы, оборвались в ту самую минуту, как у старушки произошло кровоизлияние в мозг.

Оставив жене Валентина деньги на подарок Жильберте и дав указания, что именно купить, Агнесса отправилась в путь.

Решив не заезжать в Пор-Кро, она взяла билет прямого сообщения до Ниццы и, прибыв туда, направилась по указанному адресу. Дом, находившийся в квартале Рикье, ничем не отличался от других доходных домов, и этот полуденный час, и весенняя пора, уличный шум и запахи, обычные для южных городов, заранее лишали патетики предстоящее свидание.

Агнесса поднялась на четвертый этаж, позвонила. Послышались тяжелые шаркающие шаги. Дверь отворилась: выглянула женщина в домашних шлепанцах, в халате, очень полная, с болезненно одутловатым лицом. Секунду они молча смотрели друг на друга.

— Могу я видеть мадемуазель Габи Ломбар?

— А-а! — воскликнула женщина. — Вы Агнесса?

— Да, я Агнесса Буссардель.

— Я вас сразу узнала по описанию.

— Ах, так? Значит, мадемуазель Ломбар меня ждет? Я не могла предупредить, что приеду сегодня утром. Как только мне сообщили о ее возвращении, я тотчас же выехала. Будьте добры, скажите, когда ее можно застать.

— Да это я и есть.

Хозяйка провела Агнессу в залитую солнечным светом комнату, служившую столовой и гостиной. В выступающем над улицей фонаре стояли два современных стандартных кресла. Габи Ломбар предложила гостье сесть в одно из этих кресел, а сама тяжело опустилась в другое. Ступни она поставила на подушку, лежавшую возле кресла, и тут только Агнесса увидела, что у нее отекающие, водяночные ноги.

— Уж извините, пожалуйста, — устало сказала Габи. — Я вся отекала. Когда освободили из лагеря, во мне весу было тридцать килограммов, а за три недели я набрала двадцать, потому что меня стали кормить.

Агнесса в смущении смотрела на нее, не решаясь расспрашивать, не решаясь даже заговорить, и не могла отвести



взгляд от этого лица, носившего следы долгих мучений, но совсем не похожего на образ, созданный ее воображением. Ведь она ожидала, что перед ней предстанет бесплотный призрак, а черты этой женщины оплыли, обрюзгли. Никаких следов косметики, полное отсутствие загара, короткие и все еще тусклые волосы. Резкий солнечный свет подчеркивал болезненность этого какого-то голого лица, выдававшего внутренний недуг.

— Мано вас очень любила,— сказала вдруг женщина, дыша коротко и часто.— Как-то раз она долго говорила о вас, что вы и такая и сякая, вдруг умолкла и потом добавила: «Она хорошая».

Агнесса подняла руку, словно желая остановить эти загробные похвалы, но не могла справиться с волнением, от которого у нее сжималось горло.

— Не надо...— сказала она, доставая из сумочки платок.— Расскажите мне, пожалуйста, о ней. Очень она страдала?

— Да. Там все страдали.

— А долго она мучилась?

— Нет.

— Когда же?.. Когда она умерла?

— Довольно скоро... после того, как ее привезли. Из-за возраста.

— Ведь она была уже немолода...

— В лагере она скрыла свой возраст. И немцы не знали, сколько ей лет. Папки с делами потерялись. Там был хаос. Нас, заключенных женщин, пригоняли тысячи и тысячи. Возраст определяли по внешнему виду. Немцы называли это «селекционирование». Например, старух и больных держали в одном блоке, и там они фактически умирали с голоду. Если только их сразу же не отправляли в газовую камеру. Мано попыталась спастись от такого «селекционирования». Добилась, что ее взяли в команду землекопов. А ведь это самые тяжелые работы. Из сорокалетних и то выдерживали только самые сильные. А Мано было уже за пятьдесят. Из шестидесятилетних вернулись единицы.

Габи Ломбар остановилась, перевела дыхание. Агнесса молчала. Живой призрак, вернувшийся из Равенсбрюка, в лихорадочном, тяжелом волнении вспоминал пережитое:

— Лучший возраст был от двадцати пяти до тридцати пяти лет. У тех еще были шансы уцелеть. А уж старше редко кто выживал. Для юных девушек это была непосильная



пытка. Вы спросили, когда Мано умерла? Подождите, когда же ее привезли? Помнится, перед самой весной.

— Ее арестовали в Кань в марте сорок четвертого года.

— Да, да, верно. Через несколько дней после прибытия она рассказала мне о вас. Ей передали, что я из Ниццы. Тогда она мне рассказала, что делается в городе. Ведь я уже давно сидела в лагере. Мы все там очень дружно жили. И кто чем мог старался помочь, утешить, развлечь остальных. Я им пела песни, весь свой репертуар. Да, да. Я эстрадная певица. А еще была у нас учительница. Она устраивала интересные доклады, беседы. И все охотно слушали, а кто-нибудь из товарок сторожил, чтобы в случае чего поднять тревогу. Ведь там это не разрешалось. Беседы проводились на всякие темы. Мано хорошо знала живопись. Вот она и рассказывала о художниках. Объясняла, какие школы есть в живописи. У нас не было ни единой картины, ни единой репродукции, но мы в конце концов стали разбираться в направлениях. Хорошо знали, что такое барбизонцы, импрессионисты, набисты, дикие, абстракционисты. Ей и самой приятно было говорить. А только это недолго продолжалось. В июле ее отправили в газовую камеру. Не могу точно сказать, какого числа это случилось, потому что я тогда была...

Габи Ломбар умолкла, заметив, что Агнесса плачет. Эти скупые воспоминания, картины ада в концентрационном лагере, мученическая смерть Мано, этот бессвязный, монотонный рассказ, этот задыхающийся голос, изуродованное лицо этой уцелевшей жертвы, которая еще не вернулась к жизни,— все, что Агнесса слышала и представляла в воображении, сейчас в этой светлой комнате, где не было ни теней, ни тайн, в этом застекленном фонаре, нависшем над шумной, кипящей жизнью городской улицей, проникало в ее сердце, как призыв к борьбе. Мано умерла жесточайшей смертью, но ведь она, Агнесса, жива, у нее есть сын, он ее ждет на мысе Байю. Габи Ломбар с трудом спустила ноги с подушки и, нагнувшись, погладила колено Агнессы.

— Ну не надо... Не надо, не расстраивайтесь.

— Простите меня, пожалуйста,— сказала Агнесса и, тоже нагнувшись, взяла ее за руки.

— Ничего. Я ведь очень хорошо понимаю...

— Но как же вы-то, как вы могли пройти через все это и выжить?

— Да вот выжила.



— Теперь вы поправитесь. От отеков вас лечат?

— Да, начали лечить. Делают уколы. От всего уколы делают. Ведь там мы за три года перестали быть женщинами. И без медицинского вмешательства это не проходит.

— Вас арестовали здесь, как Мано?

Габи Ломбар не ответила и посмотрела в растворенное окно.

— Простите мою неделикатность,— поспешила добавить Агнесса.

— Да нет, не в этом дело, какая же тут неделикатность? И потом, я знала от вашей подруги, что вы тоже помогали Сопротивлению. Нет,— продолжала она, помолчав немного,— это произошло иначе. Я жила в Ницце с одним артистом, своим товарищем, мы оба служили в оперетте. Труппа ездила в турне по Лазурному берегу и по Алжиру. Мой друг был в Сопротивлении. А я нет. Пришли его арестовать. Ему удалось бежать через черный ход. Тогда взяли меня.

— А он спасся?

— Да. Вернувшись из лагеря, я узнала, что он устроился в Париже. И живет там.

— И вы не написали ему, что вы живы и вернулись?

— Написала.

Она снова отвела взгляд. Агнесса умолкла: значит, этот человек не приехал. Габи поняла, что ее собеседница потрясена изменой, и на губах ее мелькнула слабая улыбка — первая за все время их беседы. Она добавила:

— Ну, это дело второстепенное.

Обе умолкли, разняли руки и поглубже уселись в кресла. Агнесса подумала, что она еще успеет подробно расспросить о Мано позднее, когда Габи Ломбар немного оправится физически и морально.

— Я живу в Пор-Кро, и у меня очень, очень приятный дом. Воздух у нас чистейший. Прекрасный вид. Климат гораздо мягче, чем в Ницце,— летом нет такой жары. Приезжайте ко мне, вы у нас скоро поправитесь, я вам отведу ту самую комнату, где жила Мано.

— Большое спасибо за внимание. Но я здесь прохожу курс лечения. Соседи у меня очень услужливые. Да и, знаете, теперь мне всякое передвижение с трудом дается.

— Так позвольте мне по крайней мере посылать вам кое-что из моего хозяйства! Ведь со снабжением пока еще очень туго! Я сама делаю прекрасное оливковое масло.



— Вот за это спасибо! Большое спасибо... А скажите, господин Казелли вам ничего не говорил? Я должна передать вам кое-что от вашей подруги.

— Да вы уже передали и очень меня этим тронули. Вы рассказали, что она относилась ко мне с уважением.

— Нет, я должна вам передать еще и другое. Там мы поверяли друг другу свою последнюю волю. Для того чтобы те, которые вернутся из лагеря, могли известить родственников. У Мано родственников нет. Но я хорошо знаю, кому она завещала свои картины. Знаю наизусть все имена. И все места, где картины спрятаны. Кажется, это ценные полотна. Передать их надо в полной тайне, сами понимаете. А то вмешается финансовый инспектор и придется платить немалые налоги. Вам она назначила большую картину Вюйара: женщина стоит у открытого окна.

Агнесса съездила за завещанной ей картиной, получила ее у людей, которым она была доверена, привезла на мыс Байю и повесила в кабинете.

На картине изображен был чудесный интерьер. На переднем плане — уголок стола, на нем фарфоровая посуда, полупорожненные графины с вином, фрукты, развернутые салфетки — видимо, только что кончился обед. А дальше, в амбразуре открытого окна стоит седовласая женщина и смотрит в сад, залитый золотистым светом угасающего летнего дня. Агнесса переставила свой письменный стол так, чтобы у нее всегда перед глазами было это полотно, когда она подымет голову от бумаг. И она не могла налюбоваться на эту картину, рассматривала то натюрморт, то фигуру стоящей женщины, то просвет садовой аллеи. Вот уж как будто она знает наизусть любую мелочь, но колдовское очарование Вюйара заставляло ее каждый день находить новый штрих, подбирать ключ к новой загадке, открывавшейся глазам.

Она еще не исчерпала радостей этого первого знакомства, к которым примешивались горькие воспоминания о казненной подруге, как вдруг, возвращаясь однажды с сыном из бухты, где они купались, получила из рук Викторины пакет с печатью судебного пристава.

— Кто это принес? Утром на почте его не было.

— Да как вы ушли из дому, полчаса спустя сюда заявился какой-то человек. Одет по-городскому. Спросил вас, а если вас нет, кого-нибудь из прислуги. Вот, говорит, уведомление, еще



что-то приписал на бумаге, вложил в конверт и запечатал. Вот в этот самый конверт.

— Рокки, ступай к Ирме,— сказала Агнесса, входя в дом.

Она распечатала пакет, в нем оказалось несколько листков тонкой голубой бумаги, на которых с обеих сторон был напечатан на пишущей машинке следующий текст с вписанными от руки строчками:

#### ОПРОТЕСТОВАНИЕ ОТЦОВСТВА

Сего десятого июня тысяча девятьсот сорок пятого года.

По исковому заявлению госпожи Мари Мэрпен, супруги Фердинанда Буссарделя, проживающей в Париже в доме № 5-бис по авеню Ван-Дейка, профессии не имеющей.

Каковое заявление подано было в Париже присяжному поверенному при суде по гражданским делам судебного округа департамента Сены мэтру Плишону в его конторе, находящейся в Париже по бульвару Османа, дом № 170.

Я, нижеподписавшийся мэтр Карассон, судебный пристав суда по гражданским делам судебного округа Тулона, проживающий в городе Гиере в доме № 64 по авеню Эль-д'Ор.

Настоящим уведомляю госпожу Агнессу Буссардель, вдову Ксавье Буссарделя, законную опекуницу малолетнего Рено-Эдгара-Оливье Буссарделя, проживающую на мысе Байю в Пор-Кро (департамент Вар), по месту жительства каковой я был и настоящее уведомление передал через лицо, назвавшее себя ее служанкой.

Вышеозначенная истица намерена опротестовать в судебном порядке признание сыном Ксавье Буссарделя младенца, которым Агнесса Буссардель разрешилась от бремени 28 октября 1938 года в Пор-Кро, в местности, именуемой мыс Байю, и который в сем городе занесен был в книгу записей актов гражданского состояния под именем Рено-Эдгар-Оливье Буссардель, как рожденный вышеозначенной Агнессой Буссардель в законном браке с Ксавье Буссарделем.

Уведомляю, кроме того, что истица намерена начать в судебном порядке дело об опротестовании отцовства.

Ибо Ксавье Буссардель, вступивший в брак с Агнессой Буссардель 14 марта 1938 года, каковое бракосочетание совершено было уполномоченным на то должностным лицом в мэрии VIII округа города Парижа, умер в Пор-Кро 23 июня 1938 года, до рождения ребенка, вследствие чего и не мог опротестовать свое отцовство, но, согласно установленных законом сроков, имел право не признать ребенка.

Истица же, являющаяся родственницей покойного в шестом колене и его наследницей, непосредственно следующей за его сыном, каковой является объектом настоящего опротестования, имеет право в качестве заинтересованного лица выступить с соответствующими документами для опротестования.

Уведомляю также о нижеследующем. Письмом от 29 мая 1945 года мэтр Тевенен, нотариус госпожи Мари Буссардель, сообщил ей, что мэтр Жарно, парижский нотариус, ведающий ее делами по вопросам наследования, намерен потребовать раздела участка, прилегающего к саду дома № 12-бис



на площади Мальзерб, каковой участок находился в совместном и неразделенном ее владении с Ксавье Буссарделем.

Поскольку вступлению во владение означенным участком истице препятствует наличие ребенка, неправомочно считающегося сыном Ксавье Буссарделя, она имеет право выступить с доказательствами, устанавливающими, что ребенок приписывается ему ложно. А на основании статьи 317 Гражданского кодекса двухмесячный срок опротестования должен исчисляться с того дня, когда истица фактически столкнулась с вышеозначенным препятствием ко вступлению во владение имуществом.

На основании статьи 312 Гражданского кодекса она намерена возбудить в суде дело и доказать:

что в действительности Ксавье Буссардель не мог быть отцом, так как в период зачатия ребенка находился в состоянии невозможности произвести его зарождение;

что как в месяцы, предшествующие браку, так и в начале законного периода зачатия ребенка покойный Ксавье Буссардель в результате несчастного случая поражен был бесплодием, явившимся следствием хирургической операции над детородными органами, коей он был подвергнут.

Многочисленными медицинскими справками может быть непреложно удостоверено, что Ксавье Буссардель в 1932 году заболел орхиэпидимитом, от которого излечился, но произведенная для его исцеления хирургическая операция вызвала осложнения, результатом коих явилось бесплодие.

Согласно юридической терминологии, выражение «несчастный случай» относится не только к травматическим поражениям, но употребляется и в более широком смысле — для обозначения каких-либо непредвиденных повреждений, и, согласно статье 312 Гражданского кодекса, к таковым относится физическая невозможность сожительства по причине случайного заболевания, приводящего к неспособности иметь половые сношения, а следовательно, и к зачатию, каковая неспособность может происходить от тех или иных болезней, а также от ранений или от хирургического вмешательства, повредившего половые органы.

О всем вышеизложенном и составлено настоящее уведомление, копию коего на гербовой бумаге установленного формата с приложением марки стоимостью в двадцать франков я по месту жительства доставил.

Стоимость вручения — двести тридцать один франк.

Представлено в суд для опротестования:

Подпись:

*Мари Буссардель*

Сообщается ответчице, дабы она не осталась в неизвестности о заявленных фактах, за достоверность которых нижеподписавшийся ни в коей мере не ручается.

Подпись: *Карассон.*

Агнессу ошеломил этот документ. Лишь с огромным трудом она заставила себя перечитать начальные строки. Но как только перед ее глазами снова оказался текст этого судебного уведомления, она выпрямилась. В ней заговорил какой-то естественный рефлекс самозащиты. Она вскочила и, отворив окно, затянутое сеткой от москитов, высунулась в него.

— Ирма! — крикнула она. — Где малыш?



— Со мной... Мы на лежаках солнечные ванны принимаем... Он мне уроки отвечает.

Голос Ирмы долетал из «живой беседки», из-под зеленого свода ветвей, свисавших с террасы, в сверкании знойного июньского дня. Агнессе видны были только пышные кусты, скрывавшие и ребенка и девушку.

— Надеюсь, голова у него не на солнце? Вредно работать на солнцепеке!

Не дожидаясь ответа, она отошла от окна и в полумраке кабинета снова схватила голубые листки. При вторичном чтении ей стали очевидны не только факты — судебное дело, возможные его последствия, шансы на успех «опротестования» и основания для этого, — но очевидны также и побуждения, вызвавшие этот процесс, весь механизм процесса, затеянного ее родной матерью. Теперь Агнесса с большей уверенностью переходила от следствий к причинам, умозаключения цеплялись одно за другое. Как ни мало она была осведомлена в вопросах судебного крючкотворства, о которых, однако, постоянно шли разговоры на авеню Ван-Дейка, она поняла, что Мари Буссардель для посылки уведомления, датированного десятым июня, должна была встретиться и совещаться со своим поверенным по меньшей мере месяца за два до этого. Следовательно, решение атаковать дочь и внука принято было между двумя заболеваниями тети Эммы. Точнее сказать, она решилась на это, когда увидела, что старая дева ласково встретила ребенка, но еще до того, как больная потеряла контроль над своими мыслями и поступками. Бесспорно и то, что только сопротивление Эммы могло помешать Мари Буссардель начать судебное дело об опротестовании отцовства Ксавье, никакие иные препятствия внутреннего или внешнего порядка не имели для нее значения; и вот она выждала момент, когда из строя вышла единственная носительница семейного авторитета, способная восстать против подобного шага и обречь его на неудачу. Кто знает, сколько недель, а может быть, даже месяцев усердно подбирались документы, необходимые для «вчинения иска», сколько времени их держали про запас в ожидании того дня, когда помеха в лице Эммы исчезнет и когда удастся ими воспользоваться. Как знать, возможно, еще при первой поездке Агнессы в Париж ее мать уклонилась от участия в семейном совете преднамеренно, ибо уже тогда решила выступить против ребенка тем самым способом, какой она применила теперь.



Весь заранее разработанный план напоминал прежние наиболее ловкие махинации Мари Буссардель, даже превосходил их. Какого терпения и неустанной бдительности потребовал он! Нахлынули воспоминания, и Агнесса поняла теперь, почему в последние месяцы на нее глядели исподлобья. Дочь узнавала повадки своей матери. Мари Буссардель осталась все той же: ни преклонный возраст, ни война, ни смерть Симона, ни душевные страдания, ни развившаяся болезнь сердца — ничто не в силах было изменить ее внутренней сущности.

Агнессе стало ясно все. Все, кроме одного обстоятельства: какая выгода матери затевать это судебное дело? Мари Буссардель без колебаний разжигала вражду, которую и семья Буссарделей, и вся их среда считала угасшей; она не постеснялась в самых недвусмысленных, грубых выражениях раскрыть перед всеми физиологическую ущербность своего родственника и вместе с тем двуличие прочих родственников, которые, зная об этом его изъяне, спокойно позволили ему жениться. Наконец, Мари Буссардель, вопреки семейным традициям, решилась пойти на скандал, на скандал весьма громкий, ибо при разборе дела и прениях сторон имя Буссарделей, знаменитое в судебном сословии, конечно, не пройдет незамеченным и станет предметом глумления в бульварной прессе. И ради чего все это? Что выиграет Мари Буссардель? Клочок земли? Нет, это лишь предлог. Агнесса помнила, что эти несколько квадратных метров оставались неразделенными между Ноэми — матерью Мари Буссардель и Эдгаром — дедом Ксавье.

Сложный механизм наследования отдалил друг от друга совладельцев этой полоски земли, оставшейся от спекуляций уже вековой давности: продажи, или обмена, или уступок участка городу. То были как бы врожденные свойства, сохранившиеся от зачаточного периода династии, и вот теперь они давали себя знать в огромном семейном организме, достигшем более чем зрелых лет. Посыпанная гравием полоска земли, находящаяся в ограде сада при особняке Симона, была никому не нужна. Но по этой узкой бесплодной полоске Мари Буссардель шла к какой-то цели. К какой? Конечно, она хочет отнять у Рокки наследство, оставшееся ему после Ксавье. Повести тяжбу она могла лишь при условии защиты своих личных материальных интересов и наконец обнаружила их в имуществе весьма малой ценности, но зато оставшемся неразделенным между нею и Ксавье. Если будет признано, что Рокки не является сыном



покойного, у него тотчас отнимут все, что ему оставил Ксавье, до тех пор считавшийся его законным отцом.

Все, что Ксавье ему оставил? Но ведь это наследство очень скромное по сравнению с богатством Буссарделей. Может быть, Агнесса поэтому так долго и не предпринимала шагов для введения сына в права наследования. Тем более что она, как мать и опекунша, пользовалась доходами с этого имущества; самой значительной частью его являлся мыс Байо, дававший, однако, весьма малый денежный доход.

Агнесса не могла понять, зачем ее матери требуется устранить ее сына и сделать наследниками Ксавье его дальних родственников — ни братьев, ни сестер у покойного не было; его родная мать, вышедшая вторично замуж, жила в колониях; Буссардели с ней отношений не поддерживали.

Перечитывая уведомление судебного пристава, Агнесса обнаружила там еще более странные вещи; оказалось, что от появления на сцене этих новых наследников она лично ничего не теряла, так как была законной вдовой Ксавье и ее долю отнять у нее никто не мог. Следовательно, в намерения Мари не входило ограбить дочь. Что касается ребенка, то он, во всяком случае, оставался сыном Агнессы и в конце концов в этом качестве должен был получить несколько урезанные остатки этого наследства, от которого бабушке вздумалось его отстранить.

Получалась настоящая головоломка. Агнесса облокотилась на стол и, подперев руками голову, без конца вчитывалась, вдумывалась в слова, напечатанные на голубых листочках. Когда ее позвали к завтраку, она велела накормить Рокки одного, а ей не мешать — она занята. Она чувствовала, что блуждает в темном подземелье, из которого не видно выхода; бредет ощупью, вслепую, то и дело ушибаясь. Вдруг ей почудилось, что во мраке чуть забрезжил свет: вспомнилось, что семь лет тому назад, во время ее беременности, Буссардели уже сделали попытку преградить доступ в семью еще не родившемуся ребенку. Тогда в них говорила не корысть, а кастовый дух — нужно было отвергнуть чужака, ребенка, который не был сыном Буссарделя. «Нет, не то! Он все равно будет носить имя Буссардель. Имя отца потеряет, а мое имя будет носить. Официально он по-прежнему будет Рено Буссардель...»

Нет! Поступок Мари Буссардель можно было объяснить лишь одним — злобой. Злобой, свободной от всякой корыстной подоплеки и даже не оправданной какими-либо принципами. Агнес-



се пришлось мириться с очевидностью. У матери, у ее родных (ведь Мари не могла действовать без ведома клана, в который несчастная тетя Эмма из-за теперешнего своего слабоумия уже не входила), — у всех этих людей злоба была страстью, властной, чуть ли не органической потребностью, неискоренимым свойством, необходимым для сохранения рода. Свойством, столь же характерным для них, сколь характерна для других потребность любить друг друга. Итак, Мари Буссардель возвратилась в свою стихию. Конфликты иного рода, иные испытания, а также скорбь о погибших отвлекли ее на время от этих злобных чувств, а теперь они возвратились к ней. Ведь война кончилась.

Несколько дней Агнесса испытывала глубокое отвращение, замкнулась в себе, в своем неистовом презрении. Решила не отвечать. Ее мать, ее родня, законники, крючкотворы не дождутся от нее ответа, споров, возражений, контрдоводов. Она прекрасно понимала, что у противников сильная позиция. Ксавье не мог, не способен был стать отцом — это была истина, и если они это утверждали, то, несомненно, у них имелись доказательства. Впрочем, об том и говорилось в уведомлении. Что она могла против этого возразить, противопоставить этому? Добровольное согласие Ксавье? Оно ничего не меняло, да и возможно ли сейчас установить, что оно имелось? Искать подтверждения в письмах покойного? Нет, она не опустится до этого. В ее глазах — это неуважение к самой себе, неуважение к памяти покойного, неуважение к маленькому Рокки. Слава богу, миновали времена, когда побочные дети были париями; имя, данное сыну, останется за ним, надо только подождать, когда представится удобный случай или необходимость, и все рассказать ему, потому что только сыну обязана она отчетом. И она сумеет сделать так, что ее признание не нанесет ему удара. Как мать, она могла с чистой совестью отстраниться, не бороться ради смехотворной ставки в затеянной ими гнусной игре, не опасаться того ущерба, который они хотят нанести Рокки... Ведь у Агнессы оставалось ее личное состояние, хотя оно и сильно уменьшилось. Главное же, у нее были руки, была энергия, которые могли ей пригодиться, если обстоятельства заставят ее вести менее праздное существование, а она предвидела, что так оно и будет, наблюдая, в каком направлении меняется жизнь. Говорила она себе также, что, даже если Мари Буссардель выиграет тяжбу в суде, мыс Байю окажется неразделенным владением наследников Ксавье, но отсюда ее с сыном не выгонят, во-первых, потому, что за ней со-



храняется право пользования этим клочком земли, а кроме того, она им фактически владеет.

Ей хотелось, просто для собственного успокоения, убедиться, что в этом наиболее важном для нее пункте она права, и, несмотря на всю свою нелюбовь к законникам, Агнесса съездила в Тулон посоветоваться с адвокатом, которому, однако, не открыла причины своей тревоги; он заверил, что нет никаких оснований для беспокойства.

Вернувшись домой, она заперла в стол первое уведомление судебного пристава, а также «повторное уведомление», прибывшее через три недели после первого и воспроизводящее его содержание, только в более пространных выражениях. «Я ничего им не отвечу,— решила она.— Ничего. Даже тете Луизе ни за что не напишу».

«Когда обманывают честного человека, он с презрением отходит в сторону, ни слова не проронит»,— твердила она себе с чувством отвращения, которое переполняло ее сердце все эти недели и в значительной мере испортило ее первое послевоенное лето, первые дни мира. Она хорошо знала, что, как бы ни сложилась ее жизнь, сколько бы ни осуждали ее поведение, именно она во всей этой истории вела себя, как полагается честному человеку.

Дело, долго тянувшееся из-за судебной волокиты, закончилось только через три года — и не в пользу Агнессы.

За это время мыс Байю обрел прежнее очарование мирных лет. Левкой, ромашка, арум вновь завладели площадками, распаханными с 1940 года под огороды. Уже трижды весенняя пора сменяла солнечные, но довольно холодные зимы. Рокки исполнилось десять лет. Все отношения между Агнессой и авеню Ван-Дейка были прерваны; Луиза Жанти, время от времени писавшая Агнессе, сообщала ей только, что Эмма еще жива,— вернее, ест, пьет, дышит, но по-прежнему ничего не сознает.

Так как Агнесса ничем не отозвалась на вынесенный судом приговор об опротестовании отцовства, в декабре следующего года этот приговор вступил в силу.

Прошло еще немного времени, и тетя Эмма наконец умерла. Агнесса была подготовлена к этому письмом супругов Жанти, которое она получила за несколько дней до печального исхода; затем ее вызвала к телефону тетя Луиза.

— Мне приехать на похороны? — переспросила Агнесса, много думавшая над этим после тревожного письма.— Встретиться там с матерью, стоять у гроба рядом с ней. Оспаривать



место у моих невесток, у всех этих людей, которые спокойно наблюдали, как мать затеяла в суде тяжбу против меня? Надеюсь, ты понимаешь, тетя Луиза, что к тебе это не относится...

— Ну, конечно, понимаю. И даже скажу тебе по секрету... Ты не хотела, чтобы я сообщала об этом в письмах, но по телефону-то мы с Александром можем сказать тебе два слова — дядя твой как раз рядом со мной... Так вот, мы уже три года почти не бываем на авеню Ван-Дейка. В последний раз мы их посетили, когда Манюэль женился на младшей Мофрелан. Помнишь, я тебе об этом писала?

И в самом деле, Агнесса узнала об этой свадьбе только из письма тети Луизы. Никто даже не подумал прислать ей приглашение.

— Кстати, и этот брак не пришелся бы по душе бедняжке Эмме,— продолжала тетя Луиза.— Семейство Мофреланов было для нее чуть что не пугалом. А потом, что это за брак, когда жениху двадцать лет, а невесте двадцать один! Я твердила и буду твердить — разница в возрасте супругов должна быть больше, и притом в обратную сторону. Но что тут скажешь? Манюэль тоже слишком самостоятельный молодой человек. Вот оно так и получилось... Дядя стоит рядом и толкает меня: по его мнению, я слишком долго болтаю. Но ведь столько времени, детка, я не слышала твоего голоса... Значит, не приедешь? Наверняка не приедешь? Совсем я буду одна на этих похоронах. В мои годы чувствовать себя чужой в своей собственной семье — это грустно, детка, пойми, очень грустно. Тут моей вины нет. И подумать только, как все было у нас раньше...

Застыв с телефонной трубкой в руках, Агнесса испытывала гнетущую печаль. В довольно бестолковых жалобах старухи тетки Агнессе слышались стенания распадающейся семьи. Ее родной семьи, которую она по-своему любила. Один за другим совершались там браки, разрушавшие семью, судебные процессы разрывали узы близости, внешне еще соединявшие родственников; представители старшего поколения, хранители семейных традиций, один за другим сходили в могилу, живых разъединяла жизнь. Тетя Эмма сначала впала в детство, а теперь вот умерла, тете Луизе шел семьдесят шестой год, и это чувствовалось по ее разговору. Самой Агнессе уже было тридцать пять лет.

— Нет, тетя Луиза, я не приеду. Случись это на несколько лет раньше, я все же поехала бы, даже при таких обстоятельствах. И не только для того, чтобы проводить в последний путь



тетю Эмму, хотя то, что оставалось от нее, уже давно перестало ею быть. Вероятно, мне захотелось бы бросить вызов, померяться с ними силами. Теперь меня это не увлекает. Старею.

Агнесса попросила послать два венка — один большой, другой поменьше — от нее и от ее сына.

— Только не посылай при этом карточки с моим именем, а то милые родственники способны отказаться от моих цветов.

— О нет! Твои венки повезут за катафалком. Уж за это я ручаюсь. Сама прослежу. Как-никак, я ей сестра. И дома и в церкви я буду занимать у гроба то место, какое мне подобает, — впереди всех дам.

«Она все еще истая Буссардель», — подумала Агнесса, повесив телефонную трубку.

Неделю спустя нотариус тети Эммы привез Агнессе, как законной опекунше Рено Буссарделя, уведомление, что покойная оставила завещание, в котором назначила Рено единственным наследником.

Это завещание, перечеркнувшее все прежние ее распоряжения, было составлено в мае 1944 года. Такая щедрость, такая черта внутренней независимости — желание избавить своего незаконного внука от унижений — глубоко тронули Агнессу. Не менее приятно было ее материнскому сердцу сознание, что отныне будущее ее сына надежно обеспечено. Но все это не мешало ей, однако, испытывать и менее возвышенные чувства, с которыми она и не пыталась бороться. Ведь она нанесла Буссарделям поражение на их собственной почве, хотя вовсе к этому не стремилась. Ведь ни одного мгновения — ни во время знакомства маленького Рено с больной старушкой, прикованной параличом к креслу, ни позднее, когда стало заметно благосклонное ее отношение к ребенку, ни в месяцы, предшествовавшие второму апоплексическому удару, — Агнессе и в голову не приходило, что привязанность тети Эммы к ребенку может выразиться в таком значительном даре. Эмма не раз давала понять, что наследство она оставит детям своего покойного брата Фердинанда, с которым она прожила вместе всю жизнь — то есть Симону, Валентину и Агнессе. Но затем это завещательное распоряжение в ущерб ей, Агнессе, было, вероятно, изменено после семейного скандала, вызванного ее беременностью и той драмой, которая за сим последовала. Разве в те месяцы, когда Агнесса ждала ребенка, отцом которого не мог быть Ксавье, тетя Эмма



не обвиняла ее в намерении обмануть доверчивого кузена? И вот эта же тетя Эмма так полюбила чужого ребенка, что завещала ему все свое состояние! Несомненно, ее осаждали со всех сторон. И родня по линии Симона, окружавшая ее своим корыстным вниманием, и заботливые родственники из лагеря Валентина. Но тетю Эмму в конце концов покорило спокойное мужество Агнессы и невинная прелесть маленького Рено, мало походившего на Буссарделей. Если б не удивление, умиленность, уважение, которые вызывало в ней решение покойной тетки, Агнессы, думая о Буссарделях, лишившихся наследства, дала бы волю злорадству.

Недолго длилась эта радость. Пришел еще пакет из шероховатой бумаги, казалось, тот же самый, что и три года назад, с той же самой печатью судебного исполнителя. В нем оказалось новое уведомление о судебном деле, начатом против нее по иску четверых детей Симона— Жильберты Сиксу-Герц, Манюэля, супруга юной Мофрелан, и Жанны-Симон в качестве опекуны и представительницы интересов двух маленьких ее отпрысков. Весь этот отряд атаковал завещание тети Эммы.

Они основывались на непризнании отцовства Ксавье, которого добились их бабушка в тяжбе, начатой четыре года тому назад, а также ссылались на письмо Эммы к своему брату, биржевому маклеру, которое приложено было к завещанию. Завещательница объясняла в этом письме, что она избрала Рено своим наследником в память своего крестника Ксавье, смерть которого для нее — неутешное горе. Таким изменением завещания старуха хотела все поставить на место и, одарив ребенка, искупить зло, причиненное ею крестнику и послужившее причиной его смерти, но эффект получился прямо противоположный. А слова «в память о Ксавье, отце Рено», которыми она думала оправдать и усилить свое распоряжение, использовали для того, чтобы опротестовать завещание. Не напиши она этих шести слов, истцы были бы обезоружены. Теперь же они утверждали, что завещание, сделанное в пользу Рено, как сына Ксавье, уже не действительно, так как судебным постановлением, которое является окончательным, отцовство Ксавье Буссарделя опровергнуто, и, следовательно, Рено уже не может считаться его законным сыном.

Итак, имелись основания объявить недействительным второе завещание Эммы и возвратиться к прежнему ее завещанию, в котором она назначала своими наследниками двух других



лиц — двух, а не трех, ибо тетя Эмма, как и предполагала Агнесса, в предыдущем завещании, написанном после смерти Ксавье, ее самое исключила из числа наследников, оговорив это в особом пункте. Полноправными наследниками остались два сына Фердинанда и Мари, а по смерти одного из этих законных наследников, Симона Буссарделя, его права перешли к четырем истцам.

Вот что пришлось прочесть Агнессе. Некоторые ходы в подкопе, который вели ее противники или их вдохновительница, для того чтобы добраться до завещания, еще оставались для нее темными, зато теперь стали ясны многие события прошлых лет.

Как тут не разгадать бесцельного, казалось бы, вероломства матери, проявившегося четыре года тому назад в первом судебном уведомлении? Конечно, то был обманный ход, преднамеренный маневр. Мари Буссардель загнала свою дочь в тупик и, выждав нужное время, напала на нее.

## XVII



Агнесса бродит по коридорам Дворца правосудия. Десятки растерянных посетителей шагают по галереям, бросаются в какой-нибудь проход, попадают в пустынный вестибюль, идут дальше, разыскивают сторожа, останавливают встречного адвоката в мантии, спрашивают людей, которые показались им осведомленными.

— Куда мне обратиться? — везде твердит она и объясняет, по какому делу пришла, объясняет плохо, — ей стыдно предъявлять чужим людям полученное уведомление, показывать, как копаются в ее личной жизни, в тайнах ребенка и умершего человека, — все это напоминает своей жестокостью вскрытие в морге.

— Спросите у сторожа.

— Не могу его найти.

— А вот он сидит на табурете.

Она бредет дальше.

— Куда мне обратиться?



И развернув сложенное уведомление, дает прочесть сторожу только одну строчку: «явиться в установленный срок, то есть не позднее, чем через неделю».

— Идите в первую камеру. Спросите секретаря суда.

— В первую камеру?

— Ну да. Пройдете через зал ожидания.

— Зал ожидания?

— В конце коридора застекленная дверь налево, подняться по ступенькам.

Она входит в огромное помещение, не то зал ожидания на вокзале, не то кафедральный собор. Тут несколько статуй, украшенных цветами, словно кладбищенские памятники. Свет весеннего солнца, проникающий сверху сквозь высокие окна, тускнел в этих каменных стенах.

— Где первая камера?

— Перед вами.

Агнесса входит. Идет заседание суда. Надо подождать, когда кончится разбор дела. Долго ли еще? Зал напоминает убранством дворец, но дворец буржуазный; высокие окна выходят на тесный и темный, как колодезь, двор. На глазах Агнессы люди, огибая ряды скамей, подходят к судейским — с правого, с левого конца стола — и что-то шепчут им на ухо. Адвокат тем временем произносит речь, защищая обвиняемого.

— Мне надо поговорить с секретарем суда.

Ей отвечают жестом.

Она дерзает приблизиться. Оказывается, это не секретарь, должно быть, она плохо поняла. Она робко извиняется. Надо пройти в другой конец комнаты и остановиться перед монументальной конторкой; кто-то стоит около конторки и шепчется с секретарем; закончив разговор, выпрямляется.

— Вы секретарь суда?

— Да.

Агнесса приступает с расспросами. Слышит в ответ:

— Вы по какому делу вызваны?

Агнесса называет свою фамилию. Он ищет в списке, проглядывая длинный столбец фамилий.

— Нынче это дело не будет слушаться.

— А на какое число назначено? Как же я узнаю?

— Уведомление при вас?

Он протягивает руку. Вспыхнув, она подает голубые листочки. Секретарь равнодушно пробегает их глазами.



— Ничего спешного. Срок еще не прошел. Сходите к адвокату.

— К адвокату?

— Если у вас нет своего адвоката, обратитесь в камеру присяжных поверенных.

— Благодарю вас.

Снова она выходит в зал ожидания, снова ищет сторожа.

— Где камера присяжных поверенных?

— Здесь. Пройдите в конец зала, направо. За памятником погибшим.

Она идет. Переступает порог. Перед ней что-то вроде стародавнего почтового отделения. За окошком пожилой человек разбирает письма.

— На третьем этаже. Вам дадут список.

Она поднимается по лестнице — узкой, крутой, как в обыкновенных домах. В нижних этажах Дворца правосудия она чувствовала себя как в лесу: заблудилась, попала в незнакомое место, а здесь как будто вторглась в чужую квартиру. По ошибке она остановилась на втором этаже, оказалась в раздевалке. На третьем этаже опять ошиблась — очутилась в библиотеке. Наконец подошла к застекленному окошечку.

— Мы не имеем права рекомендовать адвокатов. Вот вам список парижских присяжных поверенных.

Проглядывая список фамилий и разбросанные по всем районам Парижа адреса адвокатов — многие из этих адвокатов, несомненно, приходились ей родней, — Агнесса поняла, что она напрасно так волнуется. Ей просто нужно выбрать адвоката и откровенно рассказать ему свое дело. У нее есть свой, отдельный от Буссарделей поверенный; он скажет ей, к какому адвокату он обращался по поводу ее прошлой тяжбы с матерью. Она поблагодарила чиновника и пошла обратно. Вновь очутилась в безобразном зале ожидания.

К выходу она шла уже более уверенным шагом. Но все эти двери с толстой обивкой, эти застекленные тамбуры, эти охраняемые сторожами комнаты, эти группы людей в черной мантии, что с важным видом прохаживались по залу, останавливались, беседовали между собой о чем-то непонятном для непосвященных, эти коридоры, переходы, повороты и лестницы, этот человеческий муравейник, этот лабиринт судебной процедуры — все здесь, казалось, говорило об особых и совершенно чуждых ей, крепко охраняемых обществом порядках, к которым



она никогда не приобщится и от которых всегда будет отстранена.

Заметив волнение Агнессы, ее поверенный постарался освободиться от некоторых назначенных заранее встреч и в конце дня повел ее к адвокату. Вышла она из его кабинета вечером, когда уже стемнело, и испытывала при этом странное спокойствие, пришедшее на смену душевному смятению: мертвая тишина, штиль после бури. Ведь ей доказали — и она прекрасно это поняла, — что у нее нет почти никаких шансов выиграть процесс, который ее родственники так ловко подготовили и повели против нее.

Она взяла такси, приехала на площадь Брезиль, отперла дверь квартиры, заперла ее изнутри, не отворила ни одного окна, не проветрила комнат, легла на незастланную постель, проглотила несколько таблеток снотворного, которые всегда носила при себе в сумочке, и ей недолго пришлось ждать, когда придет сон.

Утром, поговорив по телефону с адвокатом, она послала по пневматической почте письмо Валентину:

«Мой адвокат, наведя справки, сообщил мне, что ты лично не требуешь причитающейся тебе доли в наследстве, оставшемся после тети Эммы. Впрочем, я и сама заметила, что судебный процесс начат против меня по жалобе, поданной лишь детьми Симона. Из этого я, думаю, могу заключить, что ты не согласен с ними и что тебе лично противно опротестовывать в суде завещание, сделанное в пользу моего сына. Если это верно, умоляю тебя, дорогой Валентин, предъяви и ты свои претензии на это наследство. От того, что ты отступишься, положение моего сына нисколько не улучшится, а наследство все целиком достанется отпрыскам Симона. Твой отказ, которым ты, как мне кажется, хочешь показать, что мои близкие родственники дурно поступают со мной, право, меня очень тронул, дорогой брат, и этого с меня достаточно. Ты не захотел участвовать в махинации, подстроенной нашей матерью с целью ограбления моего сына, — но это вовсе не причина для того, чтобы и тебя тоже ограбили. Искренне прошу тебя, попытай счастья наравне с другими».

Валентин поговорил с сестрой по телефону и днем приехал к ней. Он в свою очередь заявил, что его очень трогает



отношение к нему Агнессы, но добавил, что ему еще надо подумать. «Хочет, чтобы я его упрашивала. Затем и приехал».

Нет, Валентин, оказывается, приехал для того, чтобы встать на защиту матери, которую Агнесса обвиняла в подлой махинации.

— Зачем ты всегда обвиняешь мать, когда у тебя бывают неприятности с родными?

— Но я не обвиняю, Валентин, а констатирую. Жильберта и Манюэль могли решиться на это только по наущению матери. Она всем руководила. А доказательство налицо — прочитай-ка их уведомление. Чтобы опротестовать завещание, они ссылаются на «непризнание отцовства». А этого «непризнания» мать потребовала четыре года тому назад, затеяв процесс по поводу крошечного клочка земли, на который ей в высокой степени наплевать. Приговор вступил в силу три месяца назад, и она теперь может ссылаться на авторитетное решение суда. Прямая связь между этими двумя процессами бросается в глаза.

— Да нет! Сколько раз тебе говорить, что эту новую историю подняла не только мама. Можешь мне поверить.

Агнесса внимательно смотрела на брата. Сорок пять лет, но внешность еще приятная, лицо сохранило кроткое выражение. Ей вспомнилось, какой разговор у них был десять лет тому назад на авеню Ван-Дейка, как раз перед тем, когда она тайком увезла умирающего Ксавье. Уже и тогда Валентин старался найти оправдание матери; теперь Агнесса не могла не отдать должное Буссарделям, — и враждебные действия, и союзы, и подготовка к бою, и самые бои повторяются через определенные промежутки, схожи во всем, словно делаются по трафарету.

— Да, кое-что мне тут непонятно, — продолжала она. — Четыре года тому назад мать подняла в суде это дело об отцовстве, несомненно желая использовать приговор, если он будет в ее пользу, использовать именно так, как она сделала это сейчас. Но как она могла заранее все предусмотреть? В тридцать восьмом году была сделана оговорка в завещании, лишавшая меня наследства, что увеличивало долю, причитающуюся Симону, и твою долю, — мать об этом знала, ничего удивительного тут нет. Но в сорок четвертом году тетя Эмма написала новое завещание в пользу моего сына, и я не допускаю и мысли, что она уведомила об этом мать. Даже мне она ничего



не сказала. Полагаю, что вы узнали об этом завещании только после ее смерти. Верно? Что же ты не отвечаешь?

— Да зачем все это ворошить? — промямлил Валентин. Из Буссарделей он меньше всех был способен скрывать.

Агнесса почуяла что-то неладное.

— Валентин, скажи, когда вы узнали, что тетя Эмма решила все завещать моему сыну? Даю честное слово, что этим не воспользуюсь, и ты же знаешь, я ведь веду *fair play*. Доказательство — мое письмо к тебе.

— Мы узнали о завещании четыре года тому назад. Да, да, после того, как у тети Эммы случился второй удар. Врачи сказали, что к ней уже не вернется сознание, и нам пришлось привести в порядок бумаги, лежавшие в ее спальне. Делали это я и папа. И мы нашли запечатанный конверт с надписью: «Завещание». Даже дата была поставлена: апрель 1944 года. Как раз то самое время, когда тетя Эмма была прикована болезнью к своему креслу. Но голова у нее была еще совсем ясная. Твой мальчик навещал ее, тетушка очень ему радовалась. Мама не присутствовала при разборе бумаг и не видела пакета.

— Валентин, она все выпытала у папы. Он не мог промолчать. А когда она узнала про это новое завещание, про совпадение в датах, она все поняла: мать у нас недурной психолог. Но ведь вы положили завещание в сейф.

— Разумеется.

— Ей ничего другого не оставалось, как ждать и готовить нападение. Отсюда — опротестование отцовства. Ей захотелось обогатить детей Симона — это единственное, что еще могло ее увлечь и возродить ее склонность к интригам.

Валентин вдруг возмутился.

— Ну что же ты хочешь? В глазах мамы Жильберта и Манюэль — это прежде всего дети Симона: для нее он все еще живет в них, — вдруг заявил Валентин, плохо мирившийся с тем, что львиная доля материнской ласки с детства доставалась Симону и обижавшийся за это на покойного брата-соперника. — После смерти Симона она просто с ума сходила, только о нем и думала. Даже раньше, с тех пор как его угнали в концлагерь. Если хочешь знать, от Симона все и пошло: это он из лагеря написал маме и подсказал ей мысль, чтобы ты попросила назначить его опекуном твоего сына... Ну хорошо, допустим! Симон — это Симон. Но я отказываюсь видеть своего брата в этих двух ничтожествах, этих никчемных бездельниках, которые



остались после него. Учились оба отвратительно, не то, что мои дети. У моих-то всегда были блестящие успехи. Участием симоновых красавцев многое объясняется, поверь мне. Да если б их не было за спиной мамы...

— Послушай, не будешь же ты убеждать меня, что именно Жильберта и Манюэль подали нашей матери мысль о столь хитроумных махинациях. Да разве эти желторотые птенцы уже стали сутягами?

— Но ты забываешь, какие браки оба они заключили! — воскликнул Валентин, уже начиная горячиться. — Жильберта теперь всецело под влиянием Сиксу-Герцев, а Манюэль — под влиянием Мофреланов. Прежде было иначе: прежде Буссардели подчиняли себе тех, кто путем браков попадал в их среду из другого круга. Даже те, кто женятся на наших девушках, постепенно становятся Буссарделями.

Агнесса с интересом слушала брата и, немного отвлекшись от предмета их разговора, удивлялась злобе этого стопроцентного буржуа, этой классовой ненависти, поистине новой в семье Буссарделей и действительно возмущавшей или уже отражавшей новые времена.

— Ты, конечно, понимаешь, — продолжал Валентин, — что Жильберта и Манюэль поспешили рассказать своим новым родичам историю твоего замужества. А те намотали себе это на ус. Такие господа, как Сиксу-Герц и Мофреланы, набили себе руку на подобных семейных делах. Опротестование отцовства, судебные тяжбы из-за наследства, отчеты по опеке, перетряхивание грязного белья, где все это по большей части делается? Именно в их среде. Если только они могут хапнуть крупный куш, они стесняться не станут, пойдут на любую подлость.

— Я думала, что у Сиксу-Герцев денег куры не клюют.

— Денег у них куча, да этим людям все мало. А Мофреланы добывают средства всякими сомнительными махинациями. Я навел справки. Живут на широкую ногу, но как раз за счет своих махинаций. И они не единственные в этом кругу. Ты вот, Агнесса, укрылась в своем уединенном уголке, а потому и понятия не имеешь, что творится. Все, видишь ли, изменилось со времени освобождения. И в нашей семье все меняется: вон какие браки у нас стали возможны! Меняется хорошее общество... ну то, что раньше называлось «хорошим обществом». Ведь раньше хорошее общество представляло собою избранных



людей: цвет интеллигенции, воплощение порядочности, нравственности, воспитанности — людей, несущих полезные общественные функции, имеющих определенную профессию. И, кроме того, людей, безупречных по своему происхождению. А нынче все наоборот. Теперь у человека из «хорошего общества» или у дамы, сколько-нибудь пользующейся известностью, всегда в прошлом есть такие делишки, на которые нужно набрасывать покров тайны и забвения. Кто у них представляет верхушку общества? Какая-нибудь старая развратница, которая имеет на содержании молодых любовников; она носит громкую фамилию — одну из лучших во Франции, но во время оккупации была связана с немцами и вообще такая мерзавка, что ее семье в конце концов пришлось через суд установить над ней опеку; или какой-нибудь темный делец, аферист, разбогатевший на заморских удобрениях, которого до войны нигде не принимали, а теперь он кавалер ордена Почетного легиона — купил этот орден, пожертвовав двадцать миллионов на восстановление Версаля; или дочь всем известной шлюхи, за несколько месяцев ухитрившаяся пробраться в высокие сферы. Что ей стоит? Баба ловкая! Сумела опутать дряхлого старика, покровителя ее мамы, и вышла за него замуж, когда он уже был при последнем издыхании. Тут и спекулянт, наживающийся на обмене валюты и помешавшийся на снобизме, — известно, что он преподнес норковую шубку супруге посла за то, что она добилась для него чести протанцевать разок на балу с принцессой королевской крови. И все эти господа — полуиностранцы, выскочки, невесть откуда взявшиеся. И, скажи пожалуйста, ведь они-то и задают тон в Париже, именно они, как говорится, делают погоду. У них кланчат приглашения... И у всех у них в семьях разврат, — возмущенно бросил Валентин самое главное обвинение, ибо слыл добродетельным мужем и уж, во всяком случае, умел соблюдать приличия.

Собравшись уходить, он поднялся с кресла и, подойдя к сестре, сказал:

— Что с нами будет во всей этой каше?

— Проиграю тяжбу, это заранее известно, Валентин. Мой поверенный уже предупредил меня. Простаков легко затаскать по судам. А посему обдумай хорошенько мой совет — потребуй свою долю наследства. Ведь закон на твоей стороне. Получишь половину наследства, оставленного тетей Эммой, а такими деньгами пренебрегать нельзя. По нынешним временам...



— Ты верно говоришь... Я ведь уже не работаю в конторе. Да, да, оказывается, слишком много нас собралось там. Поступил теперь в крупную компанию по продаже недвижимого имущества. Начальником важного отдела.

— Ах вот как?.. Что ж, от души поздравляю, Валентин. Передай от меня привет жене. Если только ты сказал ей, что поехал ко мне.

Поверенный Агнессы предупредил ее, что дело может рассматриваться в суде лишь через несколько месяцев, и у нее будет достаточно времени, чтобы собрать необходимые документы. Она повидалась с адвокатом, и, хотя он, подтверждая мнение ее поверенного, сказал, что процесс не сулит ей ничего хорошего, Агнесса для очистки совести собрала все, что мог потребовать защитник. Но в глубине души была уверена что проигрывает дело.

Она повидалась также и с супругами Жанти, поставив им предварительно по телефону условие, что они не будут поднимать никаких разговоров по поводу опротестованного завещания. Агнесса не нашла большой поддержки на улице Ренкэн. Дядя и тетка очень сдали — немного осталось от их прежней стойкости. Луиза Жанти все жаловалась: жаловалась на дороговизну, на то, что она не может повисить своим жильцам квартирную плату, хотя это было бы справедливо, жаловалась, что вся жизнь пошла кривь и вкось и к теперешним условиям совершенно невозможно «приладиться» — это свое новое слово она твердила по любому поводу. Она вспоминала, как жилось раньше, после войны четырнадцатого года, и еще раньше, до той войны, и во времена, еще более отдаленные.

— Ведь я, детка моя, совсем старенькая, — говорила она. — Подумай, я прекрасно помню выставку восемьдесят девятого года!

Она вся уходила в воспоминания, в самые далекие воспоминания.

Где находил прибежище своей душе дядя Александр — трудно было сказать. Перед Агнессой сидел в глубоком кресле восьмидесятилетний старик, согбенный под бременем лет, все еще улыбавшийся, но уже бездеятельный, неизменно молчаливый — в нем почти ничто не напоминало бывшего вольнодумца, слывшего бунтарем в семействе Буссардель, ученого-филолога, хранителя библиотеки, на которого косо смотрели на авеню Ван-Дейка; еще менее походил он на человека, который



состоял в одной из подпольных организаций, группировавшейся вокруг Музея Человека. Агнесса заметила, что он не носит ленточки от медали за участие в Соппротивлении, которую она видела у него на лацкане фрака в вечер помолвки Жильберты. Все это уже отошло в прошлое.

Однако Агнесса узнала от стариков Жанти две интересные новости, касавшиеся ее родни. Во-первых, оказалось, что ее племянник Ален, младший сын Поля Буссарделя, записался добровольцем в экспедиционный корпус, посланный в Индокитай, и уже несколько месяцев воюет там. Сделал он это не по собственному желанию и не из патриотических чувств, а по требованию своего отца, но также из чисто буссарделевской гордыни. Тетя Луиза подробно рассказала всю эту историю. Ален учился в лицее Жансон и, готовясь в институт, налегал на высшую математику; в том же классе учился и Режи Вакрель, герой нашумевшего уголовного процесса. Ален не очень дружил с Вакрелем, не являлся с его приятелями. Но все-таки был знаком с этим субъектом, как и с прочими своими одноклассниками. На беду Алена, Вакрель раза два-три отвозил его в долину Монсо на своей машине. А машина эта была краденая, перекрашенная, и около нее в декабре следующего года нашли в овраге в лесу Фонтенбло мертвую девушку. Следствием было установлено, что авария была подстроена и что девушка умерла до падения машины в овраг от неудачного аборта. Следствие добралось до лицеиста Вакреля — он все отрицал; некоторых одноклассников Вакреля, знавших его машину, вызвали в качестве свидетелей. Алена Буссарделя следствие больше не беспокоило, но и того, что произошло, оказалось достаточно, и даже чересчур много. Само занесение в материалы следствия его показаний домашние сочли позором.

— Я требую, — сказал отец, — чтобы ты завтра же записался добровольцем в экспедиционный корпус. В девятьсот пятнадцатом году меня заставили пойти на войну из-за проступка куда менее важного: школьный надзиратель нашел у меня в парте фривольный роман, и директор послал эту книгу моему отцу, а с ним шутки были плохи.

— Мне ехать в Индокитай. А что, если меня убьют там? — воскликнул Ален.

— Что ж, прекрасная смерть! — ответил Поль.

Второй сын Теодора не уступал брату в стремлении подражать манерам и тону покойного отца. Свидетельницей этой сцены



была Жанна-Поль, и через нее-то поучительная семейная история стала известна всей родне. И эта образцовая мать, не раз проявлявшая твердость характера и глубину познаний, видя, что сыну совсем не улыбается перспектива сражаться в Индокитае, воскликнула:

— Что ж поделаешь, бедное дитя мое! Вы желали, чтобы вам предоставили всякие свободы, и вот теперь вы, как негры в Сан-Доминго: их наконец освободили, но оказалось, что они не способны сами управлять собой.

Луиза Жанти, в душе которой тоска по родному дому боролась с обидой на родных, по-видимому, считала ответ этой матери достопримечательным.

— Ну что ты скажешь на это, детка?

Агнесса не ответила. Все, что она слышала от Буссарделей и о Буссарделях, все, что думала о них, достигло после судебного уведомления того предела, когда уже невозможно было негодовать или удивляться. Она промолчала.

Молча выслушала она и другую новость — о том, что племянник Бернар недавно женился, — и это был третий по счету брак в семействе Буссарделей, если можно так выразиться, центробежный по своей природе. Ничто и никогда не давало повода ожидать от Бернара подобной дерзости, он еще не получил права располагать своим состоянием, не был он и сиротой; он тихо, мирно, без всяких историй, прошел курс юридических наук; но минувшим летом он был на каникулах в Пила у своих родных, познакомился там на пляже с девушкой, которая ежедневно приезжала в автобусе к морю из Аркашона, где она проводила свой отпуск. Отец ее — инкассатор управления газовой компании, а она сама — машинистка. Бернар обещал устроить ее в контору знакомого ему адвоката. Возвратившись в Париж, он объявил родителям, что решил жениться на своей возлюбленной; полгода шли из-за этого споры, и вот недавно их поженили.

— Я на днях навестила их, — сказала Луиза. — У них, знаешь ли, маленькая и плохонькая квартирка — в этих новых корпусах, которые понастроили у черта на куличках, у Брансьонской заставы. Очевидно, ни в одном из буссарделевских домов для них не нашлось уголка. А может быть, так оно и есть — ведь теперь невозможно выселить квартирантов. Но должна признаться, из всех этих неравных браков нашей родни, заключенных в чуждой нам среде, женитьба Бернара мне все-таки наименее неприятна и, по-моему, наименее неудачна. Такая влюбленная молодая



парочка, так заботятся друг о друге! Посмотрела я на них и вспомнила счастливые денечки, когда мы с Александром поженились.

Агнесса взглянула на дядю: блаженно улыбаясь, старик молча развел руками.

— А вот у Манюэля совсем не то! Новоиспеченная мадам Буссардель, урожденная Мофрелан,— проговорила тетя Луиза с патетическим жестом,— как я слышала, в семнадцать лет начала заводить романы. Вряд ли исправится. Пьяницу все к рюмке тянет!.. Но уж этот щеголь, Жоффруа Сиксу-Герц, всех мошенников за пояс заткнет!.. Он даже и на войне не был! — воскликнула старушка.— Ведь тут нет уже секрета, не правда ли, Александр? Ты сам про это слышал от хорошо осведомленных людей. Этот щеголь и в глаза не видал Северной Африки. Только в самом конце войны осмелился появиться в Лондоне: пожелал попробовать свои силы в качестве диктора Би-би-си. Успех потрясающий: до того, бедняжка, испугался микрофона, что даже заикаться стал.

Дядя Александр, сидя в своем кресле, опять неопределенно развел руками.

Выслушав еще несколько сплетен о родственниках, Агнесса собралась уходить. Она долго целовала старика дядю и тетку. В душе она навеки прощалась с ними.

Она рассталась с парижской весной и поехала навстречу лету, уже воцарившемуся на мысе Байю. «Ну, теперь уже не скоро я отсюда двинусь»,— думала она, расхаживая в первый день по своей террасе, взбираясь по узким лесенкам на каменные уступы гор.

С поверенным и адвокатом вполне достаточно было поддерживать почтовую связь. Что касается учения Рокки, то уже больше года с ним занимались педагоги Гиерского лицея, которых пригласила Агнесса; каждый из них проводил на острове один день в неделю. Мальчику пошел одиннадцатый год; один из учителей преподавал ему иностранные языки, другой — арифметику и естествознание, третий — французский, латынь и историю. В остальные дни недели он учился под присмотром матери. Таким способом он проходил программу шестого класса, что было нормально для его возраста.

Однако подобной системой занятий нельзя было удовлетвориться надолго, к тому же она обходилась довольно дорого. Ограничиваясь обществом Ирмы и двух-трех мальчиков из



Пор-Кро, приходивших иногда поиграть или поплавать вместе в заливе, Рокки, пожалуй, слишком долго оставался бы дичком, не по возрасту ребячливым. А мысль отдать сына пансионером в Гиерский лицей была мучительна для Агнессы.

Мучило ее также и то обстоятельство, что ее доходы таяли. Правда, у нее остался капитал, которым она располагала, когда выходила замуж. Но он состоял главным образом из малоодоходного недвижимого имущества; на акциях, имевшихся у нее, она тоже понесла потери. В будущем сын ее мог рассчитывать лишь на те крохи, какие он унаследует после ее смерти. Она чувствовала себя еще молодой и здоровой, но все же она была одинокой матерью. Если случится с нею беда, сын останется без поддержки. Сколько превратностей она испытала за последние десять лет, в самом расцвете молодости и женской своей жизни! Быть может, перенесенные беды были лишь подготовкой и впереди предстоят худшие испытания. Несмотря на свой твердый характер, свою смелость, она теперь ждала любых несчастий.

В тот год какие-то приезжие из Лиона купили старый домик на берегу бухты Пор-Кро.

Агнесса узнала, что они ищут и не могут найти человека, который взялся бы руководить перестройкой и убранством дома, и предложила свои услуги. Ей хотелось отвлечься от горьких мыслей о неприятностях, преследовавших ее в последнее время. Однако она не отказалась от платы за свой труд. Всю зиму она наблюдала за переделками, торопила рабочих, не проявлявших большого усердия, затем принялась обставлять комнаты мебелью, подбирать ткани и художественные изделия, отыскивая их в антикварных магазинах Гиера и Тулона. Когда наконец дом был готов и декораторша сдала его своим заказчикам, очень довольным, что они уже могут провести там пасхальные каникулы, она сосчитала полученные деньги, первые деньги, заработанные своим трудом, и ее охватила радость, сперва даже удивившая ее самое.

Она поднялась на мыс Байю, пройдя долиной Одиночества той дорогой, по которой проходила сотни раз, но никогда прежде она не испытывала такого чувства свободы.

Лионские заказчики оказались не единственными приезжими, вздумавшими провести пасху в Пор-Кро и насладиться его очарованием. По всему побережью в самых живописных уголках появились палатки любителей природы; у заброшенного островка нашлось много поклонников.



— Смотри, чтобы на нашей усадьбе не было ни одной палатки,— наставляла Агнесса Ирму.— Участок не обнесен изгородью, но ведь мы знаем его границы. Возлагаю на тебя обязанность охранять его.

Агнессу все еще преследовал старый кошмар: вот-вот в ее обитель ворвется полчище чужих людей, от которых невозможно будет избавиться,— слишком горький осадок оставили столкновения с родственниками, омрачившими ее юность своим непрошеным вмешательством.

И вот в одно прекрасное утро, когда она мылась в ванной, Ирма крикнула ей через дверь:

— Идите, идите, скорей! На нашем участке чужие расположились. Три палатки поставили на площадке за домом, весь вереск истоптали.

— А ты что же смотрела, Ирма? Надо было сказать, что это частное владение. Войди-ка сюда,— сказала Агнесса, накинув на себя халат.

— Да я им говорила, а они не хотят уходить.

— Верно, им место понравилось. Пообещай им показать другое местечко, такое же красивое. В сосняке у Пор-Мана.

— Пор-Ман? Плевать им на ваш Пор-Ман. Они тут желают. Да еще говорят: «Мы тут у себя дома».

— У себя дома? — И Агнесса живо выбежала в сад.

С полдюжины юношей и девушек ждали ее у палаток,— все как будто были поглощены туристскими хлопотами, но исподтишка следили за каждым ее шагом.

— Здравствуйте, тетя Агнесса,— крикнула ей девушка, сидевшая на корточках, и быстро выпрямилась.

Агнесса узнала в ней одну из своих троюродных племянниц с отцовской стороны — Николь, старшую дочь Рауля. Наступило молчание. Противники приглядывались друг к другу. Не все захватчики принадлежали к лагерю Буссарделей. Однако четверо из них были ее родичами, и один оказался даже сыном Валентина, что очень задело Агнессу: стало быть, Валентин перешел во вражеский стан.

— Тебя удивляет, что мы тут устраиваемся? — спросила Николь, по-видимому взявшая на себя роль руководителя операции, что разжигало ее самоуверенность и желание показать свою удаль.

Агнесса смерила взглядом полуголую предводительницу в бюстгальтере и коротеньких трусиках, с бледным, как мучной



червяк, телом. Девочку окружили ее спутники в таких же костюмах.

— Не могла же тетя Мари ошибиться,— продолжала Николь.— Она сказала, что теперь этот участок дяди Ксавье принадлежит не только тебе, но и многим другим из нашей семьи. И мы имеем право пользоваться им. Впрочем, нам на этот случай бумажку дали.— Она подала знак одному из юношей, и тот рванулся было в палатку, словно намереваясь что-то принести оттуда.

— Это лишнее, не надо,— промолвила Агнесса.

Она была спокойна. Гнев ее улегся, на душе стало грустно... Жаль было не себя, а этих юнцов, которых толкнули на оскорбительную для нее затею или просто разрешили им это вторжение. Агнесса представила себе, как на авеню Ван-Дейка был созван семейный совет и как принималось это решение.

— Мне думается,— спокойно сказала она,— на вашем месте я не могла бы веселиться, раз мое присутствие кому-то мешает.

И тотчас же она поняла, как бесполезны эти рассуждения. В семейном клане она очень долго оставалась самой молодой умом и сердцем, самой смелой бунтовщицей, и вот, оказывается, эта молодежь опередила ее, опередила на свой лад. Возможность стеснить, унижить ее своим вторжением не только не была для них неприятна, а напротив, весьма украшала пребывание в этом кемпинге. Да еще впереди была перспектива похвалиться перед семейным ареопагом своими подвигами.

— Ну что ж, оставайтесь,— сказала Агнесса.— Если понадобится вода — колонка за домом, около прачечной. Но раз вы следуете парижским указаниям, наверное, вам сообщили, что дом, в котором я живу, целиком и полностью принадлежит мне и вы не имеете права туда входить.

— Входить? К тебе? Кому это улыбается?— бросила Николь с гримасой отвращения, и ее соратники прыснули от смеха.

Агнесса повернулась и пошла обратно, вслед ей неслись язвительные смешки.

Целых две недели, отсчитывая день за днем, Агнесса (она поняла, что вторжение продлится лишь на время школьных каникул) вынуждена была терпеть присутствие незваных гостей, их солнечные ванны на ступеньках разрушенных укреплений, их шумные омовения во дворе, их портативный радиоприемник и проигрыватель, который они повсюду таскали с собой, наслаждаясь до поздней ночи томными гавайскими мелодиями. Случалось,



прибавлялись к этому и другие неудобства — запахи, грязная бумага, которую разносил ветер. Агнессе приходилось успокаивать разъяренную Викторину, — ту все это задевало за живое, словно грабили ее добро. Она не могла примириться с мыслью, что какой-то судебный процесс (суть дела ей, конечно, не была известна) давал чужакам право врываться во владения ее хозяйки. Во избежание возможных столкновений Агнесса почти не выходила из дому, а Рокки она отправляла с Ирмой на целый день в Пор-Ман. Но через несколько дней молодые парижане присвоили себе и этот пляж, и Рокки с Ирмой пришлось перейти в более укромную бухточку.

— Мамми, почему они живут у нас? Позови жандармов, пусть их прогонят. А если они нам родственники, так почему же ты с ними не разговариваешь и мне не велишь говорить с ними?

— Я все тебе объясню, когда они уедут.

— Даешь слово?

— Даю.

Наконец «они» уехали. Агнесса и Ирма проработали целый день, уничтожая следы их пребывания, сгребали, сваливали в вырытую яму консервные банки, пузырьки с эмульсией для загара, битое стекло, очистки от овощей, измятую бумагу, экскременты. Когда, наконец, очистили загаженный двор, обе спустились на террасу подышать воздухом и полюбоваться безлюдным пейзажем, залитым золотой волной закатного света.

— Ну, кажется, ничего не осталось от этих нахалов, — сказала Ирма.

— К несчастью, они могут вернуться, — заметила Агнесса. На следующее утро она повела своего сына в Пор-Ман.

— Садись со мной рядышком, детеныш. Сейчас мы с тобой искупаемся, когда солнышко побольше нагреет воду. Я тебе обещала объяснить, почему приезжие имели право жить у нас, но ты у меня уже большой мальчик, и поэтому я тебе объясню не только это, но и многое другое.

Она остановилась, перевела дыхание. Мальчик слушал, насторожившись, угадывая по лицу и тону матери, что сейчас ему откроется нечто важное и непонятное. «Ну вот, — думала сна, глядя на устремленные на нее глаза, — вот настала минута. Жаль, что так рано, он еще ребенок. Если я и в самом деле когда-то дурно поступила — вот и пришло возмездие».

Мальчик молча ждал. Агнесса храбро пустилась в объяснения. Надо было начать издавека — уточнить, что такое отец.



Но судьба была к ней милосердна. Вероятно, жизнь среди природы и близкое знакомство с животными, а может быть, и разговоры с мальчишками, его товарищами, просветили Рокки, и он знал, откуда берутся дети. Когда Агнесса спросила: «Ты знаешь, что сперва бывает между отцом и матерью?» — он молча кивнул головой. И тогда Агнесса начала свое повествование. Это была исповедь. Агнесса рассказала о Нормане, о Ксавье, затем о Буссарделях, стараясь не слишком обвинять свою мать, приходившуюся бабушкой мальчику, и своих родственников, которые были родственниками и ее сына. Но она вынуждена была все сказать: об их побуждениях, о способах действия, к которым они прибегали, об их успехах, торжестве.

Наконец она окончила повествование и, не выдавая своего волнения, внимательно вгляделась в лицо сына, пытаясь угадать его чувства. Ее охватил безумный страх, что он осудит мать и станет теперь меньше ее любить. Он молча чертил пальцем по песку и не смотрел на нее. А ей ужасно хотелось схватить его и, осыпая поцелуями, крикнуть: «Ты не сердишься на меня?»

Он поднял голову.

— Мамми, а часто бывают в семьях такие истории?

Она вздохнула с облегчением, у нее отлегло от сердца: «Он рассуждает, все идет хорошо».

— Не очень часто, милый. Не очень часто, но все же чаще, чем это можно было бы ожидать в наше время.

И, воспользовавшись этой окольной дорожкой, которая могла помочь ей лучше объяснить сыну создавшееся положение, она приводила примеры, называла имена. Она постаралась по-смешнее рассказать приключение восьмидесятилетнего старца, признавшего своим ребенком мальчика, родившегося за двенадцать лет до того, как этот старик встретил его мать. Рассказала о треволнениях некоей девицы и ее многочисленных детей, из которых одни родились до, а другие после ее свадьбы с их отцом, и о дарственных, коими старались обеспечить «незаконных» детей в ущерб законным, и о благородном поступке некоего старика, который из сострадания к сиротам, прижитым женщиной вне брака, объявил себя их отцом, хотя не имел к ним никакого отношения. Она рассказала также о распре в семье одного из десяти самых богатых в мире людей, потребовавшего от своей супруги, чтобы она возвратила ему миллион долларов, который он выплатил ей небольшими частями, как возмещение за его измены — по стольку-то за каждое нарушение супружеской



верности. Засим последовал рассказ еще об одном скандале и еще об одном. Все это в обществе без стеснения вытаскивали на свет, разбирали в судах, помещали на первых полосах газет, и всегда объяснением этому служили лишь корысть, деньги, огромные деньги. «Боже мой, о чем мне приходится говорить ему!» — думала мать, заставляя себя смеяться, хотя от волнения у нее выступили на лбу капли пота. Она пыталась утопить в этом потоке слов дело, начатое Буссарделями в суде против нее.

Да, да, подобные истории случаются в семьях, но в таких семьях, как Буссардели, этого прежде не бывало.

Когда она кончила рассказывать, Рокки молча встал и один побежал к морю купаться. Весь день он не заговаривал с матерью о том, что услышал от нее. Агнесса боялась, как бы он не начал перебирать в одиночку нити той грязной паутины, центром которой явился он сам. Но она не хотела его расспрашивать. «Не надо вмешиваться. Пусть разберется в своих чувствах и постарается понять». Все же она с тревогой думала, что, быть может, сейчас в душе сына бродит мысль о том, что он не такой, как все, ведь он незаконный, без отца. И все это происходит при ней, у нее на глазах, а она бессильна помешать этому, ничего не может сделать. Но на следующее утро, в тот день, когда к Рокки обычно приезжал учитель арифметики, она из своей комнаты услышала, что он поет во дворе. Она тихонько вышла за порог, посмотрела. Он прыгал на одной ножке, поднимаясь и спускаясь по каменным ступеням старых укреплений, залитых весенним солнцем, и на какой-то забавный мотив, представлявший собой нечто среднее между «Фонарями» и «В Авиньоне на мосту», распевал считалочку собственного сочинения:

Если денежек... не дашь,  
Ты моим сынком не будешь.  
Если денег мне... не дашь,  
Не возьму тебя я... замуж.  
И не надо... не пугайте,  
Буссардели... прочь ступайте.





осподин Казелли,— сказала Агнесса, входя в книжный магазин агентства в Ле Лаванду,— я пришла к вам в качестве клиентки.

— Ах, это вы, мадам! Если вы даже явились с корыстными целями, добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Садитесь, будьте любезны.

Господин Казелли торопливо выбрался из-за прилавка, и они с Агнессой сели в кресла, поставленные для посетителей.

— Вот в чем дело,— сказала Агнесса,— мне скоро придется расстаться с мысом Байю.

— Вы собираетесь покинуть этот райский уголок? Я потрясен!

— Ах нет, не думайте, господин Казелли, что остров надоел мне. Чем дальше, тем меньше мне хочется общаться с моими ближними. Но ведь у меня сын. Мальчику надо учиться. Ему двенадцатый год. В таком возрасте полагается ходить в школу. И не только потому, что этого требуют его занятия, но ведь нужно ему завести себе товарищей, быть общительным. А то, знаете ли, он у меня маленький дикарь. Итак, надо мне устроиться на большой земле. И раз уж придется переезжать, я предпочла бы не оставаться в районе массива Мор. Если отдать Рокки в Гиерский лицей, у меня всегда будет щемить сердце — ведь вдали будет виден мой милый Пор-Кро. Мне говорили, что в Канне хороший лицей.

— О да, я тоже слышал,— подхватил господин Казелли и принялся распространяться на эту тему, что дало Агнессе спасительную передышку,— ведь она с самого начала пыталась, но не могла держаться непринужденного тона.

Она объяснила господину Казелли, где ей хотелось бы поселиться. Разумеется, не в Канне. Где-нибудь ближе к природе, в уголке, не слишком испорченном курортниками и не слишком шумном. Но надо, чтобы туда было легко добираться, так как маленькому лицеисту придется ежедневно ездить в Канн. Значит, хорошо было бы устроиться километрах в тридцати от города.

Прошлой зимой она купила себе джип и пользовалась им для своих разъездов, с тех пор как стала декоратором. Она



держала свой джип в Сален де Гиере и надеялась, что машина еще послужит ей, когда она получит заказы на устройство интерьеров в других виллах, на что она крепко рассчитывала. Но о своей новой деятельности, в которой они с господином Казелли могли бы оказаться полезными друг другу, она решила поговорить с ним позднее. На Лазурном берегу строилось все больше новых вилл, все больше перестраивалось старых лачуг в живописные дачки. Снобизм подогревал это увлечение, и Агнесса с чистой совестью решила воспользоваться им к своей выгоде. Она сообщила господину Казелли, какой домик хотела бы приобрести.

— Да, да, я представляю его себе,— промолвил он, задумчиво глядя вдаль, словно подыскивая рифму.— Право, вам нужно что-нибудь похожее на тот дом в старом Кань, где жила бедняжка Мано, наш общий друг.

— Да? — тихо сказала Агнесса и на мгновение растерянно умолкла.— Напрасно я не купила его пять лет тому назад! Вместо того, чтобы писать о нем каким-то ее знакомым, которые, я уверена, ни разу и не заглянули туда...

Бесконечно радуясь своему возвращению во Францию из Виареджо, господа Сиксу-Герц, уже имевшие виллу в Антибах, вспомнили, что в черные дни Мано оказала им помощь. Они добились, чтобы из дома выселили людей, занявших нижний этаж. А когда стало официально известно о ее смерти в Равенсбрюкском лагере, они купили домик художника за гроши, как выморочное имущество.

— Словом, подумайте обо мне,— сказала Агнесса.— Подыщите что-нибудь подходящее для меня. Я предпочла бы не арендовать, а купить, если не очень дорого запросят. Но я не тороплюсь, могу подождать,— добавила она, видя, что господин Казелли встал с кресла и стал перебирать свою картотеку.— У нас сейчас апрель, а сын пойдет в лицей только в октябре, когда начнется учебный год.

В течение мая и июня господин Казелли ничего ей не подыскал. Только звонил по телефону время от времени, что он не забывает поручения, но побеспокоит ее, лишь когда представится что-нибудь интересное. В начале июля провансальский поэт, он же комиссионер, телефонировал на мыс Байю.

— Ах, дорогая госпожа Буссардель! Кажется, я нашел то, что вам нужно. Вы, вероятно, знаете, что война в Корее кое-кого напугала. После первых неудач американцев и даже после пре-



дупреждений со стороны Советского Союза, которые я бы назвал скорее угрозами, кое-кого у нас начало лихорадить,— сказал он, так как любил подробно анализировать положение, давая волю своему красноречию, и в этих многословных тирадах особенно чувствовался его провансальский акцент.— Когда же на защиту Северной Кореи выступили отряды китайских коммунистов, поднялась настоящая паника. \* Мне сообщили, что, поддавшись этим страхам, супруги Сиксу-Герц желают сбыть с рук свою прекрасную виллу в Антибах.

— Ну, господин Казелли, это мне не по карману. Я ищу что-нибудь подешевле, и если бы даже каким-то чудом цена оказалась подходящей, зачем мне такое громоздкое сооружение?

— Знаю! Но я сообразил: раз они продают свою «Палладу», значит, будут искать покупателя и на дом в Кань... Ну как? Возражений не имеете?

Агнесса молчала, взволнованная надеждой на возможную милость судьбы.

— Для верности я могу справиться, позвоню в «Палладу»,— продолжал господин Казелли.— Хозяева виллы, вероятно, приехали. Они обычно бывают там в эту пору. Но я хотел сперва поговорить с вами.

— Господин Казелли, предоставляю вам полную свободу действий. Поторгуйтесь с ними, если дом продается. Может быть, они сбавят цену. Скажу вам откровенно, мне очень хочется приобрести дом моего друга. Постойте, постойте. Не надо им говорить, что это я покупаю. Сын господ Сиксу-Герц женат на моей племяннице...

— Тем легче будет сговориться.

— Наоборот. Они со мной судятся. Из-за материальных претензий.

Разговор происходил в середине дня. А вечером опять раздался телефонный звонок. Говорила госпожа Сиксу-Герц, та, что из Виареджо. Ее нервный тон, торопливые слова свидетельствовали, что в такой момент семейные распри для нее не имеют никакого значения. Она объявила напрямик:

— Мы продаем! Продаем все, что можем! А вы, кажется, нет,

---

\* Автор допускает неточность. В действительности отряды китайских народных добровольцев пришли на помощь Корейской народной армии в ноябре 1950 года, после того как войска США и их союзников под флагом ООН вторглись на территорию КНДР.— Прим. перев.



если верить комиссионеру, который приезжал ко мне сегодня в «Палладиану». Вы не готовитесь?

— К чему готовиться?

— Ну... Удирать не готовитесь? Ведь опять придется бежать из этой страны... Чего же вы молчите? Не согласны со мной?

— Нет.

— Дело ваше. Скажу коротко: вас, кажется, интересует мой дом в Кань. Продам за четыре миллиона. И дом, и всю обстановку. Покупайте. Срок двое суток. Расчет чистоганом.

— Но, простите... Как это можно?.. Вы хотите, чтобы я за двое суток собрала наличными деньгами такую сумму?

— Я ничего не хочу, милочка. Это вам хочется купить мой дом. Я вам разъясняю, каким способом вы можете его приобрести, вот и все. Срок двое суток, поняли? Через неделю мы с мужем будет уже далеко отсюда. А расторопный нотариус составит купчую за два дня. Вполне успеет. Но деньги за дом — на бочку. Я должна их увезти с собой.

Слова эти напомнили Агнессе события восьмилетней давности и кое-какие обстоятельства бегства красавицы Сиксу-Герц в Италию, о которых сообщила ей Мано. Ей казалось, что она снова слышит негромкий голос своей покойной подруги.

— Понимаю, мадам Сиксу-Герц. Завтра я приеду к вам.

На следующее утро Агнесса приехала в Антибы с господином Казелли, который любезно согласился сопровождать ее. Проезжая в джипе через прекрасный сад незнакомой ей «Палладианы», она подумала было, что попала не в ту виллу, но Казелли успокоил ее. На въездной аллее стояли роскошные автомобили, а из просторной библиотеки, двери и окна которой выходили на террасу, всю заставленную и увитую цветами, доносился громкий гул голосов. Агнесса остановилась у порога комнаты, где собралось человек пятнадцать-двадцать. Любезность, которая читалась на лицах, изящная небрежность поз, беспечный тон разговоров отнюдь не указывали на драматичность положения — догадаться об их страхах можно было только по смыслу отдельных слов, прислушиваясь к болтовне гостей.

— Несомненно начинается вторжение.

— Муж трижды телефонировал в Париж в редакцию газеты. Нынче днем дела шли очень плохо, даже хуже, чем утром.

— Лично у меня, когда Неру написал Трумэну и Сталину, сложилось хорошее впечатление.



— А кто, скажите на милость, в такой момент у нас военный министр? Социалист.

— На этот раз не беспокойтесь, с первых же дней — атомное оружие.

— ...Словом, надо быть готовым.

Пока Агнесса искала глазами Патрицию Сиксу-Герц и ждала, когда та покажется из-за стойки бара в глубине комнаты, она слышала еще немало таких же реплик, какие слышала несколько лет назад, звучавших такой же поверхностной тревогой и глубоким равнодушием. Но так же, как и в июне сорокового года, достаточно будет пустяка, нового ложного известия — и они сразу забудут свою дурацкую болтовню. Только их и видели... Бросятся кто куда.

Красавица Сиксу-Герц увела Агнессу, за которой последовал господин Казелли, в маленькую гостиную и затворила дверь.

— Я не стала ни с кем вас знакомить, — заявила она резким тоном. — Знаю, что вы нелюдимка, не бываете в свете.

Проходя через библиотеку, Агнесса, совсем не желавшая неожиданно столкнуться с Жильбертой или с Жоффруа, окинула шумное сборище быстрым взглядом и увидела лишь одно знакомое лицо — Тельму Леон-Мартен, присутствие которой ее не удивило: эта дама принадлежала к числу шакалов, таящихся где-то в пору благополучия и вылезających с нетерпеливым зловещим воем, как только потянет трупным запахом.

— Мы уезжаем через неделю, самое позднее, — заговорила хозяйка дома. — Это зависит от «Эр Франс». Все добиваются у них билетов. Остаться во Франции? Благодарю покорно! Русским я верю теперь не больше, чем верила немцам десять лет назад.

— Полноте, — сказал господин Казелли, пытаюсь внести успокоение, — русские ведь не собираются сюда...

— Не собираются? У меня на этот счет другие сведения! — возразила Патриция. Она закуривала одну сигарету за другой и, едва затянувшись, яростно тушила их, расплющивая в пепельнице; развалившись на диванчике, обитом светлым кретоном, она сверлила недоверчивым взглядом обоих посетителей, которых усадила напротив себя, как подсудимых.

— Ну как? — спросила она Агнессу. — Надумали?

— Надумала.



— Вы знаете эти места? Показывать не просите. Мне некогда и вообще не до того.

— Я знаю этот дом.

— Прекрасно. Мои условия вам известны. Деньги у вас приготовлены?

Патриция устремила взгляд на кожаный портфель господина Казелли, но вдруг Агнесса раскрыла свою сумочку.

— Я предлагаю вот это,— сказала она, протягивая маленький футляр.

Патриция открыла футляр, и брови ее высоко поднялись.

— Два бриллианта по пять каратов каждый,— произнесла Агнесса, нарушив воцарившееся молчание.

— Да, но грань старинная. Я потеряю, если отдам их подновить. Не спорю, оба они очень хорошей воды, но стоят самое большее три миллиона, а я хочу получить за дом четыре миллиона.

— Знаете, мне неприятно расхваливать свое кольцо. Давайте съездим в Антибы или в Канн к ювелиру, которому вы доверяете,— пусть он оценит.

Патриция Сиксу-Герц нахмурившись, как будто опасность распространения войны, начавшейся в Корее, зависела от этой минуты и от осмотра бриллиантов, взяла кольцо двумя пальцами и, поднеся к глазам, залюбовалась прозрачностью камней.

— Разрешите мне вставить слово,— вкрадчиво произнес господин Казелли,— я тоже знаю этот старый дом в Кань. И должен сказать, что, учитывая состояние крыши, ремонт, который нужно произвести в нижнем этаже, и скудость мебелировки, по-моему, цена, которую вы желаете за него получить, то есть четыре миллиона...

Патриция резким жестом прервала его.

— Позвольте, мадам, все же заметить,— сказала Агнесса,— что для того, кто собирается путешествовать, переезжать через границу и, может быть, не один раз, эти бриллианты представляют несомненное удобство: при малом объеме большая ценность. Их можно без труда носить при себе, зашив, например, в лифчик.

— Вы можете поехать сейчас вместе со мной к ювелиру? Это займет четверть часа, не больше.

Все трое встали. Патриция, не возвращая кольца, повела посетителей к выходу другим путем, минуя библиотеку.



В ювелирном магазине она бесцеремонно заперлась с хозяином в его кабинете. Боясь, как бы господин Казелли в присутствии стоявшего за прилавком приказчика не осудил вслух такую бестактность. Агнесса посмотрела на комиссионера многозначительным взглядом. Она села на стул. Ей не так-то легко было решиться на продажу своего кольца. Эти бриллианты она получила от бабушки с материнской стороны в качестве свадебного подарка, но тогда они украшали серьги, а Ксавье настаивал на том, чтобы камни вставили в кольцо. Между нею и ее родными все еще сохранялись какие-то связующие нити, и их надо было наконец разорвать. Ей вспомнилось, как ее бабушка, величественная старуха Буссардель, положила ей на ладонь эти тяжелые старинные серьги; перед глазами Агнессы встала и другая картина: они с Ксавье отправились к известному парижскому ювелиру, Ксавье изобразил на листочке, вырванном из блокнота, очертания, которые должен иметь бриллиант в строгой гладкой оправе, и ей ясно представилось, как длинными худыми пальцами Ксавье поправляет восковую форму. Дверь кабинета открылась. Патриция Сиксу-Герц подошла к Агнессе.

— Согласна, — сказала она. — И все-таки, повторяю, мне придется потерять, из-за того что камни огранены по-старинному. Да еще сверх того возиться, отдавать ювелиру, чтобы бриллианты вынули из оправы. Досадно!

— Я возьму это на себя, — с живостью ответила Агнесса. — Оправа сделана на заказ и дорога мне, как память. Я сохраню ее для себя, вставляю бериллы или топазы и буду носить кольцо.

И тотчас же, заметив недовольную мину Патриции, она попросила ювелира вынуть к завтрашнему дню бриллианты из оправы.

Все формальности по покупке дома удалось выполнить на другой же день в конторе нотариуса Агнессы в Гиере. Впрочем, господа Сиксу-Герц не уехали так быстро, как заявляла Патриция. Они еще пожили некоторое время в своей комфортабельной вилле «Палладиана», занимаясь сборами и заражая знакомых своими страхами.

Получив ключи от своего будущего жилища, Агнесса отправилась в Кань одна и вошла в дом. Заскрипели ступени деревянной лестницы, со скрежетом отворялись двери и ставни, с трудом отодвинулись засовы. В комнату ворвался резкий свет



знойного дня. Кое-где еще попадались следы долгой жизни Мано в этом доме. Но почти вся мебель, кровати, матрасы, одежда, белье исчезли — должно быть, их роздали беженцам или благотворительным учреждениям, но кто знает, когда это произошло. Может быть, расхищение началось тотчас же после ареста Мано, когда она была еще жива, еще дышала в Равенсбрюке, когда, надрываясь, копала там землю? Кто делил ризы, оставшиеся после погибшей? Казна? Товарищи по Сопротивлению? Или вишистская полиция?

И все же у Агнессы было такое чувство, что жилище Мано, лишенное своей прежней хозяйки, приняло ее — новую хозяйку. Из ванной, которую Мано устроила на месте прежней кухни (в этом трехэтажном доме когда-то было несколько квартир), кто-то утащил краны и прочие приборы, выдрал колонку для нагревания воды, оставив в стене, облицованной красными плитками, довольно глубокую дыру. У Агнессы защемило сердце, когда она заметила закатившуюся под водопроводную трубу зубную щетку, и она подобрала эту находку как реликвию.

На третьем этаже находилось ателье художника, поразившее ее своими размерами. Ей показалось, что за истекшие годы из-под красок, которыми Мано постаралась замазать следы картин, снятых со стен, вновь выступили очертания рам.

Агнесса решила, что она повесит картину Вюйара «У открытого окна» на прежнее ее место; в этой высокой светлой комнате она поставит свою чертежную доску, полки для макетов выполненных ею интерьеров. Из возродившейся мастерской протянутся в разные стороны нити к местам ее работы — к тем домам, где она будет заниматься своим новым ремеслом декоратора.

Затем она спустилась в нижний этаж, проверяя, все ли осмотрела. Нет! Еще не заглянула в комнату для гостей, но тут было пусто. Зашла в библиотеку, смежную с главной комнатой. Из нее тоже вынесли всю мебель. Уже не было там большого книжного шкафа оливкового дерева. Книги, которыми расхитители, очевидно, не интересовались, были свалены в кучу, прямо на полу. Наклонившись, Агнесса увидела в этой куче знакомые рассказы о путешествиях, романы с забытыми названиями, пользовавшиеся когда-то мимолетным успехом, всего два-три месяца, — и это больше, чем все остальное, показалось ей мерилom быстротечности времени. Шел пятидесятый год, а Мано арестовали в сорок четвертом, виделась же с нею Агнесса в последний



раз за год до этого. И оставшаяся в живых вздрогнула, почувствовав холодное дыхание апрельского мистраля, завывавшего на Корниш д'Ор в Сен-Рафаэле, и так ясно перед ее глазами возникла фигура мужественной ее подруги, которая уходила все дальше, дальше, ни разу не обернувшись, не сгибаясь под ветром, гнавшим ее навстречу смерти.

Присев на корточки, Агнесса вытащила из груды книг том несколько больше других, в старинном переплете — «Письма госпожи де Севиньи». Она поискала продолжение, нашла пять томов: собрание писем оказалось почти полным, не хватало только четвертого тома. Того самого, который Агнесса отвезла со спрятанными в переплет золотыми монетами в глухое село в Барони.

Как ни противно было поддерживать отношения с Патрицией, она написала ей и попросила поискать этот том, справиться у госпожи Сиксу-Герц старшей, не сохранилась ли книга у нее и не согласится ли она отдать ее Агнессе на память о погибшей подруге. Ответа она не получила.

Все лето прошло в хлопотах: ремонтировали купленный дом. К пятнадцатому сентября можно было переезжать. Деланная веселость, которою Агнесса вооружилась ради сына и с помощью сына, отчасти защищала ее, не давала слишком горевать при расставании со своим уединенным приютом. Впрочем, горечь разлуки оказалась не столь мучительной, как она опасалась, и, привыкнув никогда не обманывать себя, она удивлялась своему душевному спокойствию, доискивалась причин. Мыс Байю, который ее молодые родственники в то лето ненадолго осчастливили своим появлением, конечно, остался все тем же дивным уголком, остров был полон очарования; но Агнесса много здесь перестрадала по милости Буссарделей; она укрылась на острове после пережитой драмы, и ей казалось, что, нарушив наконец свое долгое уединение, она оборвет еще одну цепь, приковывавшую ее к прошлому.

Решение поселиться в Кань оказалось весьма кстати; заново отделанный дом погибшей подруги очень нравился Агнессе, и с ним ее связывало столько воспоминаний, не относящихся к Буссарделям.

Что касается ее сына, то его привлекала новизна, ему улыбалась перспектива жить на Лазурном берегу, учиться в лицее, иметь товарищей, разъезжать в джипе по дорогам, по кото-



рым то и дело проносятся автомобили, и он, сгорая от любопытства, нетерпеливо ждал переселения. Даже деревня Кро-де-Кань, где Агнесса сняла на год хибарку, для того чтобы ездить сюда купаться, пленила мальчика, хотя пляж был покрыт крупной галькой, резавшей босые ноги,— не то что мягкий песок на берегу бухты Пор-Ман,— да и сама деревня Кро-де-Кань, протянувшаяся между шоссе и морем, очень его занимала: так интересно было смотреть на рыбаков и на рыбачек, чинивших сети, на мальчишек, собиравшихся стайками. «Это великая перемена в его жизни, и наступила она в благоприятное время, как раз в подходящем возрасте»,— думала мать.

Самым тяжелым для Агнессы оказалось прощание с Викторией, плакавшей навзрыд, но не нашедшей в себе сил расстаться с Пор-Кро и с мужем,— в глубине души она завидовала своей хозяйке и Ирме, которые теперь будут жить на материке. Ирма, пользуясь правами самостоятельной особы двадцати одного года, твердо решила последовать за Агнессой, а главное — за Рокки; видно было, впрочем, что она и для себя ждет немало удовольствий от жизни на Лазурном берегу.

За несколько дней до начала учебного года, когда трое новых жителей города Кань уже осмотрелись там, Агнесса получила записку от Патриции Сиксу-Герц, сообщавшей, что, прожив полтора месяца у своего деверя в Португалии, она возвратилась на мыс Антиб. «Я отыскала ту книгу, которую вы требовали от моей свекрови. Если сможете приехать на виллу, я верну ее вам. Только уведомите, пожалуйста, заранее, когда и в какой час вы будете у меня».

Агнессу несколько удивил самый тон этой записки и то обстоятельство, что книгу не прислали ей по почте. Но ей очень хотелось получить этот примечательный том.

Ее довольно долго заставили ждать в маленькой гостиной, обитой кретоном. В «Палладиане» царила тишина — хор птичек оглашал теперь другую вольтеру; война в Корее уже не была самой свежей новостью, и к тому же Организация Объединенных Наций послала туда свои войска.

— Здравствуйте, мадам Буссардель. Вот эту книгу вы разыскиваете? — сказала Патриция, протягивая Агнессе том «Писем госпожи де Севиньи».

— Да, эту самую. Ах, не могу выразить, как я вам благодарна...

Патриция оборвала ее жестом. Не время теперь обменивать-



ся любезностями. Агнесса поняла, что сейчас узнает, зачем ее пригласили сюда. Она заметила, что, несмотря на палящую жару, хозяйка не предложила ей никаких прохладительных напитков.

— Раз нам пришлось встретиться еще раз,— заговорила Патриция, теребя длинную нитку жемчуга, висевшую у нее на шее,— я хочу воспользоваться случаем и рассеять ошибочные мысли, возможно возникшие у вас.

Она сделала паузу, ожидая отклика, но Агнесса молча наблюдала за ней.

— Когда я согласилась продать вам свой дом в Кань, я не знала, что вы ведете в суде процесс против моего сына и моей снохи. Если б я знала об этой тяжбе, о ее подоплеке и обстоятельствах, вызвавших ее,— сказала Патриция с гримасой отвращения,— я бы, конечно, не поставила своей подписи рядом с вашей. Теперь уже поздно, сделка состоялась, я не могу отступить, но полагаю, что наши отношения с вами на этом прекращаются. Я огорчена, что вынуждена объявить вам это, однако...

— А вы не огорчайтесь, мадам. И напрасно вы думаете, что вам удалось меня обидеть. Мне, пожалуй, даже приятно это было слышать. Подобного рода мелкие уколы избавляют от сожалений, которые, чего доброго, могли бы остаться. Вы хотите сообщить мне еще что-нибудь?

— Вам сообщить? — надменно переспросила Патриция.

— Да, да. Вы прекрасно все знали, когда продавали мне свой дом в июле этого года, но с тех пор...

— Ну, это уж слишком. Я же вам сказала...

— Позвольте, мадам, вы меня тогда приняли и разговаривали со мной чрезвычайно грубо, и эту грубость можно объяснить только тем, что вы все знали. Не станете же вы уверять, что вы просто дурно воспитаны. Ну, а с тех пор, узнав о состоявшейся продаже, кто-то из моих родственников (неважно кто именно) толкнул вас на тот поступок, который вы позволили себе сегодня в отношении меня. Повторяю еще раз, что я вам за него бесконечно благодарна. Ну, все на этот раз? — спросила она, поднимаясь с кресла.

— Нет, не все. Мне надо еще кое-что сказать вам, милая моя. Запомните: горе тому, кто срамом покрывает себя.

И госпожа Сиксу-Герц, тоже поднявшись с места, на мгно-



вение застыла в неподвижности, подняв к небу указующий перст. Агнесса не могла удержаться от смеха, глядя на эту поведницу с пляжа Эден-Рок, известную своим распутством.

— Мадам, вы меня обезоружили... Еще раз благодарю за книгу.

И Агнесса ушла.

Возвратившись в Кань, она поставила том на ожидавшее его место — на той полке, где выстроились любимые книги Мано. Через несколько дней ей вспомнилось то, что господин Казелли говорил ей когда-то по поводу этого тома. Но прошло уже столько лет, воспоминание стерлось. О чем тогда шла речь? Кажется, о каких-то отчеркнутых местах, о каких-то предназначенных для нее пометках, сделанных рукою Мано, когда она передала Агнессе, своему другу, эту книгу с замаскированным вложением...

И вот как-то вечером Агнесса села у лампы и методически перелистала весь четвертый том. В одном из писем 1680 года она, наконец, нашла то, что искала, то, что ждало ее так долго и могло никогда не дойти до нее — ведь этого едва и не случилось. В тексте письма уже полустершимся карандашом была подчеркнута фраза: «Я встречала души более прямые, чем печатная строка, души, для которых добродетель столь естественна, как для лошадей естественна побежка рысью». И на полях стояло одно слово, написанное рукою ее друга: «Агнесса».

Она закрыла книгу, не перечитав подчеркнутых строк, — они и так с этого мгновения врезались ей в память. Она легла в постель и тотчас погасила свет, но долго не могла уснуть, ее неотступно преследовала прочитанная фраза. Первое чувство, вызванное этими пометками, было недоверие. Как? Она, Агнесса Буссардель, добродетельная женщина? Хотя бы в том смысле, какой Мано придавала этому слову? Текли ночные часы, и постепенно Агнесса прониклась уверенностью, что она и в самом деле хорошая, что она одна из тех, кто без помощи религии, без наставлений, без запретов сохраняет душевную чистоту по безотчетному велению совести и в конечном счете обходятся без кодекса морали, да они и не нуждаются в нем. В течение пятнадцати лет, поступая так, как разум и совесть позволяли и даже обязывали ее поступать, она совершала, по мнению ее среды, предосудительные поступки. Но на основании каких критериев считались они предосудительными? Повсюду в том обществе, где она жила, царили мерзость, срам. Они как раз и



управляли тем самым миром, который обвинял ее. Миром, из которого она наконец бежала. Там главенствовали догмы, кодексы, контракты. Там взывали к священному писанию. Но нигде так нагло не нарушали заповедей, как в этом мире. Заповеди служили в нем орудием нападения. Агнесса сама испытала на себе удары, угрожавшие ее уму, ее сердцу и даже ее ребенку. Семья Агнессы, опираясь на общественный уклад, обрушивала на нее всю тяжесть этих правил и установлений.

Агнесса не спала всю ночь. Но утром надо было вставать. Был первый день учебных занятий, и ей нужно было отвезти сына в Канн. Она рассталась с ним у дверей лицея и, вернувшись домой, легла в постель. У нее кружилась голова. Ирма, которую она научила водить машину, съездила за Рокки в час завтрака и отвезла его обратно в лицей. Тем временем Агнесса, запершись у себя в спальне, то спала глубоким сном, то пробуждалась и лежала в полудремоте. Пометки, сделанные в книге рукою Мано, потрясли ее. В течение двенадцати-пятнадцати часов, пока длилась бессонная ночь и дневной прерывистый сон, она переходила от одного душевного состояния к другому, она совершила путешествие во времени и в пространстве. Ей повстречалось тридцать призраков, появившихся и исчезнувших на ее пути,— образы Буссарделей, маленького Рокки-Рено в разную пору его детства, образы Нормана, Ксавье, Эмильена, Мано, образ цыгана, склонявшегося над нею, его смуглое заросшее мягкой бородой лицо и огромные зрачки быстрых глаз.

Она встала во второй половине дня, разбитая и вместе с тем отдохнувшая, в блаженном спокойствии души, словно разрешившись наконец от бремени. Одевалась она тщательно, достала из гардероба свой лучший джемпер и длинные брюки, отлично сидевшие на ней, и, подкрашивая перед зеркалом губы, нашла, что она красива. По лестнице она спускалась с мыслью, что уже любила свой новый дом, в котором вновь обрела покровительство своей умершей подруги и который благотворная сила труда, быть может, сделает счастливым домом.

Около половины пятого Агнесса уже была в Канне у подъезда лицея. Поставив свой джип в тени платана, она стала терпеливо ждать.

Пробила половина пятого. Минуту-другую на бульваре по-прежнему царила тишина, и вдруг из дверей лицея вырвалась



шумная орава мальчишек. Агнесса не различила сына в этом мчавшемся полчище, но вот он отделился от других и бросился к ней. На нем были короткие штаны и клетчатая рубашка, он неся, размахивая руками, делая большие прыжки и мотая головой, как жеребенок, а подбежав, бросил сумку на заднее сиденье машины.

— Мамми, ты не очень торопишься? Мне надо поговорить с товарищем. Со мной рядом в классе сидит потрясающий парень. Он мне все расскажет. Я ведь новенький, ничего еще не знаю.

Она смотрела на него, улыбаясь, и не решалась поцеловать его, так как других мальчиков не ждали у дверей лицея матери.

— Ступай.

— Спасибо.

Он помчался. Она крикнула:

— Можешь не спешить.

Он, не оборачиваясь, помахал рукой — слышу, мол, слышу. Агнесса наблюдала за ним. Он с увлечением разговаривал с несколькими мальчиками, вероятно одноклассниками, и когда двери лицея уже заперли, собеседники все еще продолжали стоять у подъезда.

Агнесса не хотела торопить сына и молча смотрела на него, гордясь тем, что он выше и физически лучше развит, чем его сверстники. Ему пошли на пользу свежий воздух, гимнастические упражнения, карабканье по скалам на мысе Байю, работа на огороде. Но одиночество, в котором он жил на острове, не сделало его нелюдимым. Достаточно было одного дня, чтобы он усвоил повадки и тон бывалого школьника. Он с удовольствием принимал участие в разговорах и шутках товарищей. Один из них, прислушиваясь к самому бойкому говоруну, оперся на плечо Рокки, и мать заметила, что ее сын, переступив с ноги на ногу, с готовностью оказал товарищу поддержку. Видя, как он ведет себя в обществе других мальчиков, Агнесса делала своего рода открытия, познавая натуру родного сына. В ней говорили и материнская любовь, и какое-то смутное мужское чувство товарищества, — она поняла, что сын интересуется ее больше в последний год или два — с тех пор как подрос и стал приближаться к юношескому возрасту. Значит, она не принадлежит к числу тех матерей, которым сыновья всего милее в раннем детстве, — с сожалением вспоминая об их младенческой поре, эти



мамаши пытаются продолжить ее слащавыми нежностями и требованиями покорности. «Нет, я не буду водить его на помочах,— говорила мысленно Агнесса.— И от меня он ничего не будет скрывать». Ради сына она всегда будет молода душой. Уже не раз в трудные минуты жизни ребенок был ей прибежищем и утешением. Теперь он окончательно станет ее оплотом. Быть может, самые большие радости своей женской жизни она почерпнет благодаря сыну.

Благодаря ему она найдет свой истинный путь и удовлетворит глубочайшую потребность своей души — потребность в чистоте. Агнесса вспомнила о Нормане, красивом юноше, в жилах которого текла индейская кровь,— Рокки походил на него, во всяком случае у него были такие же черные глаза с ослепительной эмалью белков, изогнутые, как лук, коралловые губы и два ровных ряда крепких зубов, немного звериных — из-за того, что передние зубы неплотно прилегали друг к другу,— счастливая, говорят, примета. Близ своего сына она вновь проникнется спокойной и чистой приязнью к молодежи.

Стайка мальчиков разлетелась в разные стороны. Рокки подбежал к джипу, прыгнул в него.

— Мамми, знаешь, что ребята про тебя сказали? «У тебя мать здорово красивая».

И оба дружно расхохотались.

— Предлагаю двинуться в объезд,— сказала Агнесса,— через Вальбон и Вильнев-Лубе, а то Седьмое шоссе всегда забито машинами. Согласен?

— Да! Да-да-да-да!

Джип помчался по берегу под косыми лучами солнца.

— Ну что, лицеист? Как прошел первый день?

— Хорошо. Ребята ужас какие симпатяги.

— А учителя?

— Ну что ж, и учителя ничего.

Рокки пустился в подробности. Время от времени мать, поворачиваясь, смотрела на него, радуясь, что он так увлечен, так быстро приноровился к новой обстановке.

— Мамми, миленькая, позволь я поведу!

— Не сейчас, после Вальбона, когда меньше будет машин.

Подъехали к Вальбону, о нем уже издали возвестил запах осенних роз, которые тормозил ветерок на исходе жаркого южного дня.



Пейзаж был иной, чем на мысе Байю. В полях, всегда залитых солнцем, в буйной зелени, в зарослях сахарного тростника, в садах царило чисто романское изобилие. Хлеб уже сжали, да и виноград уже был собран, но цветы пестрели повсюду, даже на откосах дороги. Природа отдыхала от чрезмерного летнего зноя и плодородия; земля блаженствовала, набираясь новых сил, и расцвела пышной осенней красотой.

Проехали спуск к Био, и тогда дорога стала менее извилистой, менее людной. Рокки, пристроившись впереди матери, взялся за руль. Агнесса по-прежнему держала ноги на педалях, ограждая сына обеими руками, готовая в случае нужды вмешаться.

— Ой, мамми! — сказал он, проехав километра два. — Пересядь на другое место, я один буду вести машину. Ну, пожалуйста!

— Нет, не пересяду, у тебя нет шоферских прав, тебе по закону не положено.

— Вот трусиха! Боится жандармов!

— Боюсь, потому что ты несколько не боишься.

— Стану я бояться!

Агнесса придерживала Рокки коленями и, оберегая эту юную жизнь, прижимала его к своей груди. Мальчик неплохо вел машину. Он вез свою мать, увлекая ее все дальше от прежней жизни, от решеток парка Монсо, откуда она вырвалась.

Она отворила ворота, и уже никогда ее не загонят обратно. Она вырвалась из плена, и возвращение в семью отныне было невозможно. Ее ограбили, зато она обрела свободу. Сердце ее переполняла великая признательность к сыну, похожая на влюбленность.

— Мамми, не жми меня так коленками. Я не могу вести машину в таких условиях.

— Ну ладно. Держи баранку крепче... Садись на мое место. Так.. Поставь теперь ноги на педали... Да смотри, не слишком гони.

Гибким движением Агнесса вывернулась из-за его спины и пересела на другое место, справа.

— Хочешь подложить что-нибудь на сиденье, чтобы тебе повыше было?

— Еще что! Я, слава богу, не маленький.

И в самом деле, ему не надо было сползать с сиденья, его загорелые бронзовые ноги, поставленные на педали, согнуты



были под прямым углом, кисти рук крепко держали руль, и чувствовалось, что у него сильные мышцы, хотя плечи и руки были еще по-мальчишески худые.

И вот так они ехали вдвоем. Шоссе шло теперь то в гору, то под гору, джип катил по верхней дороге мимо виноградников и полев, с гор потянуло свежим ветром. Мальчик запел песню.

— Если будешь петь, зазеваешься.

Он передернул плечами, не отрывая взгляда от дороги, развертывавшейся впереди.

— А когда ты сама ведешь машину, ты разве никогда не поешь?

И он опять затянул песню. И Агнесса позволяла ему везти ее, позволяла петь. Ведь теперь он знал дорогу. Прошло несколько минут, и она тоже запела, вглядываясь в синюющую вечернюю даль, спешившую им навстречу.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ГЛАВА I . . . . .     | 5   |
| ГЛАВА II . . . . .    | 22  |
| ГЛАВА III . . . . .   | 38  |
| ГЛАВА IV . . . . .    | 48  |
| ГЛАВА V . . . . .     | 66  |
| ГЛАВА VI . . . . .    | 91  |
| ГЛАВА VII . . . . .   | 111 |
| ГЛАВА VIII . . . . .  | 127 |
| ГЛАВА IX . . . . .    | 141 |
| ГЛАВА X . . . . .     | 157 |
| ГЛАВА XI . . . . .    | 170 |
| ГЛАВА XII . . . . .   | 191 |
| ГЛАВА XIII . . . . .  | 213 |
| ГЛАВА XIV . . . . .   | 230 |
| ГЛАВА XV . . . . .    | 251 |
| ГЛАВА XVI . . . . .   | 267 |
| ГЛАВА XVII . . . . .  | 283 |
| ГЛАВА XVIII . . . . . | 301 |



Филипп Эриа  
ЗОЛОТАЯ РЕШЕТКА

Художник *С. М. Пожарский*  
Художественный редактор *В. Я. Быкова*  
Технический редактор *Л. М. Харьковская*  
Корректор *К. И. Иванова*

Подписано к печати с матриц 12/XI 1964 г.  
Бумага  $60 \times 84 \frac{1}{16} = 10,0$  бум. л. 18,2 печ. л.  
Уч.-изд. л. 18,6. Изд. № 12/3092  
Цена 1 р. 08 к. Зак. 2493.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»  
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Первая Образцовая типография  
имени А. А. Жданова Главполиграфпрома  
Государственного комитета  
Совета Министров СССР по печати.  
Москва, Ж-54, Валовая, 28



















1р.08к.





